Дональд Дэвидсон

Истина и интерпретация

ФИЛОСОФИЯ

Donald Davidson

Inquiries into truth and interpretation

Oxford University Press 1984

Дональд Дональдсон

Истина и интерпретация

Праксис
Москва 2003



УДК 111.83-03.111
ББК 87.3
Д 941

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия и Института «Открытое общество» – Будапешт.

Дэвидсон Дональд
Исследования истины и интерпретации / Пер. с англ. А. А. Веретенникова, Т. А. Дмитриева, М. А. Дмитровской и др. – М.: Праксис, 2003. – 448 с. – (Серия «Философия»).
ISBN 5-901574-30-3

ББК 87.3

© Oxford University Press, 1984
© А. А. Веретенников, Т. А. Дмитриев, М. А. Дмитровская, Е. В. Зиньковский, А. Л. Золкин, М. В. Лебедев, А. Л. Никифоров, Н. Н. Перцова, Б. М. Скуратов, А. З. Черняк пер. с англ., 2003
© А. Кулагин оформление обложки, 2003
© Издательская группа «Праксис», 2003

ISBN 5-901574-30-3

У. В. КУАЙНУ
без которого ничего бы не состоялось

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие для русских читателей 9

Источники статей, вошедших в данную книгу 10

Введение 13

ИСТИНА И ЗНАЧЕНИЕ

1. Теории значения и языки, поддающиеся изучению 26

2. Истина и значение 45

3. Истинно по отношению к фактам 71

4. Семантика для естественных языков 95

5. В защиту конвенции Т 108

ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ

6. Цитата 124

7. О местоимении «что» 141

8. Грамматические наклонения и виды речевой практики 162

РАДИКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

9. Радикальная интерпретация 182

10. Мнения и основания значения 202

11. Мышление и речь 221

12. Ответ Фостеру 244

ЯЗЫК И РЕАЛЬНОСТЬ

13. Об идее концептуальной схемы 258

14. Метод истины в метафизике 278
15. Реальность без референции 300
16. Непостижимость референции 315

ГРАНИЦЫ БУКВАЛЬНОГО

17. Что означают метафоры 336
18. Общение и конвенциональность 362

Примечания 384
Библиография 400
М. В. Лебедев. Языковое значение в представлении Дональда Дэвидсона 408
От редактора 444

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ РУССКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Философия процветает благодаря обмену идеями. Этот обмен включает в себя приведение доводов за и против, поиск общего в различных взглядах, конфронтацию между новыми методами, предположениями, разработками; кратко говоря, он подразумевает диалог. Диалог требует взаимопонимания и, в силу этого, общего языка. Поэтому я чрезвычайно рад переводу некоторых моих работ на русский язык.

Я понимаю всю сложность работы переводчика и, в особенности, всю сложность перевода философского текста. Без сомнения, перевод любой книги, будь то роман или трактат по теории эволюции получится лучше, если тот, кто его переводит, знаком с социальным контекстом создания романа или является специалистом в эволюционной теории. Однако, мне кажется, что перевод философской книги – это особый вызов, так как переводчику недостаточно *разбираться* в философии, он или она должны *быть* философами. Перевод философского текста без понимания его смысла и цели невозможен и, как скажет любой преподаватель философии, перевод ничем не отличается от непосредственного занятия философией. Простое изложение смысла философской работы на том же языке, на котором она написана, является достаточно трудной задачей и требует такого же множества навыков, как и перевод. Я не только признателен переводчикам моей работы за любезную услугу с их стороны: они сделали мои идеи доступными для новой аудитории. Я также отдаю себе отчет в том, что они вступили со мной в интерпретативную диалектическую дискуссию. Надеюсь, что смогу каким-либо образом принять более активное участие в этом обмене идеями.

С наилучшими пожеланиями,

Дональд Дэвидсон
2002

ИСТОЧНИКИ СТАТЕЙ, ВОШЕДШИХ В ДАННУЮ КНИГУ

Статья 1, «Теории значения и языки, поддающиеся изучению», была зачитана в качестве доклада на Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки 1964 года в Еврейском университете города Иерусалим. Впоследствии она была опубликована в материалах этого конгресса под редакцией Иешуа Бар-Хиллела (North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1965). Здесь она публикуется с разрешения издателя.

Ранняя версия статьи 2, «Истина и значение», была зачитана на встрече Восточного отделения Американской философской ассоциации в декабре 1966 года. Она развивает тему, затронутую в статье, представленной на встрече Тихоокеанского отделения этого общества. Во многом эта статья обязана Джону Уоллесу, с которым, начиная с 1962 года, я обсуждал данные вопросы. Мое исследование было поддержано National Science Foundation. Работа была впервые опубликована в *Synthese*, 17 (1967) 304–323, Copyright © by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, и перепечатана с разрешения D. Reidel Publishing Company.

Статья 3, «Истинно по отношению к фактам», была сначала представлена на симпозиуме, посвященном истине, в декабре 1969 года на встрече Восточного отделения Американской философской ассоциации. В нем также принимал участие Джеймс Ф. Томсон. Работа была опубликована впервые в *Journal of Philosophy*, 66 (1969), 748–764, и печатается здесь с разрешения издателей.

«Семантика для естественных языков», статья 4, была зачитана на симпозиуме, организованном Olivetti Company в честь ее основателя. Этот симпозиум проходил в Милане в октябре 1968. Материалы к симпозиуму были опубликованы в *Languaggi nella Societa e nella Tecnica*, Edicioni di Comunita, Milan, 1970.

Статья 5, «В защиту конвенции T», зачитывалась на конференции по альтернативным семантикам, проходившей в Temple University в декабре 1970, и была опубликована в *Truth, Syntax and Modality* (название, предложенное Даной Скотт – *Truth Valued*, было, к сожалению, отвергнуто). Книга была опубликована под редакцией Хъюза Леблана North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1973. Она перепечатывается здесь с позволения издателей.

Следующая статья под номером 6, «Цитата», была опубликована в специальном выпуске *Theory and Decision*, посвященном теории языка под редакцией Х. Л. Бергхела (*Theory and Decision*, 11 (1979), 27–40). Copyright © by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, и перепечатана здесь с разрешения D. Reidel Publishing Company.

«О местоимении „что“», статья 7, была напечатана в двойном выпуске *Synthese*, посвященном работе У. В. Куайна (*Synthese*, 19 (1968–9) 130–146).

Впоследствии она была перепечатана в *Words and Objections, Essays on the Work of W. V. Quine* под редакцией Д. Дэвидсона и Я. Хинтикки, 1969, pp. 158–174 (revised edition, 1975). Copyright © by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, перепечатывается с разрешения D. Reidel Publishing Company. Ответ Куайна на эту статью можно найти на страницах 333–335 *Words and Objections.*

Статья 8, «Грамматические наклонения и виды речевой практики» была зачитана на Второй философской встрече в Иерусалиме, прошедшей в Израиле в апреле 1976 года и была откомментирована У. В. Куайном. Она была опубликована в *Meaning and Use* под редакцией А. Маргалита, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, 1979.

«Радикальная интерпретация», статья 9, была зачитана на коллоквиуме по философским проблемам языка в Биле, Швейцария, май 1973. Другая ее версия была представлена на конференции по языку и значению в Камберленд Лодж, Грейт Парк, Виндзор, ноябрь того же года. Она была опубликована в *Dialectica*, 27 (1973), 313–328, и перепечатывается здесь с разрешения издателя, Х. Лойенера.

Статья 10, «Мнения и основания значения» была приготовлена для конференции по языку, интенциональности и теории перевода, прошедшей в университете Коннектикута в марте 1973 года, и опубликована в двойном выпуске *Synthese* под редакцией Дж. Г. Троера и С. С. Уиллера III (*Synthese*, 27 (1974), 309–323). В этом выпуске также представлены ценные комментарии У. В. Куайна (325–329) и Дэвида Льюиса (331–344) и мои ответы на них (345–349). Ответ Дэвида Льюиса печатался под названием «Радикальная интерпретация». Copyright © by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, и перепечатана здесь с разрешения D. Reidel Publishing Company.

Статья 11, «Мышление и речь», является лекцией 1974 года в Вольфсон колледж. Она была напечатана в *Mind and Language* под редакцией Самуэля Гуттемплана, © Oxford University Press, 1975. Она перепечатана здесь с разрешения Oxford University Press от имени Вольфсон колледж.

В июне 1974 года Джон Фостер на собрании Оксфордского философского общества зачитал доклад под названием «Значение и теория истины». Статья 12, «Ответ Фостеру», является моим ответом на те места его доклада, которые касаются моих разработок. Статья Фостера и мой ответ на нее были опубликованы в *Truth and Meaning: Essays on Semantics*, под редакцией Джарета Эванса и Джона Макдауэлла © Oxford University Press, 1976. Моя статья печатается в настоящем издании с разрешения Oxford University Press.

Статья 13, «О идее концептуальной схемы», не сразу приобрела тот вид, что она имеет сейчас. Шестая, последняя из моих лекций имени Джона Локка, под названием «Инварианты перевода», была представлена как пособие к лекциям в Тринити колледж, Оксфорд. В январе следующего года я прочитал две лекции по альтернативным концептуальным схемам в Лондонском университете, в которых уже было многое из того, что есть в настоящем варианте этой статьи. Материал был доведен практически до окончательного варианта в моей речи при вступлении на должность президен-

та Восточного отделения Американской философской ассоциации 28 декабря 1973 года. После этого, но еще до публикации, я зачитал речь, связанную с вопросами, затронутыми в этой статье, под названием «Третья догма эмпиризма» на встрече Философского общества в Оксфорде. Обсуждение было инициировано У. В. Куайном, а его комментарии помогли мне написать окончательный вариант. Некоторые дальнейшие отголоски этой дискуссии можно обнаружить в «О идее третьей догмы» Куайна. Моя статья была опубликована в *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 47 (1974), и печатается в данном издании с разрешения Ассоциации.

Статья 14, «Метод истины в метафизике», впервые была напечатана в *Midwest Studies in Philosophy, 2: Studies in the Philosophy of Language*, под редакцией П. А. Френча, Т. Е. Уелинга, Дж. и Х. К. Веттштайнов, The University of Minnesota, Morris, 1977. Мне очень помогли комментарии к ранним версиям этой статьи Гильберта Хармана и У. В. Куайна.

Статья 15, «Реальность без референции», была впервые представлена в несколько отличающемся виде на заседании лаборатории по семантике и лингвистике в Университете Западного Онтарио, Лондон, Онтарио, в апреле 1972. Критика и контрпредложения заставляли меня на протяжении нескольких лет менять форму статьи. Она была впервые напечатана в *Dialectica*, 31 (1977), 247–253, и перепечатывается здесь с разрешения издателя.

«Непостижимость референции», статья 16, была написана для специального выпуска *The Southwestern Journal of Philosophy*, посвященного работам У. В. Куайна, но я опоздал со сдачей статьи, и она была напечатана в следующем выпуске *The Southwestern Journal of Philosophy*, 10 (1979), 7–19. Здесь она печатается с разрешения издателя. Куайн ответил на мою статью, как и на многие другие, в «Ответах на одиннадцать статей», *Philosophical Topics*, 11 (1981), 242–243.

Статья 17, «Что означают метафоры», была зачитана на конференции, посвященной метафоре, в Чикагском университете в феврале 1978 года. Впервые она была опубликована в *Critical Inquiry*, 5 (1978), 31–47; © by Donald Davidson. Фрагмент «Гиппопотама», стр. 256 из *Collected Poems 1909–1962* Т. С. Элиота, copyright 1936 by Faber and Faber and Harcourt Brace Jovanovich, Inc.; copyright © 1963, 1964 by T. S. Eliot. Он печатается с разрешения издателей. Нельсон Гудмен и Макс Блэк ответили на мою статью в следующем выпуске того же журнала. Ни один из них не был согласен с тем, что я написал. (Nelson Goodman, «Metaphor as Moonlighting», *Critical Inquiry*, 6 (1979), 125–130 и Max Black, «How Metaphors Work: A Reply to Donald Davidson», *Critical Inquiry*, 6 (1979), 131–143.)

Последняя статья, под номером 18, «Общение и конвенциональность», была зачитана на Первой встрече в Кампинас по философии языка в Universidade Estadual de Campinas в августе 1981. Ее публикация запланирована в материалах к этой конференции, *Dialogue: an Interdisciplinary Approach*, под редакцией Марчело Даскаля и Джона Бенджаминса в Амстердаме.

ВВЕДЕНИЕ

Каким образом слова означают то, что они означают? В собранных здесь статьях я разрабатываю идею, согласно которой мы могли бы ответить на этот вопрос, если бы знали, как построить теорию, удовлетворяющую двум требованиям: она должна обеспечить интерпретацию всех действительных и возможных высказываний субъекта или группы субъектов, она также должна поддаваться проверке без знания в деталях пропозициональных установок носителя языка. Первое условие подтверждает холистический характер лингвистического понимания. Второе условие направлено на предотвращение заимствований из оснований теоретических понятий, слишком близко связанных с понятием значения. Теория, которая не удовлетворяет обоим условиям, не может считаться отвечающей на наш исходный вопрос философски содержательным способом.

Первые пять статей главным образом касаются вопроса о том, какой вид теории удовлетворил бы первому условию.

В *статье 1*, «Теории значения и языки, поддающиеся изучению», утверждается, что для того, чтобы быть полезной для существа с конечными возможностями, теория достаточной степени точности должна обнаружить конечный основной словарь в вербальных феноменах, которые нужно интерпретировать. Если это так, то неизбежно возникает необходимость трактовать семантические свойства потенциально бесконечного количества предложений как вытекающие из семантических свойств элементов конечного словаря. Показано, что многие известные теории не в состоянии выполнить это условие: примерами тому служат анализ косвенных контекстов Фреге, логика смысла и денотации Чёрча, неформальная трактовка Тарским выражений в кавычках. К этому списку можно было бы добавить стандартные теории адвербиальной модификации[1].

В *статье 2*, «Истина и значение», показано, что хотя для переводчика достаточно теории истины, следующей определениям истины Тарского, однако для применения этой теории к естественному языку ее необходимо модифицировать. Подобные теории обладают явными достоинствами. Они не прибегают к значениям как самостоятельным сущностям, не вводятся никакие объекты, которые должны были бы соответствовать предикатам или предложениям, и из конечного множества аксиом оказывается возможным для каждого предложения интерпретируемого языка доказать теорему, которая определяет условия истинности для этого предложения. Далее, доказательство такой теоремы способствует анализу зависимости истинности или ложности предложения от того, как оно составлено из элементов основного словаря. Если такие теории действительно удовлетворяют двум условиям, упомянутым в первом абзаце, то мы можем всерьез воспринимать слово «теория» в словосочетании «теория значения».

Заявление, согласно которому теории истины могут функционировать как теории значения, встретило много возражений. На некоторые из них я попробовал ответить в других статьях из этой книги. Но вне зависимости от того, можно ли доказать это заявление, некоторые из аргументов в его пользу в «Истине и значении» являются ошибочными. Читатель обнаружит, что я не один раз сменил основание по мере того, как пробовал улучшить или разъяснить этот центральный тезис. Одно обстоятельство, которое лишь постепенно стало мне ясно, состояло в том, что в то время как Тарский намеревался анализировать понятие истины, обращаясь (в конвенции Т) к понятию значения (в виде подобия значения или перевода), я имел в виду обратное. Я полагал, что истина является центральным примитивным понятием, и надеялся, разъясняя структуру истины, добраться до значения. Это — замечания о теориях истины, а, конечно, не замечания, которые могут быть найдены в самих этих теориях.

Также не сразу стало ясно, что поскольку я трактовал теории истины как эмпирические теории, то аксиомы и теоре-

мы должны были рассматриваться как законы. Поэтому теорема вида «„Schnee ist weiss“ истинно в устах субъекта, говорящего по-немецки, если и только если снег бел», должна быть принята не просто как истинная, но как способная поддержать контрфактические утверждения. В самом деле, учитывая, что очевидность для этого закона (если это — закон) зависит в конечном счете от некоторых причинных отношений между носителями языка и миром, можно сказать, что неслучайно «Schnee ist weiss» истинно, если и только если снег бел; это белизна снега *делает* «Schnee ist weiss» истинным. Насколько это представляет собой уступку интенсиональности — зависит, как я полагаю, от нашего анализа понятия закона. Однако ясно, что к чему бы ни вела эта уступка, ее необходимо сделать в любой эмпирической науке. Эти вопросы обсуждаются в статье 12.

В *статье 3*, «Истинно по отношению к фактам», задается вопрос, можно ли теорию истины в духе Тарского называть корреспондентной теорией. Такие теории, в отличие от большинства корреспондентных теорий, не объясняют истину, находя объекты наподобие фактов, которым должны соответствовать истинные предложения. Существуют веские основания, происхождение которых можно проследить вплоть до Фреге, для отклонения фактов как объектов, которые могли бы играть эту роль. С другой стороны, теории истины рассматриваемого здесь вида требуют, чтобы отношение между объектами и выражениями было некоторым образом охарактеризовано («выполнимость»). Трудно установить, каким образом удовлетворительный путь к истине мог бы избежать этого шага, если язык, рассматриваемый данной теорией, обладает обычными квантификационными ресурсами.

«Семантика для естественных языков», *статья 4*, содержит аргументацию в пользу того, что теории истины могут предоставить формальную семантику для естественных языков, соответствующую формальному синтаксису такого вида, который предпочитают лингвисты начиная с Хомского. Когда я писал эту статью, считалось, что глубинные структуры син-

таксиса являются носителями семантической интерпретации. В статье 4 предлагается, чтобы глубинная структура предложения соответствовала той логической форме, которую теория истины предназначает этому предложению.

Конвенция Т Тарского, которая защищается в *статье 5*, является неформальным, но мощным инструментом для проверки теорий истины на априорное (prior) схватывание понятия. В наиболее прямом применении такая проверка призывает нас признать дисквотационные свойства предикатов истины; такие предложения, как «„Снег бел" является истинным по-русски[2], если и только если снег бел», являются тривиально истинными. Поскольку совокупность таких предложений единственным образом определяет экстенсионал предиката истины для русского языка, теория, которая влечет за собой все такие предложения, должна быть экстенсионально корректной. Критики часто ошибаются, считая, что поскольку теоремы, которые показывают корректность теории, тривиальны, то теория или понятие истины, которое эта теория характеризует, также должны быть тривиальны.

Теория истины могла бы служить для интерпретации высказываний носителя языка только в том случае, если бы она объясняла все лингвистические ресурсы говорящего. Но адекватна ли естественному языку та теория, которая удовлетворяет конвенции Т? Здесь возникают два вопроса. Один из них — какие средства надо создать или считать доступными для языка теории; другой — как применить эти средства к языку говорящего. Мое рабочее предположение состояло в том, что нам доступна лишь стандартная квантификационная теория первого порядка, но не более. В самом деле, в течение долгого времени я был убежден, что множество альтернативных подходов к семантике, использующих, например, модальные логики, семантику возможных миров или подстановочную квантификацию, не подходят для теории, которая отвечает требованиям конвенции Т. Теперь я знаю, что это было поспешное суждение. Конвенция Т не решает так много проблем, а для содержательного теоретизирова-

ния открыто больше возможностей, чем я думал. Однако, известные достоинства квантификационной теории первого порядка все же побуждают нас рассмотреть, как она может быть использована. В следующих трех статьях, собранных под заголовком «Приложения», я делаю попытку семантической адаптации трех родственных, но не поддающихся одновременной обработке идиом: это цитирование, косвенная речь и операторы наклонения.

В *статье 6* указывается, что ни одна из существующих теорий цитирования не полна, и предлагается эксплицитно указательный подход, который делает цитирование особым случаем указательной референции одних слов к другим, вербально смежным.

Статья 7, «О местоимении „что“», сфокусирована на одном из многих видов предложений, используемых для приписывания установок; предложенное паратактическое[3] решение имеет очевидные сходства с трактовкой цитирования в статье 6. В статье 3 есть указания (которые, как я думаю, могут быть развиты) на то, как такой анализ может быть расширен на предложения, выражающие мнения. Если следовать этой стратегии, то она могла бы задать семантику (но не логику) для модальных выражений, для контрфактических высказываний и прочих предложений, выражающих «пропозициональные» установки.

В *статье 8*, «Грамматические наклонения и виды речевой практики», подчеркивается различие (которым часто пренебрегают) между грамматическими наклонениями с одной стороны и различными видами иллокутивной силы с другой. Только первые относятся к теории того, что означают слова. Здесь предложен анализ паратаксиса императивов, предназначенный объяснить нашу естественную интуицию, заключающуюся в том, что императивы не имеют истинностного значения, хотя остаются в пределах области действия теории истины.

В дополняющем данную книгу «Эссе о действиях и событиях» я показываю, как теория истины может применяться к ряду неясных случаев: к предложениям о действиях и дру-

гих событиях, адвербиальной (наречной) модификации и сингулярным каузальным утверждениям.

В третьем разделе этой книги рассматривается вопрос, может ли теория истины быть верифицирована носителем языка без принятия в качестве допущения слишком многого из того, что она предназначена описать.

В *статье 9*, «Радикальная интерпретация», как и в остальных, я следую за Куайном, предполагая, что даже если мы сужаем наше внимание до вербального поведения, показывающего, когда и при каких условиях субъект принимает на веру некоторое предложение, то все равно у нас нет никакого прямого способа выяснить роль убеждения и значения в объяснении этой веры. Выявление отдельных теорий убеждения и значения требует теории, которая при введении дополнительных данных может повлиять на интерпретацию каждого предложения и сопутствующих ему установок. Лишь изучая *структуру* нашего принятия определенных предложений, мы можем определить, что они означают и какие убеждения выражают.

Эмпирические свидетельства без помощи теории никак не помогут нам различить вклады убеждения и значения в лингвистическое поведение. Поэтому требуется метод разделения этих вкладов до степени, достаточной для коммуникации. В данных статьях способы достижения этой цели описаны и подкреплены доказательствами. Но все они, так или иначе, опираются на Принцип Доверия (Principle of Charity)[4].

Само это выражение и основная идея почерпнуты из работы Нила Уилсона «Субстанции без субстрата». Куайн говорит об этом следующим образом: «...Утверждения, изначально представляющиеся поразительно ложными, следует, вероятно, рассматривать как содержащие скрытые языковые различия»[5]. Куайн применяет этот принцип прежде всего к интерпретации логических констант.

Поскольку я считаю, что не могу использовать понятие стимульного значения Куайна как основание для интерпретации некоторых предложений, я применяю Принцип До-

верия более широко, а именно во всех случаях. Примененный таким образом, он рекомендует нам, в наиболее общем смысле, предпочитать те теории интерпретации, которые минимизируют разногласия. Стремясь подчеркнуть неизбежность обращения к доверию, я склонялся к тому, чтобы рассматривать этот вопрос именно так. Но минимизация разногласий, или максимизация согласия, является смутным идеалом. Цель интерпретации — не согласие, а понимание. Я всегда настаивал на том, что понимание может быть достигнуто только при помощи такой интерпретации, которая способствует достижению согласия правильного вида. «Правильный вид», однако, не легче определить, чем сказать, что именно составляет достаточное основание для поддержки некоторого отдельного убеждения.

Отдаленные подходы к Принципу Доверия начинают появляться в статьях 10 и 11. Однако там они представляют собой лишь намеки, в моей нынешней работе я пытаюсь развить эту тему более подробно.

В *статье 10*, «Мнения и основания значения», отстаивается симметрия мнения и значения в исследовании вербального поведения. В одном важном отношении эта статья идет еще дальше. В нем развивается удивительная параллель между теориями выбора, основанными на теореме Бейеса, и теориями значения, и приводятся основания, в силу которых эти две теории должны рассматриваться как взаимозависимые. Идеи, эскизно обозначенные здесь, могут привести к объединенной теории речи и действия; они были развиты в моих Карусовских лекциях[6] и будут изданы в ближайшее время[7].

Первые две статьи о радикальной интерпретации подчеркивают тот факт, что понимание слов носителя языка требует обширных знаний о его убеждениях. В *статье 11*, «Мышление и речь», они рассматриваются как зависящие друг от друга, из чего следует вывод (хотя и умозрительный) о том, что лишь существо, обладающее языком, может считаться имеющим полноценную систему пропозициональных установок.

В *статье 12*, «Ответ Фостеру», как отмечено выше, признается, что если мы хотим, чтобы теория истины помогала при переводе, то она должна быть не просто истинной: ее аксиомы и теоремы должны быть законами природы. Если переводчик знаком с такой теорией, то он может использовать ее для того, чтобы понять говорящего — но только если он знает, что утверждения теории являются номическими.

Следующие четыре статьи могут быть описаны как философские следствия предлагаемого здесь подхода к истине и интерпретации.

Теория истины может называться корреспондентной в непритязательном смысле статьи 3, но такая трактовка не поощряет мысль, согласно которой мы понимаем то, каким образом можно было бы сравнить сами предложения с тем, о чем они повествуют, так как теория не предоставляет нам никаких объектов, с которыми можно сравнить предложения. Сходным образом, в *статье 13*, «Об идее концептуальной схемы», ставится под вопрос ясность требований, согласно которым различные языки или концептуальные схемы «делят на части» действительность или «обращаются» с ней во многом различающимися между собой способами. Наш общий метод интерпретации предупреждает возможность обнаружения того, что другие люди обладают иными интеллектуальными средствами, чем мы. Но, что более важно, здесь утверждается, что если мы отклоняем идею о неинтерпретируемом источнике эмпирических свидетельств, то мы избежим дуализма схемы и содержания. Без такого дуализма концептуальный релятивизм теряет смысл. Это не подразумевает, что мы должны отказаться от идеи объективного мира, независимого от нашего знания о нем. Напротив, аргумент против концептуального релятивизма показывает, что язык — не экран или фильтр, через который должно пройти наше знание о мире.

Отказ от дуализма схемы и содержания ведет к отказу от самой важной темы эмпиризма в его главных исторических проявлениях. Но я не думаю, что мой аргумент против эмпиризма превращает или должен превратить меня в прагма-

тиста, трансцендентального идеалиста или «внутреннего» реалиста, как утверждают многие мои друзья и критики. Все эти позиции — формы релятивизма, которые я нахожу настолько же неприемлемыми, как и критикуемый мной эмпиризм.

Согласно статье 13, идея о том, что концептуальные ресурсы различных языков сильно различаются, бессмысленна. Аргумент, который ведет к этому заключению, в равной степени ведет и к заключению о том, что общие принципы нашего видения мира являются правильными, несмотря на то, что мы, поодиночке и все вместе, можем быть совершенно неправы, это может происходить только при условии, что в большинстве основных пунктов мы не ошибаемся. Из этого следует, что, изучая то, что наш язык — любой язык — требует для того, чтобы предоставить нам полную онтологию, мы не просто рассматриваем нашу собственную картину вещей: то, что мы считаем существующим — это по большей части именно то, что существует. Это — тема *статьи 14*, «Метод истины в метафизике».

Теория истины проверяется теоремами, определяющими условия, при которых предложения являются истинными, эти теоремы ничего не говорят о референции. В *статье 15*, «Реальность без референции», соответственно утверждается, что то, как теория истины соотносит несентенциальные выражения (non-sentential expressions) с объектами, безразлично нам до тех пор, пока не затронуты условия истинности. Вопрос, о каких объектах повествует то или иное предложение, подобно вопросам о том, на какой объект указывает тот или иной термин, или относительно каких объектов истинен тот или иной предикат, не имеет никакого ответа.

В *статье 15* я соглашаюсь с Куайном в том, что референция непостижима. *Статья 16*, «Непостижимость референции», предупреждает против того, чтобы считать эту непостижимость причиной для попытки так или иначе релятивизировать референцию и онтологию единичных терминов и предикатов. Ведь поскольку ничто не может показать, как слова говорящего были соотнесены с объектами, то не оста-

ется ничего, что можно было бы релятивизировать, а поскольку интерпретация остается незатронутой, то нет и необходимости в релятивизации.

Никакое обсуждение теорий значения не может обойтись без принятия во внимание пределов применения таких теорий. Они должны быть достаточно широки, чтобы обеспечить понимание того, как язык может обслуживать наши неограниченные потребности, но в то же время достаточно узки для того, чтобы поддаваться серьезной систематизации. Необходимый для такого определения шаг был предпринят в статье 8 при помощи различения между грамматическим наклонением, которое должна учитывать даже самая скромная теория, и силой произнесения (иллокутивной силой), которая не поддается подобной регламентации. *Статья 17*, «Что означают метафоры», главным образом посвящена тезису о том, что мы объясняем роль слов в метафоре, лишь предполагая, что они имеют те же самые значения, что и в прямых, непереносных контекстах. Мы теряем нашу способность объяснить метафору, а равно исключаем всякую надежду на основательную теорию, если мы постулируем некие метафорические значения.

В *статье 18*, «Общение и конвенциональность», проводится другое ограничение. Всегда остается открытым вопрос о том, как хорошо будет работать та теория, которую переводчик использует для перевода с одного языка на другой. На практике переводчик поддерживает разговор, приспосабливая теорию по ходу дела. Принципы такого изобретательного приспосабливания сами не сводимы к теории, подразумевая не что иное, как все наши навыки построения теории.

Эти статьи подверглись незначительным поправкам с целью уменьшить повторы, устранить ненужные или запутанные места и привести ранние мысли в большее соответствие с поздними. Эти изменения не затрагивают ничего существенного. Там, где мои ошибки или упущения привлекли публичное внимание, я оставил их как есть или отметил изменения в примечании.

Мне помогало намного больше людей, чем я могу здесь поблагодарить, тем не менее, я хочу упомянуть Пола Грайса, Гильберта Хармана, Сола Крипке, Дэвида Льюиса, Ричарда Рорти, сэра Питера Стросона и Брюса Вермазена. Сью Ларсон и Акил Билграми проделали необходимую работу по примечаниям, библиографии и индексу. Более того, они подавали мне философские советы и оказывали моральную поддержку. Сью Ларсон многому научила меня в философии языка, ее влияние особенно сильно в статьях 8 и 18.

В 1970 я прочел Локковские лекции в Оксфорде. Содержание этих лекций приводится здесь (в значительно измененном виде) в статьях 2, 3, 6, 7 и 13. Еще одна лекция по адвербиальной модификации была основана на материале, напечатанном теперь в статьях 6–11 из «Эссе о действиях и событиях».

С самого начала моей карьеры на мои размышления оказал влияние Майкл Даммит, несколько раз читавший лекции по Фреге и философии языка в Стэнфордском университете, когда я был там в пятидесятых годах. Наши дискуссии приняли публичную форму в 1974 году, когда мы провели совместный семинар по истине во время моего пребывания приглашенным исследователем в колледже Всех Душ[8].

В течение многих лет мы много беседовали с Джоном Уоллесом о проблемах, поднятых в этой книге. Он рано оценил мощь работ Тарского об истине, и многое из того, что я написал, отражает его понимание и сочувственную критику.

У. В. Куайн был моим учителем в важнейший период моей жизни. Он не только инициировал мои размышления о языке, но и был первым, кто подал мне идею, что в философии можно быть правым, или, по крайней мере, ошибаться, и это играет важную роль. Без вдохновения его работ, его терпеливой опеки, его дружеского остроумия и великодушной поддержки эта книга не была бы хуже, чем она есть. Ее бы просто не было.

ИСТИНА И ЗНАЧЕНИЕ

1. ТЕОРИИ ЗНАЧЕНИЯ И ЯЗЫКИ, ПОДДАЮЩИЕСЯ ИЗУЧЕНИЮ

Философы склонны рассуждать о тех свойствах, которые язык должен был бы иметь в том случае, если бы он хотя бы в принципе поддавался изучению. Цель подобных утверждений, как правило, заключалась в том, чтобы укрепить или подорвать какую-нибудь философскую, эпистемологическую, метафизическую, онтологическую или же этическую доктрину. Однако если эти аргументы правильны, то они должны оказывать определенное воздействие на эмпирическую науку, занимающуюся построением понятий, пусть даже это воздействие окажется ограниченным указанием пределов эмпирического.

Зачастую утверждается или предполагается, что при помощи чисто априорных размышлений можно определить особенности механизмов, или этапов, изучения языка. Эти утверждения не внушают особого доверия. В первой части этой статьи я исследую типичный пример подобного рода позиции, и попытаюсь отделить те ее элементы, которые вполне можно было бы принять, от тех, которые следует отбросить. В противовес сомнительным предположениям насчет того, как мы учим язык, я указываю на то, что представляется мне необходимой особенностью языка, поддающегося изучению: а именно, должна существовать возможность дать конструктивное объяснение значения предложений языка. Такого рода объяснение я называю теорией значения для языка, и я полагаю, что та теория значения, которая вступает в противоречие с этим условием вне зависимости от того, выдвигается ли она философом, лингвистом или психологом, не может быть теорией естественного языка; если же она не принимает это условие во внимание, то она тем самым упускает из виду целый ряд очень важных вещей, связанных с понятием языка. Тем не менее, как я попытаюсь

показать во второй части своей статьи, множество современных теорий значения либо противоречит указанному условию, либо не принимает его во внимание.

1

Сперва мы выучиваем небольшое число имен и предикатов, которые применяются нами к привлекательным и съедобным физическим объектам среднего размера, которые воспринимаются нашими чувствами в первую очередь и вызывают у нас наибольший интерес; обучение происходит благодаря процессу обусловливания, включающего в себя наглядное определение путем непосредственного указания на предмет (*ostention*). Затем приходит очередь сложных предикатов и единичных терминов, применяемых в отношении объектов, вовсе не обязательно наблюдавшихся нами ранее; быть может, они даже не воспринимаются зрением из-за своего размера, возраста, распыленности или же несуществования. Затем наступает черед теоретических терминов, которые выучиваются при помощи «постулатов значения» или же благодаря использованию в общепринятых научных рассуждениях. Чуть раньше благодаря игре происходит имеющий громадное значение переход от термина к предложению, сколь бы запутанный характер он не носил. Переход этот оказывается малозаметным благодаря существованию однословных предложений, таких как «Мама», «Огонь», «Плита», «Кирпич», «Гавагай» и т. д.[1]

Так в окарикатуренном виде выглядит система типовых элементов теории изучения языка, которая отражает, глава за главой, запыленную эмпиристскую эпистемологию.

В настоящее время эта теория по большей части не вызывает доверия. Прежде всего, нет никаких разумных оснований полагать, будто порядок изучения языка связан с определенными эпистемологическими приоритетами. Во-вторых, ряд утверждений этой теории противоречит, по-видимому, опыту: так, ребенок учит общие термины типа «кот», «верблюд», «мастодонт» и «единорог» неким единообразным

способом — например, разглядывая книжку с картинками, хотя его отношение к объему этих терминов является совершенно различным. В ряде случаев есть основания утверждать, что порядок изучения языка прямо противоположен порядку познания: чувственные данные могут служить основой нашего знания физических объектов, но язык чувственных данных выучивается значительно позже того языка, на котором мы рассуждаем о физических объектах. Наконец, лежащая в основе этой теории изучения языка эпистемология, опирающаяся на ассоциативную психологию и использующая редукционистскую теорию значения, с некоторых пор не вызывает симпатий у большинства философов. В свете всех этих соображений вызывает сильное удивление то, что создание, весьма сильно смахивающее на доктрину обучения языку, возникшую в качестве чахлого отростка раннего эмпиризма, должно цвести в тот самый момент, когда растение, давшее ему жизнь, уже увяло. Нижеследующее — только один из примеров влияния этой устаревшей доктрины, однако из современной литературы можно извлечь множество других примеров.

П. Ф. Стросон подверг критике хорошо известное мнение Куайна, согласно которому «категория единичных терминов является теоретически избыточной»[2]. Стросон считает, развивая свою аргументацию, что в рамках языка, уже содержащего единичные термины, мы можем перефразировать «все, что мы в данный момент говорим, используя единичные термины, в такие словесные формы, которые не содержат единичных терминов» (434). Со своей стороны, Стросон отрицает, что из этого допущения можно вывести теоретическую возможность, согласно которой мы могли бы говорить о языке, не имеющем единичных терминов, о языке, «...в котором мы никогда не использовали их, в котором категория единичных терминов просто-напросто не существует, но в котором мы, тем не менее, были в конечном счете способны высказать все то, что мы в настоящий момент способны сказать при помощи единичных терминов» (433, 434). Затем Стросон предпринимает попытку самосто-

ятельно установить теоретическую невозможность такого языка.

Для того, чтобы сконцентрировать внимание на сути вопроса, позвольте мне объяснить, что я не испытываю особого интереса к опровержению двух выдвинутых Стросоном тезисов, а именно, тезиса о том, что из *возможности перефразировки* вовсе не следует *возможность элиминации* <единичных терминов из языка> и, во-вторых, тезиса о том, что возможность устранения единичных терминов из языка в указанном выше виде является невозможной. Оба эти утверждения являются, насколько я могу судить, спорными и требующими прояснения понятия «способности сказать то же самое».

Поэтому не пытаясь делать какие-либо заключения, я займусь исключительно тем, что разберу основной аргумент Стросона, направленный против тезиса Куайна относительно возможности устранить единичные термины из языка. Для этого аргумента существенны два утверждения:

(1) для того, чтобы можно было понять какой-либо предикат, некоторые предикаты должны выучиваться путем прямого на них указания (*ostensively*) или путем «непосредственного знакомства» (*direct confrontation*) с ними;

(2) для того, чтобы такого рода обучение могло произойти, ситуация обучения при помощи прямого указания должна быть «выражена в языке» при помощи какого-то указательного (*demonstrative*) элемента, который выделяет или же идентифицирует сущности того вида, к которым применяется предикат (445, 446).

Куайн возразил на это, что утверждений (1) и (2) недостаточно для доказательства необходимости единичных терминов, поскольку указательные частицы могут интерпретироваться как общие термины[3]. Быть может, это и так, меня же куда больше интересует подразумеваемое утверждениями (1) и (2) допущение, будто бы ключевые вопросы, связанные с обучением языку, могут быть разрешены на чисто априорных основаниях[4].

Обобщая свой аргумент, Стросон говорит: «Для того, чтобы мы вообще были в состоянии понимать термины, неко-

торые всеобщие (*universal*) термины должны быть связаны с нашим опытом. Эти всеобщие термины должны быть связаны с единицами или фрагментами нашего опыта. Следовательно, если они должны выучиваться как *предикаты конкретных единичных вещей* (*predicates of particulars*), они должны выучиваться как предикаты демонстративно *идентифицируемых* конкретных единичных вещей» (446). В данном случае, по-видимому, понятно, что понятие обучения, фигурирующее в заключении, выглядит достаточно смутным, так что давайте вернемся на время к утверждениям (1) и (2).

Само собой понятно, что вопрос о том, оказывается ли человек в результате определенного развития способным обладать некоторой способностью, которой он не располагал прежде — это эмпирический вопрос; тем не менее тезисы (1) и (2) утверждают: вопрос о том, что человек, приобретший лингвистическую способность определенного вида, прошел предписанный ему маршрут — это чисто «логическая» проблема. Стросон, по всей видимости, отождествляет обучение предикату путем прямого на него указания (*ostensive learning of predicate*) с обучением предикату путем «непосредственного знакомства» с ним. Можно представить себе два способа, посредством которых подобного рода процесс оказывается, предположительно, более своеобразным, нежели изучение значения предиката путем выслушивания предложений, которое связывает его с единичными указательными терминами. Один из этих способов заключается в том, что изучение предиката при помощи остенсивного определения может потребовать стремления учителя привлечь внимание ученика к объекту. Представляется, однако, что наличие подобного рода стремления вовсе не является необходимым, и в действительности в большинстве случаев обучение языку происходит благодаря тем наблюдениям и подражательным реакциям, которое осуществляет обучаемый, а вовсе не благодаря дидактическим намерениям людей, за которыми наблюдает и которым подражает обучаемый. Второе различие заключается в том, что непосредственное знакомство (и, вероятно, остенсивное определение, по крайней мере в том

виде, в каком оно интерпретируется Стросоном), требует наличия соответствующего объекта, в то время как в случае правильного использования указательного единичного термина ничего подобного не требуется. Однако соображение, согласно которому человек не смог бы выучить свой родной язык в условиях искусно сфабрикованной окружающей среды, нельзя считать ни априорной истиной, ни, по всей видимости, истиной вообще. Думать иначе означало бы, как пишет Стросон в своей появившейся уже после публикации статьи книге, «быть чрезмерно ограниченным силой человеческого воображения»[5].

Защищая свой второй тезис, Стросон делает явной ту путаницу, которая, на мой взгляд, лежит в основе аргумента, подвергнутого мной критике. Похоже, что нет никаких оснований для того, чтобы обучение предикатам при помощи остенсивного определения должно было «выражаться в языке» скорее одним способом, нежели иным; нет никаких оснований для того, чтобы референция к конкретным единичным вещам (*particulars*) (при условии, что это необходимо) обязательно должна была бы осуществляться при помощи указательных частиц (*demonstratives*). Со своей стороны, Стросон тоже не приводит каких-либо доказательств в пользу этой точки зрения; вместо этого он доказывает положение, согласно которому «ни одна символическая система записи не может считаться языком, в котором осуществляется референция к конкретным единичным вещам, если эта система записи не содержит средств для осуществления указательных... референциальных ссылок на конкретные единичные вещи, то есть если она не содержит единичных терминов для референции к конкретным единичным вещам...»[6]. Чуть ниже в той же самой статье Стросон подвергает критике «...некритическое допущение, что часть структуры обыденного языка может существовать и функционировать в отрыве от того целого, частью которого она является, с тем же успехом, с каким он функционирует, будучи встроенным в это целое... По крайней мере в этом отношении язык представляет собой органическое целое» (451, 452). Здесь появляется мысль,

свободная от какой-либо значимой связи с изучением языка, согласно которой тезис Куайна о том, что можно устранить единичные термины, является ложным, так как в обратном случае мы произвели бы громадное концептуальное изменение — поменяли бы значения всех имеющихся на данный момент предложений — если бы разорвали все их существующие в данный момент связи с предложениями, содержащими единичные термины (или указательные частицы, или имена собственные и т. д.). Я же полагаю, что из аргументов, выдвинутых в поддержку идеи концептуальной взаимозависимости различных основополагающих идиом Стросон неправомерно выводит заключения, касающиеся механизма и последовательности усвоения языка.

Что же касается вопроса о концептуальной взаимозависимости, то Куайн, по-видимому, по крайней мере в том, что касается существа дела, выражает свое согласие, когда пишет, что «общий термин и указательный единичный термин являются, наряду с тождеством, взаимозависимыми средствами, которые ребенок, принадлежащий к нашей культуре, должен освоить одним отчаянным усилием»[7]. Если подобные заявления о взаимозависимости являются здравыми, то остается верным то, что мы не могли бы выучить язык, в котором предикаты означали бы то же самое, что они означают в нашем языке, но в котором отсутствовали бы указательные единичные термины. Мы не смогли бы выучить такой язык потому, что, если иметь в виду допущение, такого языка вообще не могло бы существовать[8]. Урок, который можно извлечь из всех этих рассуждений для теорий усвоения языка, является целиком и полностью отрицательным, что, однако же, вовсе не умаляет его значения: в той степени, в какой мы всерьез принимаем «органический» характер языка, мы не в состоянии точно описать первые этапы его завоевания как изучение части языка; скорее это может быть сделано при помощи изучения по частям[9].

2

Вряд ли стоит рассчитывать, что с логической точки зрения станут яснее способы, какими функционирует механизм обучения языку, но мы имеем право рассмотреть, предваряя эмпирическое исследование, что именно нам следует считать узнаванием языка, как нам следует описывать умение или способность человека, научившегося говорить на каком-то языке. Первое естественное условие заключается в том, что мы должны быть способны определить предикат выражений, основанных исключительно на их формальных свойствах так, чтобы он выделял класс осмысленных выражений (предложений); при этом подразумевается, что различные психологические переменные остаются неизменными. Этот предикат задает грамматику языка. Другое и более интересное условие заключается в том, что мы должны быть способны определить, причем способом, фактически зависящим исключительно от формальных размышлений, что означает каждое предложение. Учитывая правильное улавливание всех психологических нюансов, наша теория должна снабдить нас всем необходимым для того, что требуется нам для определения — относительно любого произвольно взятого предложения — того, что говорящий имеет в виду под данным предложением (или же для определения того, что означает, по мнению говорящего, это предложение). Руководствуясь адекватной теорией, мы понимаем, как действия и диспозиции говорящих делают предложения языка семантически структурированными. Будучи, вне всякого сомнения, соотнесенной с моментами времени, места и обстоятельств, требуемая структура является, по всей видимости, либо тождественной, либо достаточно схожей с той структурой, которая была задана тем определением истины, которое впервые предложил Тарский, поскольку это определение предлагает эффективный метод определения того, что означает каждое предложение (то есть задает условия, при которых предложение является истинным)[10]. Я не собираюсь здесь утверждать, что мы обязательно должны быть в состоянии

извлечь определение истины из адекватной теории (хотя нечто подобное необходимо), но теория соответствует тому условию, которое я имею в виду, в том случае, если из нее можно извлечь определение истины; в частности, не требуется никакого более строгого определения значения[11].

По видимому, эти проблемы следующим неформальным образом связаны с возможностью обучения языку. Когда мы в состоянии рассматривать значение каждого предложения как функцию конечного числа особенностей этого предложения, мы знаем не только то, что требуется выучить; мы понимаем также и то, как бесконечный диапазон способностей может охватываться конечным числом результатов[12]. Ведь если предположить, что язык лишен подобного рода особенности, то сколько бы предложений потенциальный говорящий не учился бы произносить и понимать, всегда существовали бы еще и другие предложения, значение которых не определяется выученными прежде правилами. О таком языке было бы вполне естественно сказать, что он *не поддается изучению*. Само собой понятно, что этот аргумент зависит от целого ряда эмпирических допущений: например, от допущения, что в один прекрасный момент мы внезапно не приобретаем способность постигать значения предложений безотносительно к каким бы то ни было правилам; от допущения, что каждая новая единица словаря, или же новое грамматическое правило, требует некоторого конечного промежутка времени для своего изучения; от допущения, что человек смертен.

Давайте называть выражение *семантическим примитивом* при условии, что правил, которые придают значение предложениям, в которых это выражение не встречается, недостаточно для определения значения тех предложений, в которых это выражение и в самом деле встречается. Тогда мы можем сформулировать подлежащее обсуждению условие следующим образом: поддающийся изучению язык имеет конечное число семантических примитивов. Каким бы расплывчатым не было бы высказывание, выражающее это условие, я, тем не менее, уверен, что оно является достаточно

ясным для того, чтобы поддержать заявление, согласно которому множество современных теорий языка даже в принципе не применимы к естественным языкам, поскольку языки, к которым они применяются, не поддаются изучению в указанном выше смысле. Теперь же я перехожу к примерам.

Первый пример. Кавычки. Нам следовало бы озаботиться проблемой кавычек в гораздо большей степени, нежели мы имеем обыкновение это делать. Мы довольно хорошо понимаем кавычки, по крайней мере постольку, поскольку мы всегда знаем значение цитаты. В силу того, что существует бесконечное множество цитат, наше знание, по всей видимости, подразумевает какое-то правило. Трудности начинаются тогда, когда мы пытаемся сформулировать это правило в виде фрагмента теории значения.

Неформальным попыткам обсуждения того, что в данном случае нам понятно, не стоит придавать слишком серьезное значение. Куайн говорит: «Имя имени или другого выражения обычно образуется путем помещения именуемого выражения в одинарные кавычки... целое, именуемое *цитатой*, обозначает свое содержание (*interior*)»[13]. Тарский говорит по существу то же самое[14]. Само собой понятно, что подобного рода формулы не в состоянии передать даже сути теории в требуемом смысле, как пытаются показать оба автора. Куайн отмечает, что цитаты обладают «определенной из ряда вон выходящей особенностью» и что обращение с ними требует «особой осмотрительности», Чёрч называет эту уловку «вводящей в заблуждение». Ошибочным во всем этом является, по всей видимости, то, что мы склонны считать каждую пару кавычек функциональным выражением, поскольку коль скоро мы заключаем какое-либо выражение в кавычки, то полученная в результате этой операции цитата обозначает исходное выражение. Однако для того, чтобы реализовать эту идею, мы должны считать выражения, заключенные в кавычки, либо единичными терминами, либо переменными. Тарский показывает, что в благоприятных случаях возникают парадоксы, в неблагоприятных же случаях выражение, зак-

люченное в кавычки, не имеет значения (159–62). Поэтому мы должны отбросить идею, согласно которой цитаты являются «синтаксически сложными выражениями, частями которых являются кавычки и выражения, в них заключенные». Единственная альтернатива, которую предлагает нам Тарский, заключается в следующем: «Кавычечные имена можно принять за единичные слова языка, а затем и за синтаксически неразложимые выражения. Отдельные составные части этих имен — кавычки и выражения, заключенные в кавычки, — выполняют ту же самую функцию, что и буквы либо совокупности следующих друг за другом букв в единичных выражениях, не имея при этом здесь никакого самостоятельного значения. Каждое кавычечное выражение является в то же время постоянным единичным именем определенного выражения... и при этом именем того же характера, что и собственные имена людей»[15].

Куайн примерно в том же самом духе пишет, что выражение, заключенное в кавычки, «функционирует просто в качестве фрагмента более длинного имени, которое помимо этого фрагмента включает в себя еще пару кавычек», и он сравнивает функционирование выражения, заключенного в кавычки, с функционированием выражения «пол» в рамках выражения «полка»[16] и выражения «кара» в рамках выражения «караван»[17].

Функция букв в словах, равно как и функция выражения «пол» в рамках выражения «полка», является чисто вспомогательной в следующем смысле этого слова: мы могли бы повсюду в языке заменить на новый шрифт выражение «полка», однако при этом семантическая структура языка осталась бы неизменной. Причем не только «пол» в выражении «полка» не имеет «значения само по себе», тот факт, что те же самые буквы встречаются в том же самом порядке в каком-либо месте, вообще не имеет никакого отношения к проблеме значения. Если сходного рода замечание верно и в отношении цитат, то никаких оправданий для классификации в рамках теории найти нельзя (то обстоятельство, что закавыченные фрагменты обладают общими орфографическими

признаками, является чисто случайным), и не имеет никакого значения тот факт, что цитата именует «свое содержание». Наконец, всякая цитата представляет собой семантический примитив и, поскольку существует бесконечно много цитат, язык, содержащий цитаты, не поддается изучению.

Это заключение противоречит нашим исходным предположениям. Нет никакой проблемы в формулировке общего правила идентификации цитат на основе формы (цитатой является всякое выражение, заключенное в кавычки), равным образом как не существует проблемы выдвижения неформального правила для создания требуемой цитаты (заключите выражение, которое вы желаете упомянуть, в кавычки). Поскольку эти правила свидетельствуют о том, что цитаты обладают значимой структурой, трудно отрицать необходимость существования семантической теории, их использующей. Нельзя также с полной уверенностью утверждать, что Тарский и Куайн желают отрицать возможность существования подобного рода теории. Тарский рассматривает только два способа анализа цитат, но он не исключает в сколько-нибудь явном виде остальные, равным образом как явно не признает он и альтернативные способы анализа, которые он не склонен отрицать. И конечно же он, по-видимому, соглашается с тем, что цитаты обладают значимой структурой, когда говорит: «Легко отдать себе отчет в том, что каждому кавычечному имени удается теперь сопоставить выраженное без кавычек структурно-описательное имя с той же самой областью (то есть означающее то же самое выражение) и *vice versa*»[18]. Непросто увидеть, как может быть установлена подобного рода корреляция, если мы заменим каждую цитату каким-то другим произвольным символом, как это было бы возможно в том случае, если бы кавычечные имена были подобны именам собственным людей.

Куайн рассматривает проблему более обстоятельно, утверждая, что хотя цитаты являются «логически неструктурированными» (190) и хотя выражения, стоящие внутри кавычек, конечно же, нереференциальны, тем не менее эта последняя особенность «легко поддается устранению путем изменения

системы записи» (144), которая снабжает нас логически структурированными средствами составления слова из букв и способом связи. Формула для «простого изменения» может быть, по всей видимости, дана при помощи определения (189, 190). Если бы это намерение можно было бы выполнить, то наиболее неподатливый аспект цитаты приводит к теории, поскольку появилась бы возможность приравнять условия истинности для предложений, содержащих цитаты, к условиями истинности для предложений, получаемых путем подстановки в орфографической идиоме на место заключенных фрагментов дефинитивных эквивалентов этих фрагментов. В соответствии с такой теорией невозможно существование бесконечного числа семантических примитивов, несмотря на тот факт, что невозможно приписать цитатам свойство, согласно которому они содержат части, играющие самостоятельные семантические роли. Если мы примем подобного рода теорию, то будем обязаны допустить существование структур такого вида, которые не заслуживают названия «логических», но, конечно же, прямо и неразрывно связаны с логической структурой, то есть такого вида структур, которые отсутствуют в обычных именах собственных[19].

Второй пример. Шеффлер о косвенной речи. Израэль Шеффлер предложил подход к косвенной речи, расшифровывающий ее при помощи надписей (*inscriptional approach*)[20]. Карнап одно время анализировал предложения в косвенной речи как включающие в себя отношение (сформулированное в терминах интенсионального изоморфизма) между говорящим и предложением[21]. Чёрч возразил на это, что анализ Карнапа содержит в себе скрытую отсылку к языку, не имеющему отношения к тем предложениям, которые подвергаются анализу, и добавил, что, по его мнению, любой правильный анализ будет интерпретировать содержание подчиненного предложения, идущего в сложном предложении после частицы «что» (*that-clause*) как референциально относящееся к пропозиции[22]. Шеффлер пытается показать, что правильный ана-

лиз мог бы удовольствоваться указанием на то, что можно было бы сделать при помощи онтологии надписей (и произнесений).

Шеффлер предполагает, что мы анализируем предложение «Тонкин сказал, что снег бел» («Tonkin said that snow is white») как «Тонкин произнес утверждение, что снег бел» («Tonkin spoke a that-snow-is-white utterance»). Коль скоро утверждение или надпись всегда относятся исключительно к языку того, кто их произносит (или пишет), то упрек, высказанный Чёрчем Карнапу, в данном случае не имеет силы. Суть данного подхода, с точки зрения интересующей нас проблемы, состоит в том, что выражение «что снег бел» следует рассматривать как отдельный предикат (утверждений или надписей). Шеффлер называет частицу «что» («that») оператором, который применяется к предложению для того, чтобы образовать составной общий термин. «Составной» при данном употреблении не может означать «логически сложный», по крайней мере до тех пор, пока не появится более солидная теория. Как и в случае с цитатами, синтаксис является достаточно прозрачным (точно также как прозрачен он и в косвенной речи вообще, с поправкой в ту или иную сторону на перефразирование глаголов и местоимений, что легче освоить, чем описать). Однако по-прежнему непонятно, как значение этих предикатов обусловлено их структурой. Коль скоро мы не располагаем теорией, мы вынуждены считать каждый новый предикат семантическим примитивом. Коль скоро дан их синтаксис, — хотя поставьте любое предложение после «что» и уповайте на дефисы, — то само собой понятно, что существует бесконечное множество подобного рода предикатов, так что языки, структура которых исчерпывается той, которую допускает Шеффлер, не поддаются изучению. Даже утверждение, будто «что» — это оператор, образующий предикат, следует признать чисто синтаксическим замечанием, которое никак не отражается на теории значения.

Впрочем, на это можно возразить, что сохраняется возможность появления теории, которая будет обладать более

четкой структурой. И это действительно так. Однако если Шеффлер желает извлечь пользу из этой возможности, он должен заплатить за это отказом от своего утверждения, будто бы он показал «*логическую форму и онтологическое свойство*» предложений в косвенной речи[23]. Больше теории может означать больше онтологии. Если логическая форма сообщает нам что-то по поводу онтологии, то фокус, который Куайн проделывает с цитатами, не удастся, поскольку логическая форма цитаты — это форма единичного термина, не имеющего частей, а ее явно выраженная онтология — это как раз то выражение, которое она обозначает. Однако определение, которое выигрывает в своей структуре, вводит больше сущностей (тех, что именуются при написании или произнесении слова по буквам). Это чистая случайность, что при подобного рода применении метод не множит сущностей, не упомянутых прежде той же самой цитатой[24].

Третий пример. Куайн о предложениях мнения. Мы всегда можем заменить проблемы онтологии, возникшие благодаря референциальным выражениям и позициям, на проблемы логического выражения. Если выражение оскорбляет своей предполагаемой референцией, нет необходимости отказываться от него. Достаточно объявить это выражение лишенной смыслового значения (*meaningless*) частью осмысленного (*meaningful*) выражения. Это лекарство не успеет нас убить прежде, чем вылечит: после того, как все единичные термины и позиции, поддающиеся квантификации, были встроены в их контексты, все еще будет сохраняться логическая структура, созданная рассмотрением предложений как неанализируемых элементов и логических связок. Однако семантика без онтологии не представляет особого интереса, и язык наподобие нашего, с которым нельзя сделать ничего более подходящего, будет образцом языка, не поддающегося изучению.

Конечно же, сам Куайн не зашел так далеко, но однажды он, по видимому, был весьма близок к этой позиции. Почти что в самом конце долгого, замечательного и обескураживa-

ющего поиска полной теории, призванной объяснить предложения мнения (и их сородичей — предложения в косвенной речи, предложения, выражающие сомнения, ожидания, страхи, желания и т. д.), он замечает, что коль скоро мы отказываемся от попыток квантификации предметов, полагаемых нами, то «...вообще нет нужды считать „полагает" и подобные глаголы относительными терминами; нет нужды поощрять их предикативное употребление, как в случае „*w* полагает *x*" (в противоположность „*w* полагает, что *p*"); нет, следовательно, нужды видеть в выражении „что *p*" термин. Таким образом, окончательная альтернатива, которую я нахожу столь же привлекательной, состоит в том, чтобы просто отказаться от объектов пропозициональных установок. ...Это значит считать, что „Том полагает [Цицерон обличил Катилину]" ...имеет форму „F*a*", где *a* = Том, а весь остальной комплекс — „F". Здесь глагол „полагает" больше уже не является термином, а становится частью оператора „полагает, что" ...который, будучи применен к предложению, дает составной абсолютный общий термин, непосредственной составной частью которого считается предложение»[25].

В известном смысле это — шаг вперед по сравнению с Шеффлером, поскольку даже основной глагол (в нашем случае «полагает») становится недоступным для логического анализа. Разговор о составных частях и операторах должен, конечно же, считаться чисто синтаксическим, не укорененным в семантической теории. Даже если существует какой-либо элемент помимо синтаксического, общий всем предложениям, входящим в класс предложений мнения, Куайн ничего не говорит о том, что он собой представляет. И, конечно же, язык, для объяснения которого больше уже не требуется теории, на мой взгляд не поддается изучению. Куайн, однако же, не отбрасывает надежды на появление теории, возможно, подобной той, которую он предлагает для объяснения цитат. Однако в случае с предложениями мнения не так то просто представить себе теорию, которая сочетала бы в себе соответствие требуемой структуре с отказом от дополнений в онтологию.

Четвертый пример. Чёрч о логике смысла и денотата. В последних двух примерах недостаток желаемого минимума выражения значения являлся, по-видимому, результатом преувеличенного внимания к проблемам онтологии. Однако было бы ошибкой делать из этого вывод, что благодаря гипертрофированному интересу к интенсиональным сущностям мы сможем разрешить все проблемы онтологии.

Фреге просит нас предположить, что некоторые глаголы, вроде «полагает» (или «полагает, что») выполняют двойную работу[26]. Во-первых, они создают контекст, в рамках которого слова, которые следуют за выражением «что», начинают обозначать (*refer*) свой обычный смысл или смысловое значение (*meaning*). Во-вторых, — коль скоро соответствующий глагол играет центральную роль в предложении, — они выполняют свою обычную работу, отображая личности и пропозиции на их истинностное значение. Это довольно запутанная доктрина, и есть основания полагать, что сам Фреге признавал это. Его точка зрения заключалась, по всей видимости, в том, что в отношении естественных языков нам придется довольствоваться этой запутанной теорией, тогда как в логически более прозрачном языке для указания на смысл и денотат будут использоваться разные слова, избавляя тем самым чрезмерно обремененные работой глаголы от первой, более запутанной, обязанности. Но в этом случае остается всего-навсего один шаг до словаря, содержащего бесконечное множество [семантических] примитивов. После первых появлений глаголов типа «полагает» мы вводим новые выражения для смыслов. Затем мы замечаем, что не существует теории, которая интерпретировала бы эти новые выражения как логически структурированные. По той же самой причине всякий раз, когда мы употребляем глагол «верит», появляется необходимость в новом словаре; причем не существует никакого предела для числа возможных употреблений.

Не стоит думать, будто-то бы исходное соображение Фреге порождает меньше проблем. Даже если предположить, что мы соглашаемся с идеей, согласно которой определенные

слова создают контекст, в рамках которого другие слова приобретают новое смысловое значение (с идеей, которая всего лишь уподобляет их функторам), все еще будет сохранять свое значение задача сведения определения этих значений к теории — бесконечного числа для по крайней мере некоторых из этих слов. Проблема заключается не в том, как отдельные выражения, из которых состоит предложение, управляемое глаголом «полагает», при условии, что известны значения, которыми они обладают в этом контексте, комбинируются друг с другом для того, чтобы обозначать пропозицию, проблема заключается скорее в том, чтобы установить правило, которое придавало бы каждому из этих выражений то значение, которое оно и в самом деле имеет.

Возвращаясь к нашим размышлениям по поводу той формы, которую Фреге мог бы придать языку, способ записи которого превосходит обыденный язык, однако сходен с ним в своей способности иметь дело с предложениями мнения и их родственниками, я мог бы сказать следующее: свойства, которые я выше приписал такому языку, можно встретить в языке, предложенном Алонзо Чёрчем[27]. В символической записи Чёрча факт, что новые выражения, которые вводятся в игру по мере того, как мы размечаем семантическую лестницу, не являются логически сложными, искусственно затемняется тем обстоятельством, что они синтаксически строятся из выражений, предназначенных для более низкого уровня и из изменения подстрочного индекса. Дело задумано таким образом, что «если в правильно построенной формуле, не содержащей вхождений свободных переменных, подстрочные индексы во всех встречающихся видах символов увеличиваются на единицу, полученная в результате этого правильно построенная формула обозначает смысл первой» (17). Однако само собой понятно, что это правило не может использоваться в качестве элемента теории значения для языка; выражение и его индекс не могут считаться обладающими независимыми друг от друга значениями. По отношению к выражениям любого данного уровня, выражения более высокого уровня будут представлять собой семан-

тические примитивы, как ясно подчеркивает Чёрч (8). Я вовсе не предполагаю, что Чёрч совершает ошибку, напротив, он нигде не говорит о том, что ситуация отличается от той, что описана мной. Однако я и в самом деле полагаю, что язык смысла и предметного значения, предложенный Чёрчем, даже в принципе не поддается изучению.

2. ИСТИНА И ЗНАЧЕНИЕ[1]

Большинство исследователей, работающих в области философии языка, а в последнее время даже и некоторые лингвисты признают, что семантическая теория, отвечающая всем требованиям, должна отвечать и на вопрос о том, каким образом значения предложений зависят от значений слов. Пока для некоторого языка не найден ответ на этот вопрос, нельзя объяснить и возможность обучения этому языку, то есть возможность построения и понимания потенциально бесконечного множества предложений в результате овладения конечным словарем и конечным набором правил. Я не собираюсь оспаривать эти весьма неясные соображения, в которых тем не менее я усматриваю рациональное зерно[2]. Моя задача состоит в попытке выяснения того, что же на самом деле означает приведенное выше требование к семантической теории.

Существует подход, в соответствии с которым первым шагом в исследовании семантики должно быть приписывание всем словам (равно как и всем значимым существенным синтаксическим свойствам) предложения неких сущностей, называемых значениями; так, в предложении «Theaetetus flies» мы должны приписывать слову «Theaetetus» значение «Теэтет», а слову «flies» значение «свойство лететь». Далее встает вопрос о том, каким образом значение предложения складывается из значений слов. Можно рассматривать последовательное соединение слов в предложении как значимое синтаксическое свойство и приписывать ему значение «участие» или «конкретная реализация», однако очевидно, что такой подход ведет к бесконечному регрессу. Пытаясь избежать этой трудности, Фреге предложил считать сущности, соответствующие предикатам, «ненасыщенными» или «неполными» в отличие от сущностей, соответствующих именам. Однако, как представляется, эта доктрина скорее формулирует вопрос, чем решает его.

Вопрос приобретает еще большую остроту, если мы примем во внимание сложные единичные термы, которые наряду с предложениями рассматриваются в теории Фреге. Возьмем выражение «the father of Annette», «отец Анны», каким образом значение целого зависит от значения частей? Как кажется, значение выражения «the father of» таково, что, когда это выражение предшествует единичному терму, результирующее словосочетание имеет своим референтом отца того лица, к которому относится единичный терм. Какова же в таком случае роль ненасыщенной или неполной сущности, которую обозначает «the father of»? Можно сказать только, что эта сущность при аргументе *x* «приводит к» либо «представляет» значение «отец *x*», или соотносит людей с их отцами. До тех пор пока мы рассматривали лишь конкретные выражения, мы не могли быть уверены в том, что «the father of» действительно выполняет какую-либо объяснительную функцию. Поэтому представим себе бесконечную последовательность выражений, составленных из слова «Annette», которому словосочетание «the father of» предшествует о и более раз. Весьма легко предложить теорию референтного соотнесения каждого единичного терма нашей последовательности: в случае единичного терма «Annette» — это сама женщина по имени Анна, в случае сложного термина, состоящего из словосочетания «the father of» и единичного термина *t*, — это отец того человека, который обозначен как *t*. Очевидно, что при формулировании этой теории нет никакой нужды в упоминании некой особой сущности, соответствующей словосочетанию «the father of».

Мы не должны жаловаться на то, что наша миниатюрная теория *использует* словосочетание «the father of» для определения референтов выражений, включающих это словосочетание. Ведь задача была сформулирована как определение значения всех выражений некоторого бесконечного множества на основе значения частей этих выражений, и в нее не входило требование определения значения самих этих частей. В то же время сейчас нам стало очевидно, что семантическая теория, основанная на понятии выполнимости и опи-

сывающая сложные выражения, не обязательно должна располагать особыми сущностями, являющимися значениями атомарных частей этих выражений. Это позволяет пересмотреть наши требования к семантической теории, исключив предпосылку о необходимости существования значения у отдельных слов и заменив ее более слабой предпосылкой о некотором систематическом влиянии слов на предложения, в состав которых они входят. Действительно, для рассматриваемого нами случая более удачным результатом можно считать формулировку следующего критерия: мы хотели получить и получили теорию, которая сопоставляет каждому предложению форму «*t* отсылает к *x*» (*t* refers to *x*), где *t* — структурное описание[3] единичного терма, а *x* — сам этот терм. Более того, наша теория выполняет эту задачу без обращения к каким бы то ни было семантическим понятиям, кроме базисного понятия «отсылает к». И, наконец, теория в явном виде предлагает эффективную процедуру соотнесения любого единичного терма, принадлежащего к некоторому универсуму, с тем, что он обозначает.

Теория, имеющая столь несомненные достоинства, заслуживает расширения сферы своего применения. Средство, предложенное для подобных случаев Фреге, отличается изумительной простотой: считать предикаты особым случаем функциональных выражений, а предложения — особым случаем сложных единичных термов. Однако в этом пункте возникают сложности, если мы хотим по-прежнему применять используемую нами (имплицитную) процедуру отождествления значений единичных терминов с их референтами. Сложности эти являются следствиями двух вполне разумных предположений: во-первых, логически эквивалентные единичные термины имеют один и тот же референт, во-вторых, единичный термин не меняет свой референт, если входящий в его состав единичный термин заменяется другим, имеющим тот же референт. Теперь предположим, что R и S — это символы двух предложений с одинаковым истинностным значением. Тогда следующие четыре предложения имеют один и тот же референт.

(1) R
(2) x(x = x · R) = x(x = x)
(3) x(x = x · S) = x(x = x)
(4) S

(1) и (2) логически эквивалентны, так же как (3) и (4), (3) отличается от (2) только тем, что содержит единичный терм $x(x = x \cdot S)$, тогда как (2) содержит $x(x = x \cdot R)$, а эти единичные термины обозначают одну и ту же вещь, если у S и R одно и то же истинностное значение. Тем самым любые два предложения имеют один и тот же референт, если они имеют одно и то же истинностное значение[4]. И если значение предложения — это его референт, то все предложения с одинаковым истинностным значением должны оказаться синонимичными — недопустимый результат!

Очевидно, что мы должны отказаться от подобного подхода как основы семантической теории. Естественно обратиться к сути различия между значением и референцией. Как принято считать, сложность состоит в том, что, вообще говоря, вопросы референции определяются экстралингвистическими факторами, тогда как вопросы семантики — лингвистическими, в связи с чем экстралингвистические факторы позволяют отождествить референты выражений, которые не являются синонимичными. Если мы хотим получить теорию значения (а не референции) всех предложений, то мы должны начинать с исследования значения (а не референции) частей этих предложений.

До сих пор мы шли по пути Фреге, благодаря его заслугам этот путь хорошо известен и вполне заслуживает развития. Однако я полагаю, что начиная с этого момента мы оказываемся в тупике: переход от референции к значению не приводит к полезным соображениям относительно того, каким образом значение предложений опирается на значение слов (и других структурных признаков), образующих эти предложения. Зададимся, например, вопросом о том, каково значение предложения «Theaetetus flies». Ответ в духе Фреге будет примерно таким: если взять значение слова «Theaetetus»

за аргумент, то из значения слова «flies» вытекает значение предложения «Theaetetus flies» как значение некоторой функции. Бессодержательность такого ответа очевидна. Мы хотели выяснить, каково значение предложения «Theaetetus flies», но мы никоим образом не продвинулись в решении этого вопроса, выяснив, что его значение — «Theaetetus flies». Мы знали это и раньше, до построения какой бы то ни было теории. В русле подобных бессодержательных рассуждений все разговоры о структуре предложения и о значениях слов представляются праздными, поскольку никак не способствуют получению описания значения предложения.

Контраст между содержательными и бессодержательными рассуждениями станет еще ярче, если мы попытаемся построить теорию, аналогичную предложенной выше миниатюрной теории референции единичных термов, но оперирующую не с референцией, а со значениями. Аналогия состоит в том, что эта новая теория представляет все предложения в форме «s означает *m*», где s — структурное описание предложения, а *m* — единичный терм, который отсылает к значению этого предложения; тем самым теория дает эффективный способ получения значения произвольного предложения, снабженного структурным описанием. Очевидно, что для выполнения сформулированных требований необходим более четкий способ задания значений, чем все предложенные[5]. Трактовка значений как особого рода сущностей или использование близкого к такому подходу понятия синонимии позволяет сформулировать следующее правило, касающееся предложения и его частей: предложения являются синонимичными, если соотносимые между собой части этих предложений являются синонимичными (разумеется, слово «соотносимые» нуждается в уточнении). А значения как особого рода сущности иногда могут выступать в роли референции в теориях, подобных теории Фреге, теряя тем самым свой статус сущностей, отличных от референции. Как это ни парадоксально, значения, по-видимому, нельзя использовать только в одном случае — тогда, когда мы хотим построить такую теорию, к которой предъявляется требование нетри-

виального задания значений для всех предложений языка. Мои возражения против значений как инструмента теории значения состоят не в том, что они чересчур абстрактны, и не в том, что условия их идентификации остаются весьма туманными, а в том, что сама суть их использования неясна.

Сейчас уместно обратиться к другой обнадеживающей концепции. Предположим, что имеется полная синтаксическая теория некоторого языка, позволяющая для любого произвольного высказывания на этом языке определить, обладает ли оно независимым значением (то есть является ли оно предложением). Будем считать, что эта процедура основывается на тех предпосылках, о которых говорилось раньше, а именно: предложение состоит из элементов, определенным образом скомпонованных из фиксированного конечного набора атомарных синтаксических элементов (в первом приближении — слов). Обнадеживающая концепция сводится к тому, что синтаксис, взятый в таком аспекте, перерастает в семантику, если добавить к нему словарь, задающий значение каждого синтаксического элемента. Однако подобные надежды окажутся разбитыми, если в семантику входит теория значений в нашем понимании, поскольку знания о структурных характеристиках, организующих значение предложения, и знания о значениях его атомарных элементов ничего не добавляют к знаниям о том, что же означает данное предложение. Хорошей иллюстрацией этого могут служить предложения мнения (belief sentences). Синтаксис таких предложений довольно прост. Однако присоединение словаря к синтаксису не решает традиционной семантической проблемы, касающейся этих предложений, которая состоит в том, что мы не можем оценивать истинность предложения, пользуясь своими знаниями о значении входящих в это предложение слов. Ситуация не прояснится и в том случае, если словарь будет пополнен правилами разрешения омонимии, позволяющими определять, какое из значений омонимичного слова используется в данном контексте; наш вопрос, касающийся предложений названного типа, останется открытым и после разрешения омонимии.

Тот факт, что рекурсивный синтаксис, дополненный словарем, не становится необходимым образом рекурсивной семантикой, обходится стороной в некоторых недавних лингвистических работах, вводящих семантические критерии в синтаксически ориентированные теории. Дело свелось бы к невинным терминологическим различиям, если бы семантические критерии обладали ясностью, но ясности в этих критериях нет. Принято считать, что центральная задача семантики состоит в задании семантической интерпретации (или значения) для всех предложений языка, однако, насколько мне известно, в лингвистической литературе отсутствует сформулированное в явном виде объяснение того, каким образом семантика выполняет или будет выполнять в дальнейшем эту задачу. Контраст с синтаксисом разителен. Основная задача синтаксиса состоит в выявлении критериев *осмысленности* (или возможности употребления в роли предложения). Достоверность этих критериев находится в прямой зависимости от представительности исследуемой выборки и от нашего умения выделять среди разных выражений осмысленные (такие, которые могут быть использованы как предложения). Какие же аналогичные и столь же ясные задачи и способы проверки существуют в области семантики?[6]

Выше мы пришли к выводу, что части предложений не обладают никаким иным значением, кроме онтологически нейтрального, позволяющего им привносить свой вклад (в соответствии с правилами) в значение тех предложений, в которых они встречаются. Сейчас уместно вернуться к этому положению. Одно из его следствий — это холистический подход к значению. Если значение предложений зависит от их структуры, и мы считаем значением каждой единицы этой структуры не что иное, как абстракцию, полученную из совокупности предложений, содержащих данную единицу, то мы можем задать значение любого предложения (или слова) единственным способом, а именно заданием значения для каждого предложения (или слова) языка. Фреге сказал, что слово имеет значение только в контексте предложения, про-

должая его мысль, мы могли бы добавить, что предложение (и, следовательно, слово) имеет значение только в контексте всего языка.

Доля холизма содержалась уже в нашем утверждении о том, что адекватная теория значения должна представлять все предложения в форме «s означает *m*». Сейчас, не найдя в значениях предложений большей опоры, чем в значениях отдельных слов, мы можем попытаться освободиться от доставляющих много хлопот единичных терминов, замещающих позицию «*m*» и отсылающих ко значению. В некотором отношении сделать это совсем не трудно — просто-напросто написать: «s означает, что *p*», где *p* — предложение. Как мы видели, предложения не могут называть значения, а предложения, начинающиеся с «*что*», и вовсе не являются именами, если мы директивно не введем такого требования. Представляется, однако, что теперь нас подстерегают неприятности иного рода, поскольку естественно ожидать, что, пытаясь выявить логику явно не экстенсионального выражения «означает, что», мы столкнемся с проблемой, равной по сложности, а может быть, и просто идентичной той проблеме, которую должна уметь решать наша теория.

Я знаю только один простой и радикальный способ решения этой проблемы. При переходе от предложения к описанию предложения нас беспокоит использование интенсионального выражения «означает, что»; не исключено, однако, что успех нашего предприятия зависит не от самого выражения, а от той позиции, которую это выражение занимает. Теория будет выполнять свою задачу, если каждому предложению s исследуемого языка она будет сопоставлять соответствующее ему предложение (раньше в данной позиции был символ *p*), «задающее значение» предложения s способом, который будет пояснен ниже. Одним очевидным кандидатом на роль «соответствующего» предложения будет само s, если мы будем включать объектный язык в метаязык. Иначе — перевод s в метаязык. В качестве предельного возьмем случай экстенсионального замещения *p*, который получается таким образом: убираем неясное «означает, что», дополняем пред-

ложение, замещающее *p*, сентенциальнымн связками надлежащего вида и снабжаем описание, замещающее s, его собственным предикатом. В результате получаем:

(T) s является *T* тогда и только тогда, когда *p*.

Наше требование к семантической теории языка *L* состоит в следующем: без обращения к каким-либо (дальнейшим) семантическим понятиям теория накладывает на предикат «является *T*» ограничения, достаточные для получения из схемы *T* всех предложений, в которых *s* замещено структурным описанием предложения, а *p* — самим предложением.

Любые два предиката, удовлетворяющие этим условиям, имеют один и тот же экстенсионал[7], и если мы располагаем достаточно богатым метаязыком, то ничто не препятствует использованию семантической теории (в нашем понимании) для эксплицитного определения предиката «является Т». Однако независимо от того, будет ли этот предикат эксплицитно определен или просто рекурсивно охарактеризован, предложения, к которым применим этот предикат, окажутся истинными предложениями языка *L*, поскольку условие, которое мы наложили на семантическую теорию, основывающуюся на понятии выполнимости, по существу повторяет сформулированную Тарским конвенцию Т, проверяющую адекватность формального семантического определения истины[8].

Для получения этого вывода мы прошли довольно извилистый путь, однако сам вывод можно сформулировать просто: теория значения для языка *L* показывает, «каким образом значения предложений зависят от значений слов», если в ней содержится (рекурсивное) определение истинности в языке *L*. Мы не располагаем (по крайней мере в настоящий момент) какими-либо другими способами решения интересующей нас проблемы. Подчеркнем, что при ее формулировке понятие истины в явном виде использовано не было. Путь решения проблемы, начатый с ряда уточнений, привел нас к заключению, что адекватная теория значения должна накладывать ряд ограничений на некий предикат. Естествен-

но было предположить, что этот предикат соотносится с истинными предложениями. Смею надеяться, что предлагаемые рассуждения можно охарактеризовать (хотя бы частично) как отстаивание важности для философии семантического понятия истины в смысле Тарского. Однако предлагаемый мной подход связан лишь весьма отдаленно (если вообще связан) с вопросами о том, действительно ли понятие, определенное Тарским, является содержательным в философском плане понятием истины, или о том, удалось ли Тарскому пролить новый свет на обычное употребление таких слов, как «истинный» или «истина». Весьма печально, что отголоски подобных пустых и вводящих в заблуждение споров заслонили вопросы, представляющие теоретический интерес для исследования языка специалистами самых разных областей (философами, логиками, психологами и лингвистами), начиная с введения семантического понятия истины (независимо от того, какое название дать этому понятию) и кончая разработкой предпосылок для создания теории значения, одновременно тонкой и мощной.

Естественно, нет никаких оснований замалчивать очевидную связь между определением истины по Тарскому и понятием значения. Связь эта состоит в следующем: определение задает необходимые и достаточные условия истинности каждого предложения, а задание условий истинности есть способ задания значения предложения. Знание семантического понятия истинности для данного языка — это знание того, в чем состоит истинность любого его предложения, а ведь именно к этому и сводится понимание языка (если придавать этому словосочетанию положительное значение). Эти соображения по крайней мере оправдывают те черты моих рассуждений, которые могут показаться вызывающими: я свободно пользуюсь словом «значение», а получившаяся в результате теория значения в конечном счете оказывается независимой от значения, будь то значение отдельных слов или целых предложений. Действительно, определение истины по Тарскому удовлетворяет всем тем требованиям, которые мы предъявили к теории значения, и тем самым наша

теория попадает, по классификации Куайна, в класс «теорий референции», но не в класс «теорий значения». Это можно считать положительным свойством той теории, которую я называю семантической теорией, хотя одновременно, возможно, само название теории становится уязвимым для критики[9].

Наша теория значения (я буду по-прежнему называть ее так) является эмпирической теорией, направленной на описание естественного языка. Подобно любой другой теории, она может быть подвергнута проверке, при которой вытекающие из нее следствия сопоставляются с фактами языка. В данном случае проверка не составляет труда, поскольку мы охарактеризовали нашу теорию как задающую условия истинности каждого предложения из их бесконечного множества, и проверка сводится к выяснению для некоторой выборки предложений того, действительно ли те случаи, которые данная теория не считает отвечающими условиям истинности, не являются истинными. Типичный случай проверки приводит к решению вопросов типа: «Действительно ли предложение „The snow is white", „Снег бел", истинно тогда и только тогда, когда снег бел?» Не все случаи проверки так просты, как приведенный выше (по причинам, о которых будет сказано особо), но тем не менее очевидно, что эта проверка никак не связана с подсчетами. Конкретный вопрос проверки теории рассматриваемого нами типа может послужить отправным пунктом для постановки серьезного общего вопроса о том, при каких условиях лингвистическую теорию можно признать правильной и каким образом проверять правильность теории. Однако трудности, возникающие при рассмотрении этого вопроса, носят теоретический, а не практический характер. При разработке теории основная сложность заключается в том, чтобы ее применение давало какой-то практический результат, а уж проверить этот результат может каждый[10]. Нетрудно понять, почему это так. Теория не сообщает ничего нового о тех условиях, в которых конкретные предложения являются истинными, она не формулирует эти условия более отчетливо, чем само исходное

предложение. Применение теории состоит в том, что она соотносит известные условия истинности каждого предложения с теми аспектами («словами») этого предложения, которые, встречаясь в других предложениях, могут выполнять в них ту же роль, что и в данном предложении. Эмпирическая мощность такой теории зависит от успешности решения задачи, состоящей в создании структуры, которая моделирует необычайно сложную способность говорить на языке и понимать его. И поэтому совсем не трудно решить, согласуются ли результаты, получаемые при применении теории, с нашим пониманием языка, то есть с нашим языковым чутьем.

Замечания последнего абзаца непосредственно касаются только того случая, когда мы исходим из предположения, что истинностные значения являются частью использования и понимания языка. При таких условиях работа с теорией состоит в построении (в тех случаях, когда это возможно) для предложений объектного языка эквивалентных им выражений на метаязыке. Однако этот факт не должен приводить нас к мысли, что теория, с помощью которой можно вывести утверждение «Snow is white тогда и только тогда, когда снег бел», более правильна, чем теория, с помощью которой можно вывести утверждения другого рода, например *S*:

> (*S*) *Snow is white* is true if and only if grass is green.
> 'Снег бел истинно тогда и только тогда, когда трава зелена',

если, конечно, мы уверены в истинности *S* так же, как в истинности предшествующего утверждения. И все же теория, выводящая утверждения типа *S*, не внушает доверия в той степени, в какой его внушает наша теория, тип выводов которой позволяет называть ее теорией значения.

Наша минутная неуверенность в достоинствах этой семантической теории может быть рассеяна следующим образом. Гротескность утверждения *S* сама по себе не свидетельствует о непригодности теории, выводящей *S*, в том случае, если эта теория дает правильные результаты для всех предложе-

ний (полученные на основе их структуры, поскольку другого пути не существует). Не вполне ясно, каким образом эта теория будет выводить утверждения типа *S*, но пусть это так, и теория на основе предиката «быть истинным» умеет сопоставлять неким детерминированным образом истинные предложения с истинными, а ложные с ложными. В этом случае, как мне кажется, не остается ничего существенного в понятии значения, что бы не было описано нашей теорией[11].

Содержание правой части в предложениях с биусловной связкой типа «*s* истинно тогда и только тогда, когда *p*», если эти предложения являются следствиями теории истинности, играет определенную роль в определении значения s не с помощью каких-либо вымышленных синонимических средств, а с помощью добавления новых штрихов к общей картине, которая позволяет составить представление о значении *s*; с помощью этих новых штрихов можно сформулировать условие истинности: предложение, замещающее *p*, истинно тогда и только тогда, когда *s*.

Чтобы лучше это понять, заметим, что *S* приемлемо (если его вообще можно считать таковым) только потому, что предложения «Snow is white» и «Grass is green» истинны независимо друг от друга и одновременно. Если же мы возьмем случай, когда истинность одного предложения вызывает сомнения, тогда об истинности целого мы можем судить лишь на основе уверенности в истинности второго из них и в эквивалентности обоих предложений. Однако тот, кто испытывает сомнения относительно цвета снега или травы, извлечет немного пользы от *S*, даже если он в одинаковой степени сомневается в цвете того и другого; *S* может помочь только при предположении, что цвет снега и цвет травы взаимообусловлены[12]. Очевидно, что всезнание может породить более причудливые теории значения, чем незнание, но при всезнании отпадает и нужда в коммуникации.

Конечно, не исключено, что носитель одного языка построит теорию значения для носителя другого языка, хотя в этом случае эмпирическая проверка правильности теории перестает быть тривиальной задачей. Как и раньше, цель

теории будет состоять в исчислении бесконечной последовательности предложений, имеющих одинаковое истинностное значение. Однако на сей раз разработчик теории не может непосредственно ощутить эквивалентность предложений родного и неродного языка. Ему придется тем или иным способом выяснять истинность (или, скорее, степень истинности) предложений неродного языка, соответствующих истинным предложениям родного языка. В таком случае лингвист попытается сформулировать соглашение о соответствии между истинными (ложными) предложениями неродного языка и истинными (ложными) предложениями родного языка. Если сформулировать безукоризненное соглашение такого рода не удастся, возникнут ошибки двух типов: истинные предложения будут переведены ложными, а ложные — истинными. Доверие к интерпретации слов и мыслей собеседника необходимо и в другом отношении: подобно тому как мы должны стремиться к оптимизации соглашений, касающихся перевода, рискуя в противном случае неправильно понять значение того, что говорит иностранец, мы должны стремиться и к повышению собственной наблюдательности и логичности, рискуя в противном случае не понять *самого иностранца.* Единого принципа наибольшего доверия не существует, и потому разного рода ограничения не составляют целостной теории. В теории «радикального» перевода (название принадлежит Куайну) не проводится достаточно четко различие между высказываниями, произносимыми иностранцем, и его взглядами. Мы не можем судить о том, что человек хочет сказать, пока мы не знаем его взглядов, в то же время мы не можем судить, каковы взгляды человека, пока мы не знаем того, что он говорит. При радикальном переводе мы иногда можем вырваться из этого круга, поскольку в некоторых случаях известны сопутствующие соображения говорящего по поводу сказанного им предложения, которое мы не понимаем[13].

На нескольких последних страницах я рассматривал вопрос об эмпирической проверке теории значения, применяющей истинностные определения, полностью оставив без

внимания обсуждавшийся ранее вопрос о том, имеет ли такая теория какие-либо серьезные шансы для применения к естественному языку. Каковы же перспективы применения формальной теории значения к естественному языку? Согласно Тарскому, эти перспективы не являются обнадеживающими, и, я думаю, к этому мнению присоединится большинство логиков, специалистов в области философии языка и лингвистов[14]. Я попытаюсь опровергнуть подобную пессимистическую точку зрения. Естественно, я могу это сделать только в самом общем виде, тогда как собственно доказательством могло бы послужить только доказательство соответствующих теорем.

Тарский заключает первую часть своего классического труда о понятии истины в формализованных языках следующими словами, которые он выделил курсивом: «*... Сама возможность последовательного употребления выражения „истинное предложение", которое не находилось бы в противоречии с законами логики и духом повседневного языка, кажется весьма проблематичной, и соответственно те же сомнения вызывает и возможность построения правильного определения этого выражения*»[15].

Далее в той же книге он возвращается к этому вопросу.

«Понятие истины (подобно другим семантическим понятиям), будучи применено к разговорному языку в соответствии с нормальными законами логики, неизбежно ведет к путанице и противоречиям. Тому, кто, невзирая на все трудности, захотел бы исследовать семантику разговорного языка точными методами, нужно прежде всего предпринять неблагодарный труд по изменению этого языка. Ему необходимо определить структуру языка, разрешить неоднозначность слов, с которой он столкнется, и, наконец, преобразовать этот язык в серию все более широких языков, каждый из которых соотносится со следующим как формальный язык и его метаязык. Однако сомнительно, что наш обычный язык после подобной „рационализации" сохранит свою естественность, а не приобретет характерные черты формальных языков»[16].

Встают два вопроса: универсальный характер естественного языка ведет к противоречию (семантические парадоксы); естественный язык слишком запутан и аморфен для непосредственного применения формальных методов. Первый вопрос заслуживает серьезного ответа, и я был бы рад, если бы мог предложить такой ответ. Мне же остается только отметить, почему, по моему мнению, можно обойтись и без решения этого вызывающего беспокойство вопроса. Семантические парадоксы возникают, когда объектный язык определенным образом включает в себя слишком большое количество кванторов. Однако на самом деле не вполне ясно, насколько для урду или хинди правомерно утверждение, что кванторы этих языков недостаточны для эксплицитного определения понятий «истинно в урду» или «истинно в хинди». Иначе говоря (хотя в нашей формулировке и недостает серьезности), возможны случаи, когда мы ухватываем нечто (а именно концепт «истинно») при понимании языка, но не можем передать этого. В любом случае для большей части проблем общефилософского значения релевантен тот фрагмент естественного языка, который можно охарактеризовать как достаточно далекий от теоретической последовательности. Конечно, подобные соображения не согласуются с утверждением, что естественные языки универсальны. Однако сейчас, когда мы знаем, что универсальность ведет к парадоксам, это утверждение может показаться подозрительным.

Второй вопрос, поставленный Тарским, состоит в том, что, прежде чем применять к языку формальные семантические методы, следует произвести его реформу. Если это действительно так, то это наносит сокрушительный удар по моему проекту, поскольку задача предлагаемой мной теории значения состоит не в изменении, исправлении или реформе языка, а в его описании и понимании. Рассмотрим позитивную сторону вопроса. Тарский показал, каким образом следует строить теорию интерпретации формальных языков различных типов, причем один из этих языков построен на базе английского. Поскольку этот новый язык получил объяс-

нения на английском языке и содержит многие черты английского языка, мы не только можем, но, по-моему, и обязаны рассматривать этот формальный язык как подъязык английского. Для этого фрагмента английского у нас имеется *гипотетическая* теория требуемого вида. Но дело не сводится только к ней: при интерпретации предложенного «новоанглийского» языка средствами английского языка нам обязательно придется задавать соответствия между этими двумя языками. Каковы бы ни были английские предложения, имеющие те же условия истинности, что и некоторые предложения на «новоанглийском», мы можем расширить свою теорию таким образом, чтобы она их охватывала. Другими словами, большая часть моих соображений сводится к следующему: надо, насколько это возможно, формализовать осуществлявшуюся нами ранее достаточно кустарно формулировку истинностных условий с помощью той или иной канонической системы записи. Дело не в том, что запись в канонической форме лучше, чем исходный грубый идиоматичный способ выражения, а скорее в том, что, если мы знаем, какому идиоматичному выражению *соответствует* каноническая запись, наша теория может одновременно охватить и идиоматичные выражения, и канонические записи.

Философы уже давно затрачивают немало усилий на то, чтобы применять свои теории к обычному языку, подводя для этого предложения естественного языка под те образцы, к которым приложима та или иная теория. Весомый вклад Фреге состоит в том, что он показал, каким образом слова all «все», some «некоторые», every «каждый», each «каждый», none «ни один» и связанные с ними местоимения в некоторых из своих значений могут быть формализованы; тем самым впервые забрезжила мечта о формальной семантике для значительной части естественного языка. Мечта эта воплотилась в работе Тарского. Нельзя забывать, что в результате крупных достижений Фреге и Тарского мы получили возможность глубже проникнуть в структуру языка, знакомого всем с детства. Философы логического толка начали с занятий теми аспектами языка, которые описываются с помощью

теории, и исследуют все более сложные случаи. Современные лингвисты, имея своей целью нечто аналогичное, начали с исследования обычного языка и разрабатывают общую лингвистическую теорию. Если хотя бы одна из этих групп исследователей добьется успеха, то эти два направления сомкнутся. Недавние работы Хомского и других лингвистов продвигают многоплановое исследование естественного языка в направлении, которое делает его приемлемым объектом серьезной теории. Приведем пример: предположим, что нам удалось сформулировать условия истинности для некоторого важного подкласса предложений в активном залоге, тогда формальная процедура трансформации каждого предложения в активе в соответствующее ему предложение в пассиве позволяет проецировать истинностные значения, полученные с помощью семантической теории, на новый класс предложений[17].

Одна из проблем, затронутых Тарским в приведенной выше цитате, не препятствует или по крайней мере препятствует не во всех случаях разработке теории — это проблема существования в естественном языке «неоднозначных терминов». Если неоднозначность не затрагивает грамматическую форму и неоднозначное выражение объектного языка может быть переведено также с помощью неоднозначного выражения на метаязык, в истинностном определении не будет содержаться ничего ложного. Для систематической семантической теории не является помехой неточность или неоднозначность словосочетания «believes that», «верит, убежден, что»; пусть метаязыком в ней будет английский, и тогда все *подобные* словосочетания будут представлены в нем в том же виде, что и в объектном языке. Однако центральная проблема логической грамматики для «believes that» остается в силе.

Приведенный пример может служить иллюстрацией другого вопроса, также входящего в проблему описания предложений мнения; дело в том, что обсуждение таких предложений зашло в тупик из-за непонимания фундаментальной разницы между двумя задачами: несоответствие этих предложе-

ний логической форме, или грамматике (а логическая грамматика входит в теорию значения в моем понимании этой теории), и анализ отдельных слов или выражений (которые в рамках данной теории рассматриваются как исходные). Так, Карнап в первом издании работы «Значение и необходимость» предлагал трактовать предложение «John believes that the earth is round!», «Джон считает, что земля круглая», как «John responds affirmatively to „the earth is round" as an English sentence», «Джон отвечает утвердительно на вопрос о том, является ли „the earth is round" английским предложением». Карнап отказался от этого подхода, когда Мейтс указал ему, что Джон может отвечать утвердительно на вопрос, касающийся данного предложения, но отрицательно на вопрос, касающийся другого предложения, даже если два эти предложения тесно связаны по значению. Однако всем этим рассуждениям сначала и до конца сопутствует понятийная путаница. Согласно Карнапу, семантическая структура предложений мнения — это трехместное высказывание, актанты которого заполняют соответственно лицо, предложение и язык. А проблема анализа этого предиката является совершенно отдельной проблемой, связанной, быть может, с бихевиористской концепцией. Не последним достоинством теории истины в смысле Тарского является то, что ее метод разработан в соответствии с формулировкой проблемы самой по себе и свободен от ограничений, навязанных каким-либо философским направлением.

Как мне представляется, трудно переоценить те преимущества, которые получит философия языка от четкого разграничения вопроса логической формы, или грамматики, и вопроса анализа отдельных понятий. Убедиться в этом поможет другой пример.

Если предположить, что вопрос о логической грамматике решен, то предложения типа «Bardot is good», «Бардо хороша», не представляют особых трудностей с точки зрения определения их истинностного значения. Глубокое различие между описательными и оценочными (эмотивными, экспрессивными и т. п.) терминами здесь не проявляется. Даже если

мы предположим, что в некотором важном смысле оценочные предложения не обладают истинностным значением (потому что их нельзя проверить), нас все равно не должно пугать получаемое с помощью нашей теории утверждение «Bardot is good истинно тогда и только тогда, когда Бардо хороша»; в теории истинности этот вывод должен осуществляться в совокупности с наблюдениями (насколько они возможны) о том, каково место значения таких предложений в рамках структуры языка в целом, о том, каково их отношение к обобщениям, какова их роль в сложных предложениях типа «Bardot is good and Bardot is foolish», «Бардо хороша, и Бардо глупа», и т. д. Вопрос об особенностях оценочных слов вообще не затрагивается: тайна слова «good» просто переходит из объектного языка в метаязык.

Совсем другое дело — использование слова «good» в предложениях типа «Bardot is a good actress», «Бардо — хорошая актриса». Проблема состоит не в переводе этого предложения на метаязык, предположим, что такой перевод существует. Проблема заключается в формулировке определения истинности, следствиями которого явились бы предложения типа «Bardot is a good actress истинно тогда и только тогда, когда Бардо — хорошая актриса». Очевидно, что «good actress» не означает «быть хорошей и быть актрисой». Нам следует предположить, что «is a good actress» — это неанализируемое высказывание. Это заставит нас исследовать все связи между такими предикатами, как «is a good actress» и «is a good mother», «является хорошей матерью», и это не позволит нам считать слово «good» в подобных употреблениях словом или семантическим элементом. Но более того, это вообще не позволит нам сформулировать условия истинности, поскольку набор подобных предикатов, которые мы будем трактовать как логически простые, будет возрастать до бесконечности (и, следовательно, занимать позиции отдельных придаточных в определении необходимых и достаточных условий); ср.: «is a good companion to dogs», «является хорошим компаньоном для собак», «is a good 28-years old conversationalist», «является хорошим 28-летним болтуном», и т. п.

Эта проблема касается не только данного конкретного случая. она затрагивает вообще все прилагательные.

В соответствии с принятым нами подходом проведение философского анализа слов и выражений без предварительной или хотя бы одновременной попытки получения в явном виде логической грамматики является стратегической ошибкой. Действительно, каким образом можем мы удостовериться в правильности нашего анализа слов типа right «правильный», ought «следует», can «мочь» и obliged «вынужден» или словосочетаний, которые мы используем, говоря о действиях, событиях или причинах, если мы не знаем, какие именно (логические, семантические) части речи мы рассматриваем. Примерно то же самое можно сказать о «логике» этих и других слов, а также о предложениях, содержащих подобные слова. Не оказываются ли труд и искусство, вложенные в разработку деонтических, модальных, императивных и эротетических логик в значительной мере бесполезными до тех пор, пока мы не располагаем удовлетворительным семантическим анализом предложений, которые являются предметом рассмотрения этих логик. Философы и логики порой рассуждают так, как если бы они были свободны выбирать между, скажем, предложениями, задающими условия истинности, и другими условными предложениями или свободны вводить сентенциональные операторы, задающие неистинностные условия типа *Пусть, Предположим.* Однако на самом деле выбор того или иного варианта играет решающую роль. Выходя за пределы идиом, сводимых к условиям истинности, мы попадаем в область языка (или начинаем создавать язык), для которого у нас нет четких семантических средств, то есть отсутствуют способы описания того места, которое занимают подобные высказывания в рамках языка в целом.

Вернемся к нашей основной теме. Как уже указывалось, теория рассматриваемого типа не предлагает никаких новых решений в области семантики отдельных слов. Даже если метаязык отличается от объектного языка, применение теории не приводит к улучшению, уточнению или анализу от-

дельных слов (за исключением тех случаев, когда из-за особенностей словаря прямой перевод на метаязык оказывается невозможным). Подобно синонимии отдельных выражений, не интерпретируется и синонимия или анализируемость целых предложений. Даже такие предложения, как «A vixen is a female fox», «Лисица — самка лисы», не подвергаются анализу, если у нас нет особых причин для его проведения. Условия истинности не отграничивают аналитические предложения от всех прочих, за исключением таких предложений, истинность которых основывается исключительно на константах, что позволяет теории выявлять определенные структурные особенности: в таких случаях теория позволяет делать утверждения не только об истинности таких предложений, но и о сохранении истинности при всех обладающих значением перифразах логически несущественных частей этих предложений. Понятие логической истинности трактуется при таком подходе более узко, чем обычно принято, что отражается и на соотносимых с ним понятиях логической эквивалентности и логического следования. Трудно представить себе, что могло бы воспрепятствовать вложению логики в объектный язык в такой степени; при построении и проверке теории мы должны в тех пределах, в каких это возможно, использовать свою интуицию для определения логической истинности, эквивалентности и следования.

Сейчас я хочу обратиться еще к одной важной проблеме — к тому факту, что одно и то же предложение может в определенное время в определенных устах быть истинным, а в другое время в других устах — ложным. И логики, и критики формальных методов, как представляется, в значительной мере (хотя и не полностью) солидарны в том отношении, что формальная семантика и логика не способны справиться с теми трудностями, которые связаны с употреблением личных и указательных местоимений. Реакция логиков обычно заключается в ниспровержении естественного языка и попытках показать, каким образом можно обходиться без местоимений; реакция их критиков состоит в ниспровержении логи-

ки и формальной семантики. Ни один из этих подходов не вызывает у меня энтузиазма: очевидно, что отказ от местоимений невозможен без потерь и радикальных изменений в естественном языке, поэтому единственный выход — создание теории, учитывающей это языковое явление.

Мы не совершим логической ошибки, если просто будем считать личные и указательные местоимения константами[18]; не возникает сложностей и при задании для них в рамках нашей теории условий истинности: «„I am wise", „я мудр", истинно тогда и только тогда, когда я мудр», при этом полностью игнорируется соотношение личного местоимения «I» с именем *Сократ* в утверждении «Socrates is wise истинно тогда и только тогда, когда Сократ мудр», подобно тому как в рамках последнего предложения игнорируется показатель грамматического времени в глагольной форме «is wise».

При подобном подходе к указательным местоимениям сложность состоит не в определении предиката истинности, а в вероятностном характере требования об истинности определяемого. Дело в том, что это требование удовлетворяется только в случае, когда говорящий и условия произнесения предложения, входящего в определение, совпадают с говорящим и соответствующими условиями в самом определении истинности. Можно указать также на то, что понимание местоимений частично основывается на знании тех правил, с помощью которых в данных условиях производится референция; уподобление местоимений константам стирает эти различия. Как я полагаю, подобные сложности могут быть устранены только в результате глубокой ревизии теории истинности. Я попытаюсь предложить лишь схему того, как это может быть сделано, однако в данном случае именно такая схема и требуется, поскольку идея является технически тривиальной и сходна с идеями, выдвинутыми при анализе логики грамматического времени[19].

Истину можно считать не свойством предложений, а свойством произнесений (utterances) или речевых актов, рассматриваемых как упорядоченная тройка «предложение, время, говорящий»; самым простым подходом к истине является

такой, при котором истиной считается отношение между предложением, говорящим и временем. При таком подходе логическое утверждение сохраняет ту форму, которую оно и имело, однако только относительно тех наборов предложений, которые характеризуются одним и тем же временем и говорящим; дальнейшие логические соотношения между предложениями, произнесенными в разное время разными говорящими, могут быть сформулированы с помощью новых аксиом. Рассмотрение этих аксиом не входит в нашу задачу. Теория значения претерпевает тем самым упорядоченные, однако нисколько не запутывающие дело изменения: каждому предложению, содержащему местоимение, теория сопоставляет указания на условия истинности предложения при изменении времени и говорящего. Таким образом, теория будет давать логические следствия подобного вида:

> «„I am tired", „я устал", истинно, будучи (потенциально) произнесено лицом p во время t тогда и только тогда, когда p является усталым в t».
> «„That book was stolen", „Книга была украдена", истинно, будучи (потенциально) произнесено лицом p во время t тогда и только тогда, когда книга, на которую указывает p во время t, была украдена раньше t [20].

Очевидно, что при подобном подходе не указывается, каким образом можно избавляться от местоимений; так, мы не утверждаем, что словосочетание «the book demonstrated by the speaker», «книга, на которую указывает говорящий», при любых обстоятельствах можно подставлять вместо словосочетания «that book», «та книга». Тот факт, что местоимения поддаются формальному анализу, должен существенно усилить оптимизм относительно возможности серьезного семантического анализа естественного языка, поскольку, вероятно, многие традиционные трудности, такие как анализ цитат или предложений, говорящих о пропозициональных установках, могут быть решены, если рассматривать подобные случаи как содержащие скрытую местоименность.

Сейчас, когда мы соотнесли истину со временем и носи-

телем языка, настала пора вернуться к проблеме эмпирической проверки семантической теории для неродного языка. Напомним, что суть предлагаемого метода состоит в сопоставлении пар предложений двух языков, предполагаемых истинными, посредством истинностных определений с поправкой на допустимость ошибки. Сейчас эта процедура приобретает более четкий вид в результате дополнения о том, что предложения являются (и считаются) истинными только при их соотношении с говорящим и временем. Тем самым задача состоит в переводе каждого предложения с помощью такого предложения, которое истинно для одного и того же говорящего в одно и то же время. Предложения, содержащие местоимения, очевидным образом относятся к наиболее тонким способам проверки правильности теории значения и являют собой наиболее непосредственный способ связи между языком и объектами реального мира, попадающими в сферу человеческого интереса и внимания[21].

В своей статье я предполагаю, что носители языка могут успешно определить значение или значения произвольного выражения на естественном языке (если у этого выражения есть значение) и что главная задача теории значения состоит в том, чтобы показать, каким образом это делается. Я утверждаю, что задание истинностного предиката описывает требуемый тип структуры и дает четкий и проверяемый критерий адекватной семантической теории естественного языка. Без сомнения, существуют и другие разумные требования, которые можно предъявить к теории значения. Однако теория, которая способна только на определение истинности в рамках данного языка, подходит гораздо ближе к завершенной теории значения, чем превосходящий по тонкости анализ, несоотносимый с проблемой истинности, — по крайней мере таково мое убеждение.

Поскольку, как мне кажется, предлагаемый подход не имеет альтернатив, я придерживаюсь оптимистической и прагматической точки зрения на возможность формального задания истинностного предиката для естественного языка. Однако нельзя забывать и о многочисленных вопросах, все

еще требующих разрешения. Перечислим некоторые из них. Нам неизвестна логическая форма контрфактических, или условных, предложений, равно как и логическая форма предложений, выражающих возможности и причинно-следственные отношения; у нас нет четкого представления о логической роли наречий и прилагательных; отсутствует теория неисчисляемых существительных типа fire «огонь», water «вода» или snow «снег», предложений, выражающих предположение, восприятие и намерение, а также глаголов, обозначающих целенаправленные действия. Наконец, существуют предложения, которые, по-видимому, вообще не имеют истинностного значения: это повелительные, оптативные, вопросительные предложения и т. п. Адекватная теория значения для естественного языка должна успешно решать все эти вопросы[22].

3. ИСТИННО ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАКТАМ

Истинное высказывание — это высказывание, истинное по отношению к фактам. Это замечание вроде бы говорит об истине столь же очевидную и мудрую вещь, что и замечание по поводу материнства: мать — это женщина, которая является чей-то матерью. Свойство быть матерью объясняется *отношением*, существующим между матерью и ее ребенком; точно также предполагается, что свойство быть истинным объясняется отношением между высказыванием и чем-то еще. Безотносительно к вопросу о том, что собой могло бы представлять это «что-то еще», равно как и безотносительно к вопросу о том, какое слово или фраза лучше всего выражает это отношение (быть истинным по отношению к чему-либо, соответствовать чему-либо, отображать), я считаю себя вправе называть любую подобную точку зрения *корреспондентной теорией* истины.

Корреспондентные теории опираются на идею, которая кажется чем-то само собой разумеющимся, если не более того, однако исследование показывает, что с подобного рода теориями не все ладно. Самое сложное заключается в том, чтобы найти такое понятие факта, которое бы все объясняло и которое, подвергнувшись объяснению, не становилось бы тривиальным или бессодержательным. Поэтому современные дискуссии либо связаны с решением вопроса о том, является ли какая-либо форма соответствия истинной и тривиальной («...теория истины — это ряд трюизмов»), либо же, если не запутывать дело, попросту бессодержательной («Корреспондентная теория нуждается не в очищении, а в устранении»)[1]. Те же, кто обсуждал семантическое понятие истины в связи с корреспондентными теориями, обычно приходили к заключению, что семантическое понятие истины является либо не относящимся к делу, либо тривиальным.

В этой статье я защищаю разновидность корреспондентной теории. Я полагаю, что истину можно объяснить при помощи ссылки на отношение между языком и миром и что рассмотрение этого отношения даст нам понять, как мы, произнося предложения, время от времени говорим что-то истинное. Семантическое понятие истины, впервые систематически изложенное Тарским, будет играть ключевую роль в этой защите[2].

Можно было бы доказать, что любая теория или определение истины, соответствующее правдоподобным стандартам, с необходимостью содержит концептуальные средства, требующиеся для того, чтобы определить смысл соответствия. Мой проект менее амбициозен: я буду удовлетворен, если смогу отыскать какую-то естественную интерпретацию отношения соответствия, которая поможет объяснить понятие «истина». Само собой понятно, что успех этой попытки вполне мог бы сочетаться с признанием существования формулы, позволяющей устранить фразы типа «истинно, что» и «истинно» из большинства, если только не из всех, контекстов; корреспондентные теории и теории избыточности истины вовсе не обязательно должны находиться в конфликте друг с другом. Тем не менее, мы могли бы отыскать определенные указания по поводу соответствия, задавшись вопросом о том, насколько удачным может быть наше стремление заменить предложения, содержащие упоминания об истине, предложениями, подобных слов или фраз не содержащими.

Предложение:

> (1) Высказывание, что французский язык является государственным языком на острове Маврикий, является истинным.

материально эквивалентно высказыванию «Французский язык является государственным языком на острове Маврикий»; то же самое можно сказать по поводу любой другой пары предложений, связанных сходным образом. Это наводит на мысль, что слова, окружающие в предложении (1)

фразу «французский язык является государственным языком на острове Маврикий», представляют собой истинностную функцию тождества, равносильную операции двойного отрицания, но которая при этом выражена неявно. Согласно этому предположению, только недостаткам грамматики мы обязаны тем, что предложение (1) состоит из сложного единичного термина и предиката.

Проблема с теорией истины, основанной на двойном отрицании, заключается в том, что она применима лишь к тем предложениям, которые включают в себя другие предложения, наподобие (1) или же «Истинно, что 2 + 2 = 5». Сама по себе эта теория не может справиться с предложениями вроде

(2) Теорема Пифагора истинна.
(3) Ничто из сказанного Аристотелем не является истинным.

Мы можем предположить, что теория истины как двойного отрицания применима к предложениям типа (1), тогда как случаи типа (2) и (3) требуют отдельного рассмотрения. Однако же предположение, будто бы слова «является истинным» имеют разные значения в этих различных случаях, выглядит весьма неправдоподобным, тем более, если принять во внимание существование простых умозаключений, связывающих предложения этих двух типов. Например, из предложения (2) и предложения «В теореме Пифагора утверждается, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» мы можем вывести предложение «Высказывание, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, истинно».

Хочется думать, что теория двойного отрицания может быть каким-то образом распространена на предложения типа (2) и (3). Соответствующее рассуждение могло бы выглядеть следующим образом: теория двойного отрицания утверждает, что для каждого высказывания существует предложение, которое выражает его. Но в таком случае предложение (2) имеет силу лишь постольку, поскольку существует истинное предложение, выражающее теорему Пифагора, а предложе-

ние (3) имеет силу постольку, поскольку ни одно истинное предложение не выражает ничего, что было сказано Аристотелем. Кажущаяся необходимость использовать в этом объяснении слово «истинно» оказывается совершенно безобидной, если перефразировать предложения (2) и (3) следующим образом:

(2') (p) (высказывание, что = теорема Пифагора > p)
(3') ~ ($\exists p$) (Аристотель сказал, что p ? p)

Сейчас, благодаря принятию онтологии высказываний и введению квантификации для предложений, мы все более отдаляемся от простой теории двойного отрицания. Не то чтобы переменные в предложениях (2') и (3') охватывали область высказываний, к высказываниям относятся скорее выражения, находящиеся по обе стороны знака тождества в предложении (2'). В теории двойного отрицания предполагаемая референция к высказываниям и предполагаемая предикация истины были поглощены грамматически сложным, но логически простым выражением, истинностно-функциональной сентенциальной связкой. Напротив, нынешняя теория позволяет нам считать выражение «является истинным» подлинным предикатом. Она предлагает принцип, а именно

(4) (p) (высказывание, что p истинно — p)

благодаря которому выводятся предложения, не содержащие предиката «является истинным», но логически эквивалентные предложениям, этот предикат содержащим. Здесь от истины не отделываются как от чего-то, что может быть предицировано высказываниям, но объясняют ее.

Объясняют, но только в том случае, если мы понимаем предложения (2'), (3') и (4). Но действительно ли мы понимаем эти предложения? Затруднение возникает из-за переменных. Поскольку переменные замещают предложения как тогда, когда они ставятся после фраз типа «Аристотель сказал, что», так и в истинностно-функциональных контекстах, то область значений переменных должны составлять объек-

ты, благодаря которым предложения могли бы считаться выполняющими функцию именования при обоих способах употребления. Однако как показал Фреге, имеются достаточно убедительные соображения для предположения о том, что если предложения, располагаясь или отдельно, или в истинностно-функциональных контекстах, именуют что-либо, то все истинные предложения именуют одну и ту же вещь[3]. Это заставило бы нас сделать вывод, что высказывание, что *p* тождественно высказыванию, что *q*, если и только если *p* и *q*, оба являются истинными; однако, по всей видимости, такой результат неприемлем

В коротком и часто цитируемом отрывке Ф. П. Рамсей развивает теорию, сходную, если не вообще тождественную той, о которой только что шла речь. Он указывает, что предложения типа (2'), (3') и (4) не могут в английском языке убедить кого-либо, если только в конце их не стоит предложение «является истинным». В этом ему видится причуда или даже недостаток английского языка (мы добавляем «является истинным», поскольку забываем о том, что «*p*» уже содержит «переменный» глагол). Затем Рамсей говорит:

«Это обстоятельство можно сделать более ясным, предположив на время, что речь идет только об одной форме пропозиций, а именно о пропозиции, выражающей отношения, формы *aRb*, тогда „Он всегда прав" могло бы быть выражено так: „Для любого *a*, *R*, *b*, если он утверждает *aRb*, то *aRb*", по отношению к которому выражение „является истинным" — это явно излишнее дополнение. Если мы принимаем во внимание все формы пропозиций, анализ усложняется, но в принципе он остается тем же самым»[4].

Я полагаю, что нам следует принять допущение, что переменные «*a*» и «*b*» охватывают индивидов определенного рода, а «*R*» — двухместные отношения. Так что предложенный Рамсеем вариант предложения «Он всегда прав» более полно можно было бы сформулировать следующим образом: «Для любого *a*, *R*, *b*, если он утверждает, что *a* находится в отношении *R* к *b*, то *a* находится в отношении *R* к *b*». Само собою понятно, что если будут учтены «все формы пропози-

ций», то анализ станет рекурсивным по своему характеру, поскольку формы пропозиций отражают (логические) формы предложений, а таковых имеется бесконечное множество. Поэтому нет никаких оснований для предположения, что анализ Рамсея мог бы быть выполнен способом, принципиально отличным от предложенного Тарским метода определения истины. Метод Тарского вводит, однако же, — и я буду настаивать на этом, — что-то вроде понятия истины как соответствия, а именно это понятие истины, судя по всему, пытались отбросить рассмотренные нами теории. Парадокс также мог бы стать проблемой для рекурсивного проекта Рамсея. В то время как теория, основанная на принципе (4), всегда в состоянии в качестве своего оправдания неформально сослаться на то, что термин формы «высказывание, что *p*» не способен выполнить функцию именования при замене «*p*» причиняющим затруднения предложением, теория, которая систематически перебирает предложения языка, будет нуждаться в более механическом средстве, позволяющем избегнуть противоречия. Интересно, в чем же будет состоять суть утверждения Рамсея, что «на самом деле не существует отдельной проблемы истины» после того, как все процедуры анализа будут завершены?

Я не слова не сказал о тех целях, ради достижения которых в (нефилософском) разговоре употребляются предложения, содержащие выражение «истинно» и родственные ему. Вне всякого сомнения, идея, что замечания, содержащие слово «истинно», обычно используются для того, чтобы выразить согласие, подчеркнуть свою уверенность, избежать повтора или же переложить на кого-то ответственность, нашла бы себе поддержку, если можно было бы показать, что слова типа «истинно» всегда можно было бы удалить при помощи простой формулы без когнитивных потерь. Тем не менее, я все-таки стал бы придерживаться мнения, что теории относительно экстралингвистических целей, для достижения которых используются предложения, логически независимы от вопроса о том, что эти предложения означают; а именно эта последняя проблема меня и интересует.

Нам не удалось найти удовлетворительную теорию, поддерживающую тезис, согласно которому приписывание истины высказываниям является излишним, но даже если бы удалось показать, что такого рода теория невозможна, этого было бы недостаточно для упрочения корреспондентной теории. Поэтому давайте рассмотрим более подробно перспективы, позволяющие объяснить истину в терминах соответствия.

Обычно говорится, что именно соответствие фактам делает высказывания истинными. Поэтому вполне естественно обратиться за поддержкой к разговору о фактах. Однако не слишком много можно узнать из предложений типа

(5) Высказывание, что Тика находится в Кении, истинно

или же из таких его вариантов, как «Это факт, что Тика находится в Кении», «То, что Тика находится в Кении, — это факт», и «Тика находится в Кении, и это факт». Вне зависимости от того, принимаем мы точку зрения, что соответствие фактам объясняет истину, или же нет, предложение (5) и родственные ему сообщают только то, что «Высказывание, что Тика находится в Кении, истинно» (или «Истинно, что ...» или «... , и это истинно» и т. д.). Если предложение (5) вызывает особый интерес, то это потому, что мы способны дать такое объяснение фактам и соответствию, которое не попадает в порочный круг, приводя обратно к истине. Такое объяснение заставило бы нас иметь дело с предложениями следующей формы:

(6) Высказывание, что p соответствует факту, что q.

Путь к истине будет прост: высказывание истинно, если имеется факт, который ему соответствует. [(5) можно переписать следующим образом: «Высказывание, что Тика находится в Кении, соответствует факту»].

В каких случаях предложение (6) имеет силу? Конечно же, тогда, когда «p» и «q» заменяются одним и тем же предложением. После этого начинаются трудности. Высказывание,

что Неаполь располагается значительно севернее Красного утеса, соответствует тому факту, что Неаполь располагается значительно севернее Красного утеса; однако оно, по всей видимости, соответствует также еще и тому факту, что Красный утес располагается значительно южнее Неаполя (возможно, что это — один и тот же факт). Оно также соответствует тому факту, что Красный утес располагается значительно южнее, чем крупнейший итальянский город, в пределах трехсот миль от Ишиа. Когда мы начинаем осознавать, что Неаполь — это город, который удовлетворяет следующему описанию: крупнейший город в пределах трехсот миль от Ишиа, и причем такой, что Лондон находится в Англии, мы начинаем осознавать, что если высказывание соответствует одному факту, то оно соответствует всем фактам. (Выражение «соответствует *фактам*» может в конечном счете оказаться правильным). Используя принципы, выраженные в наших примерах неявным образом, нетрудно подтвердить терзающие нас подозрения. Принципы эти заключаются в следующем: если высказывание соответствует факту, описываемому выражением формы «тот факт, что *p*», то оно соответствует факту, описываемому выражением формы «тот факт, что *q*», при условии, что (1) предложения, которые заменяют «*p*» и «*q*», либо логически эквивалентны, либо (2) «*p*» отличается от «*q*» только тем, что единичный термин был заменен в нем на тождественный по объему единичный термин. Аргумент, подтверждающий это соображение, заключается в следующем. Пусть «*s*» — это символическое обозначение некоторого истинного предложения. Тогда само собой понятно, что высказывание, что *s* соответствует факту, что *s*. Мы, однако же, можем заменить второе *s* его логическим эквивалентом «(*x* такой, что *x* тождественен Диогену и *s*) тождественно (*x* такой, что *x* тождественен Диогену)». Применяя принцип замены тождественных по объему единичных терминов, мы можем в последнем из цитированных нами предложений заменить «*s*» на «*t*», предполагая при этом, что «*t*» является истинным. Наконец, возвращаясь к нашему первому шагу, мы делаем заключение, что *s* соответ-

ствует тому факту, что *t*, причем «*s*» и «*t*» — это два любые истинные предложения[5].

Коль скоро не было предложено иного способа различения фактов помимо принципа соответствия, а этот тест не в состоянии раскрыть ни единого различия, мы вправе утверждать, что наш аргумент указывает на существование одного-единственного факта. Дескрипции типа «тот факт, что в Непале существуют ступы», если они вообще выполняют функцию описания, описывают одну и ту же вещь: Великий Факт. Нет никакой возможности провести различия между различными именами Великого Факта, когда они стоят после выражения «соответствует»; мы вполне могли бы удовольствоваться одной фразой «соответствует Великому Факту». Этот неизменный предикат приводит к разбуханию онтологии, однако, его невозможно передать иначе, нежели посредством выражения «является истинным».

Ведущий к этому заключению аргумент может быть блокирован отказом от лежащих в его основании предпосылок. Можно со всей определенностью представить себе конструирование фактов способами, возможно, отражающими некоторые наши интуиции относительно данной проблемы и не ведущими к онтологическому коллапсу. Однако с точки зрения теории истины все конструкции такого типа обречены на столкновение со следующей трудностью. Предположим, что, покидая огонь экстенсиональности и попадая в полымя интенсиональности, мы определяем факты настолько же точно, как и высказывания. Конечно, только истинные высказывания обладают соответствующими им фактами. Но тогда, пока мы не обнаружим иной способ выборки фактов, мы не можем надеяться на объяснение истины с их помощью[6].

В рассмотренных нами контекстах рассуждения об истине сводятся к процедуре предикации; это можно назвать *теорией избыточности* (redundancy theory) фактов. С другой стороны, не так-то просто доказать возможность отказа предикации истинности. Если это не поддерживает теории избыточности истины, то и не ободряет корреспондентные теории.

Мне кажется, что есть относительно простое объяснение нашему чувству разочарования: мы до сих пор не рассмотрели язык. Истинность или ложность высказываний определяют составляющие их слова, и именно слова обладают интересными, детальными, конвенциональными связями с миром. Таким образом, любая серьезная теория истины должна иметь дело с этими связями, и именно здесь понятие соответствия может найти себе применение. Мы ограничили себя способами определения предложений, не упоминающими в явном виде о словах. Следовательно, «Высказывание Джона, что кошка на рогожке» безвозвратно удаляет референцию к элементам языка Джона. Эти элементы могли бы поддержать нетривиальную теорию истины, равно как, в целом, и идиому вида «высказывание, что *p*».

Дискуссии по поводу истины могли избежать лингвистического поворота в силу очевидности того, что истина не может быть закреплена за предложениями; однако, если это было мотивом, то сам по себе он неясен. Предложения не могут быть истинными или ложными, потому как в противном случае мы должны были бы говорить, что «Je suis Titania» истинно (будучи произнесено или пропето Титанией), ложно (будучи произнесено кем-то еще), и ни тем, ни другим (будучи высказанным субъектом, не знающим французского языка). Этот известный пример показывает не то, что мы должны прекратить говорить одновременно об истине и предложениях, но то, что мы должны говорить также и о времени произнесения предложения, и о произнесшем его. Истина (в данном естественном языке) не является свойством предложений, она является отношением между предложениями, носителями языка и временем. Эта точка зрения означает не поворот от языка к безмолвным вечным сущностям вроде пропозиций, высказываний и суждений, но обозначение связи языка с событиями истины (occasions of truth) для облегчения построения теории.

Последние два абзаца могут навести на мысль о том, что если мы хотим построить работающую теорию истины, мы должны отбросить взгляд, согласно которому предложения

являются носителями истины. Но это не так. Если я прав, теории истины должны характеризовать или определять трехместный предикат «Т *s*, *u*, *t*». Для теории не имеет значения, читаем ли мы этот предикат как «предложение *s* истинно (как предложение английского языка) для носителя языка *u* во время *t*» или «высказывание, выраженное предложением *s* (как высказывание английского языка) для носителя языка *u* во время *t* — истинно». Те, кто верит, что мы должны в силу каких-либо дополнительных причин считать предложения носителями истины, найдут вторую формулировку с ее составным единичным термином («предложение...») и одноместным предикатом («истинно») более ясной. Однако, те, кто (вместе со мной) считают, что мы можем обойтись и без предложений, могут предпочесть первую формулировку как более аскетичную. Каждая сторона может утверждать все, что ей угодно; различия проясняются только тогда, когда эти утверждения рассматриваются в свете всеобъемлющей теории. На мой взгляд, вопрос о том, требуется ли для этой теории онтология высказываний, в рамках настоящего обсуждения не является решенным.

Существуют веские основания против предицирования истинности предложениям, но эти причины не включают в себя речевые акты, произнесения или маркеры. Неоднократно доказывалось, и вполне убедительно, что мы не можем называть (в общем случае и, возможно, вообще никогда) речевые акты, процесс высказывания или маркеры истинными[7]. Но это вряд ли показывает, что мы не *должны* называть эти объекты (если они существуют) истинными. Не будет путаницей, если мы назовем отдельное произнесение предложения истинным, когда оно используется в данном случае для произведения истинного высказывания; то же самое можно сказать о маркерах и речевых актах. Согласно Стросону, «Моим высказыванием» может быть как то, что я говорю, так и сам мой речевой акт. Мой речевой акт является, со всей определенностью, эпизодом. То, что я говорю, — нет. Мы называем истинным последнее, а не первое[8].

Я не уверен, является ли высказывание речевым актом, но

в любом случае мы можем принять заключение о том, что речевые акты не называют истинными. Что же из этого следует? Абсолютно точно не то, что мы не можем объяснить произведение истинного высказывания в терминах конвенциональных отношений между словами и вещами, устанавливающимися, когда слова используются отдельными субъектами в отдельных случаях. Хотя «мое высказывание» может не относиться, по крайней мере, тогда, когда рассматривается истина, к речевому акту, оно, тем не менее, может успешно идентифицировать свое высказывание только отнесением его к речевому акту. (Что же делает его «моим высказыванием»?)

Если носитель английского языка произносит высказывание «Солнце над нок-реей», то в каких условиях он производит высказывание, что солнце над нок-реей? Одно из множеств возможных ответов может включать в себя такие условия, как его вера в то, что солнце над нок-реей, и то, что он уполномочен по своему статусу получать информацию о положении солнца и т. д. В рамках подобных размышлений можно утверждать: если произнесший это предложение не знал, где находится солнце, а просто хотел дать знать, что настало время выпить, то он *не* производил высказывание, что солнце над нок-реей. Однако есть также смысл производства высказывания, в котором мы скажем, даже в условиях вышеуказанного вида, что человек произвел («буквально») высказывание, что солнце над нок-реей. То, что он сказал, было («буквально») истинно, так как солнце было над нок-реей в то время, когда он сказал это, даже если у него не было причин так считать, и он даже не задумывался, истинно ли это. В случаях, подобных этому, нас интересует не то, что имел в виду субъект, произнося предложение, а то, что значило, будучи произнесенным, предложение. Оба эти понятия значения релятивны по отношению к обстоятельствам практической реализации, но во втором случае мы отвлекаемся от экстралингвистических интенций говорящего. Коммуникация при помощи языка — это коммуникация при помощи буквального значения слов, поэтому, если существуют

другие, то произведение высказывания должно иметь смысл. Теория истины имеет дело с буквальным смыслом. (Конечно, этот вопрос требует более широкого обсуждения.)

Следовательно, при сведении к буквальному смыслу, некто, говорящий на английском языке, произведет истинное высказывание, произнося предложение «Сегодня вторник», если и только если в месте, где он находится, вторник — день, когда он это говорит. Этот пример требует обобщения: каждый пример из нижеприведенной схемы будет истинен относительно истины, когда «*s*» заменяется дескрипцией предложения английского языка, а «*p*» заменяется предложением, задающим условия, при которых описываемое предложение истинно:

> (7) Предложение *s* истинно (как предложение английского языка) для произнесшего его *u* во время *t* если и только если *p*[9].

(По-видимому, его можно заменить на альтернативную схему, приписывающую истину высказываниям.) Даже если мы ограничим дескрипции, заменяющие «*s*», некоторым единообразным синтаксическим словарем, мы все еще можем допустить, что для каждого предложения английского языка существует соответствующее ему истинное предложение формы (7). Все предложения такого типа определяют единственным способом объем трехместного предиката (7) (релятивизированного истинностного предиката). Мы, как кажется, подступаем к владениям теории истины; но мы все еще не видим ничего подобного соответствию. Однако причиной этому может быть то, что мы находимся *все еще* на краю теории. Схема (7) показывает нам, что должна содержать в себе теория истины, но сама она не является такой теорией и не несет в себе способа построения теории. Эта схема играет ту же роль для английского языка, что и схожая схема в конвенции Т Тарского — для искусственного языка[10]. Она является тестом на адекватность теории истины: в приемлемой теории можно строить истинное предложение формы (7) безотносительно к тому, какое предложение английско-

го языка описывается каноническим выражением, заменяющим «*s*».

Схеме (7) недостает элегантности схемы из работы Тарского. Не занимаясь языками, содержащими указательные элементы, Тарский мог использовать следующую простую формулу: «*s* истинно (в L) если и только если *p*», где предложение, подставляемое на место «*p*» является предложением, описываемым выражением, заменяющим «*s*», если объектный язык содержится в метаязыке. В противном случае оно переводит это предложение буквально. Но нам не подходит эта простая формула; в случае, если имеются указательные термины (указательные местоимения, глаголы времени), то предложение, заменяющее «*p*», не может быть тем, которое именует «*s*» или его переводом, как свидетельствует пример в первом предложении предыдущего абзаца. Выражение предложения (7) в чисто синтаксических терминах может быть приемлемо, нет никаких оснований сбрасывать со счетов такой шаг. Предложение, заменяющее «*p*», просто должно быть корректно связано с предложением, описанным предложением, подставляемым на место «*s*» в рамках правил употребления указательных терминов английского языка.

Если указательные предложения английского языка содержат конечное число элементарных предложений и истинностно-функциональных образований из них, то будет проще задать рекурсивное определение истины, приводя в соответствие каждому элементарному предложению предложение формы (7), и задавая правило для каждой сентенциальной связки. Но такая стратегия бесполезна, если мы позволяем использование предикатов произвольной сложности, построенных при помощи переменных и связок, наподобие операции квантификации и сложных единичных терминов. Только на этом этапе теория истины становится интересной. Давайте сосредоточимся на структуре квантификации, а не на единичных терминах. Мы сделаем так не только потому, что единичными терминами можно пренебречь (это можно доказать), но и для простоты пояснения нашей точки зрения. Проблемой, представляемой структурой квантифика-

ции для рекурсивной теории истины является, конечно, то, что, несмотря на возможность построения предложений любой заданной конечной длины из небольшого количества переменных, связок, предикатов и кванторов, ни одна часть такого предложения не может быть в свою очередь предложением. Следовательно, истинность сложного предложения не может быть объяснена в терминах истинности его частей.

Тарский раскрыл для нас содержание этой проблемы и предоставил свое гениальное решение. Решение заключается в выявлении отношения, называемого *выполнимостью*, а затем определении истины с его помощью. Выполнимые объекты (the entities that are satisfied) являются одновременно открытыми и закрытыми предложениями, эти объекты (satisfiers) являются функциями, отображающими переменные объектного языка на объекты в пределах своей области определения, а в случае английского языка она охватывает практически все[11]. Функция выполнима на неструктурированном n-местном высказывании с n переменных, если предикат *истинен по отношению* к тем объектам, которые она упорядочивает, причем эти объекты присваиваются в качестве значений переменным. Так, если «x любит y» является открытым предложением простейшего вида, то функция f выполняется на нем только в случае, когда объект, который f в качестве значения присваивает «x», любит объект, который f в качестве значения присваивает «y». В свою очередь, рекурсивное определение выполнимости должно обрабатывать каждый простой предикат. Оно работает со связками таким очевидным способом: конъюнкция двух предложений s и t (открытых либо закрытых) выполняется f, если f выполняет s и f выполняет t. Введение квантора всеобщности в открытое предложение s по отношению к переменной v выполняется f, если f, как и любая другая функция, подобная f, за исключением той, которую она задает для v, выполняется для s. (Предыдущее предложение использует «существование» вместо «всеобщности» и «некоторые» вместо «все».) Выполняется или нет отдельная функция по отношению к предложению, зависит только от того, какие объекты приписыва-

ются ею в качестве значений свободным переменным предложения. Поэтому, если в предложении нет свободных переменных — если оно закрытое, или предложение в буквальном смысле — тогда по отношению к нему должна выполняться либо любая функция, либо ни одна. Также, как стало ясно благодаря рекурсии, такие закрытые предложения, для которых выполняются все функции, являются истинными, если ни одной — ложными. (Я предполагаю, что выполнимость, как и истина, релятивизирована по модели (7).)

Семантическое понятие истины, разработанное Тарским, заслуживает названия корреспондентной теории в силу той роли, которую играет в нем понятие выполнимости. Им было ясно показано, что свойство быть истинным объясняется (нетривиальным образом) в терминах отношения между языком и чем-то еще. Нужно допустить, что это отношение, то есть выполнимость, не является именно тем интуитивным понятием, которое мы ожидали встретить в понятии соответствия; функции или последовательности выполнимости также не слишком похожи на факты. Отчасти это противоречие обязано своим возникновением специфическому свойству переменных: просто потому, что они не отсылают ни к одному отдельному индивиду, выполнимость должна иметь дело с произвольным присвоением переменным значений — объектов. Если мы вместо этого рассмотрим имена собственные, то выполняющиеся объекты (satisfiers) будут более похожи на обычные объекты, использующиеся в нашей речи — на упорядоченные наборы из n элементов. Так, «Долорес любит Дагмар» будет выполняться Долорес и Дагмар (именно в таком порядке), при условии, что Долорес любит Дагмар. Я полагаю, что Долорес и Дагмар (в таком порядке) вообще не является фактом — факт, верифицирующий «Долорес любит Дагмар» должен неким образом включать в себя любовь. Это «неким образом» всегда было дамокловым мечом, висящим над теориями, основывающимися на фактах. Поэтому мы указываем не на то, что «s выполнимо всеми функциями» означает то же, что и «s соответствует фактам», а на нечто общее для двух фраз: обе предназначе-

ны для выражения отношения между языком и миром, и обе эквивалентны «*s* является истинным», когда *s* — закрытое предложение.

Корреспондентные теории, использующие понятия выполнимости и соответствия фактам, удается сравнивать между собой наилучшим образом в случае с предложениями без свободных переменных. Аналогия даже расширяется, если мы принимаем доводы Фреге об объемах предложений и продолжаем его аргументацию до заключения, что истинные предложения нельзя отделить от того, чему они соответствуют (фактам, Великому Факту) или выполняются (всеми функциями, предложениями). Однако при всем сходстве, стратегия Тарского может выдать конечные результаты, а стратегия, основанная на фактах, — нет. Это происходит потому, что выполнимость закрытых предложений объясняется в терминах выполнимости предложений одновременно и открытых, и закрытых, несмотря на традицию, согласно которой только закрытым предложениям соответствуют факты. Ввиду того, что различные объекты, присваивающиеся переменным в качестве значений, выполняются для различных открытых предложений, и ввиду того, что закрытые предложения конструируются из открытых, при использовании семантического подхода истина достигается различными способами для отличающихся друг от друга предложений. Все истинные предложения приходят в одно и то же место, но разные истории рассказывают о том, как они туда добираются; семантическая теория истины рассказывает историю об отдельном предложении, прибегая к оценке с точки зрения рекурсии процедуры выполнимости по отношению к предложению. Эта история приводит доказательство теоремы в виде примера — схемы (7).

Стратегия, использующая факты, не предоставляет нам такого же разнообразия методов, которое можно было бы использовать в качестве руководства. Так как все истинные предложения обладают одним и тем же отношением к фактам, объяснение истинности предложения на основании его связей с другими (закрытыми) предложениями должно, если

оно связано с фактами, начинаться там же, где оно и заканчивается.

Рассмотренные в долгосрочной перспективе неудачи корреспондентных теорий истины, основанных на понятии факта, происходят из одного источника — из стремления к включению в объект, которому соответствует истинное предложение, не только объекты, «о которых говорит» предложение (еще одна проблематичная идея), но также и то, что предложение говорит о них. Одним достаточно подробно изученным следствием этого является трудность описания факта, верифицирующего предложение, не используя само это предложение. Другим следствием является то, что отношение соответствия (или «изображения»), по-видимому, может применяться непосредственно только к простейшим предложениям («Долорес любит Дагмар»). Это побуждает теоретиков, опирающихся на факты, объяснять истинность всех предложений в терминах истинности простейшего из них и, в частности, интерпретировать квантификацию как просто сокращенную запись конъюнкций или дизъюнкций (возможно, бесконечных) простейших предложений. Комизм этой ситуации заключается в том, что, пока мы рассматриваем квантификацию в этом свете, нет особой нужды в чем-то наподобие соответствия. Мы понимаем выгоды использования утонченной корреспондентной теории только будучи вынужденными принимать нередуцируемую всеобщность в качестве необходимого дополнения к концептуальным ресурсам предикации и составлению предложений. Основанная на понятии выполнимости теория истины имеет такое большое значение отчасти в силу того, что она менее пристрастна по отношению к выбору объектов, которым соответствуют предложения. В такой теории объекты являются не более чем произвольными дополнениями до пары с объектами, входящими в область значений переменных языка. Относительная простота объектов компенсируется сложностью объяснения отношения между ними и предложениями, так как при описании выполнимости должны приниматься во внимание все имеющие отношение к истинности

свойства каждого из предложений. Компенсация за это очевидна: при объяснении истины в терминах выполнимости используются все концептуальные ресурсы языка, связанные с его онтологией.

Конечно, рассуждения о предложениях, или даже лучше, высказываниях, истинных по отношению или соответствующих фактам, настолько же безобидны, как и рассуждения об истине. Даже предположение о том, что истина зависит от отношения между языком и миром может быть, как я это доказывал, обосновано. Яростно атакованная в этой статье стратегия, опирающаяся на факты, это другое дело: она является философской теорией, причем плохой. Показать несостоятельность всех корреспондентных теорий и, в частности, семантического подхода Тарского, полагая, что они должны разделять недостатки обычных попыток объяснения истины на основании фактов, было бы позором.

Предположение, согласно которому все корреспондентные теории должны использовать стратегию обращения к фактам, по крайней мере, понятно и, учитывая причудливость применения этой стратегии философами, может быть расценено как истинное по определению. Однако широко распространенное непонимание роли формул наподобие (7) в семантическом подходе непростительно. Следующий пример не хуже многих, которые можно было бы процитировать: «...пока классические корреспондентные теории говорят не больше об истине, чем то, что схватывается формулировками современной семантической теории, и, пока это нечто не будет предъявлено как необходимое свойство истины (или, по крайней мере, значительной части истин), до тех пор битва за соответствие вместо того, чтобы быть *выигранной* теоретиками соответствия, показывает себя как *Scheinstreit.* Поэтому, как часто отмечалось, формула

„Снег бел" истинно (в нашем языке) = Снег бел

рассматривается и прагматистами, и когерентистами с одинаковой невозмутимостью. Если „соответствие" теоретика соответствия не является чем-то большим, чем показывают

формулы такого вида, тогда прагматисты и когерентисты могут надеяться сделать важные открытия... об „истине и соответствии“ больше нечего сказать»[12].

Неважно, есть ли в семантическом подходе к истине нечто большее, чем Селларс готов допустить, может быть, дело в том, что битва между корреспондентными теориями и их противниками не только не выиграна, но даже еще не начата. В этом пассаже меня раздражает предположение, что предложения типа «„Снег бел“ истинно тогда и только тогда, когда снег бел» (даже будучи правильно релятивизированными со структурной дескрипцией на месте выражения в скобках) сами по себе раскрывают для нас все особенности семантического подхода. Конечно, как говорит Селларс, предложения такого типа представляют собой ничейную землю; именно на это надеялся Тарский, предполагая всеобщее согласие в отношении возможности вывода всех этих предложений в рамках адекватной теории или определения истины. В них нет ни следа понятия соответствия, нет никакого реляционного понятия, выражающего отношение между предложениями и тем, о чем они повествуют. Это отношение, выполнимость, *действительно* выступает на первый план при разработке нетривиальной теории, способной выдержать проверку на возможность выведения из нее всех этих нейтральных запорошенных снегом тривиальных высказываний.

Теперь, приближаясь к концу, я хочу кратко рассмотреть два препятствия (помимо многих других), стоящие на пути к всеобъемлющей теории истины для естественного языка. Во-первых, вполне правомерен вопрос о том, в какой мере вообще возможно рассматривать естественный язык как формальную систему и, даже более того, исследовать ресурсы семантического подхода на предмет возможности работы с такими неспециальными явлениями, как адвербиальная модификация, атрибутивные имена прилагательные, разговоры о пропозициональных установках, причинности, долге и так далее. На настоящий момент у нас еще нет семантики, основанной на выполнимости, для единичных терминов,

а она является основой для всего прочего. Все-таки некоторая степень оптимизма оправданна. До Фреге всякая серьезная семантика по большей части сводилась к предикации и составлению предложений по истинностно-функциональному принципу. Извлекая квантификационную структуру из того, что казалось джунглями местоимений, кванторов, связок и артиклей, Фреге показал, каким образом можно при помощи семантики усмирить огромный и мощный пласт естественного языка. В самом деле, все еще может оказаться, что этот пласт и есть весь язык в целом. Между тем, в различных направлениях продвигаются многообещающие исследования, увеличивая ресурсы формальной семантики и расширяя применимость уже известных из них. Вывод сложных и тонких правил необходим для построения ясного описания естественного языка. Какой бы по объему ни оказалась сфера применимости семантической теории в конечном итоге, мы можем только приветствовать интуицию, появляющуюся там, где мы начинаем настолько хорошо понимать язык, чтобы использовать его.

Другое затруднение лежит на ином уровне: мы говорили о том, как возможно интерпретировать установление истинности предложений или предложений, релятивизированных по отношению к практике их употребления, но только в контекстах объясненных левой частью (7). Мы не дали никакого указания на то, как можно применять этот анализ на предложения наподобие

(8) То, что идет дождь, — истинно.
(9) Утверждение о том, что идет дождь, — истинно.

Вот пример того, как можно работать со случаем (8). По умолчанию у нас есть теория истины (для английского языка), в которой истина рассматривается как отношение между предложением, носителем языка и временем произнесения. (Аналогичная версия в терминах высказываний применяется к (9).) Задача состоит в нахождении двойников для элементов (8) в естественном языке. Субъект, произносящий (8), проговаривает слова «идет дождь», совершая акт, вклю-

чающий в себя отдельное предложение, время произнесения и самого субъекта. Таким образом, референция к этому акту служит референцией к трем членам, необходимым для применения теории истины. Мы можем считать эту референцию сводящейся к указательному местоимению «что» в (8) и (9). При устном произнесении (8) может выглядеть так. Сперва (для большей ясности в обратном порядке), я говорю «идет дождь». Затем я говорю «*что* этот речевой акт включает в себя предложение, которое, будучи произнесенным мною в данный момент, истинно». Согласно этому анализу, процесс высказывания вслух (8) или (9) состоит из двух логически (семантически) независимых речевых актов, один из которых содержит указательную референцию к другому. Интересное свойство этих высказываний заключается в том, что одно из них истинно, только если истинно другое; возможно, это подтверждает базовую интуицию теории избыточности.

Еще одна проблема возникает благодаря такому примеру:

(10) Высказывание Петра о том, что Павел лохматый, — истинно.

Следуя примеру анализа для (8) и (9), анализ (10) должен выглядеть так: «Павел лохмат. Это истинно, что Петр и сказал (высказал)». «Что», как и ранее, относится к акту произнесения, а «это» теперь имеет ту же самую референцию, как и «что». То, что нужно теперь для завершения рассмотрения, это паратактический анализ косвенной речи, интерпретирующий высказывание носителя языка *и* «Петр сказал, что Павел лохмат» как состоящего из высказывания «Павел лохмат» и другого высказывания («Петр это сказал»), ставящего Петра во взаимооднозначное соответствие с высказыванием *и* «Павел лохмат». Возможно, исследуемое отношение можно сделать яснее при помощи обращения к понятию *тождества высказывания* (samesaying): *и* сказал, что то, что он сказал, говоря «Петр это сказал», истинно, потому как, говоря «Павел лохмат», он сделал себя и Петра высказывающими одно и то же[13].

Конечно, можно настаивать на том, что отношение тождества высказывания (существующее между речевыми актами) может быть понято только при помощи ссылки на нечто третье: высказывание, значение или суждение. В данной статье я не касаюсь этого вопроса (разве косвенно, показывая, с учетом сходных проблем, что в таких объектах нет нужды). Не является ли это просто следствием упрощения проблемы? Рассмотрим в качестве последнего примера:

(11) Петр сказал нечто истинное.

Это не может быть передано так: «Некоторое высказывание (в прошлом) Петра сделало нас высказывающими нечто тождественное», так как я мог не сказать нечто подходящее или мог не знать, что сказать. «Некоторое высказывание Петра включает в себя предложение, в неких обстоятельствах являющееся истинным» также не годится. Эти попытки не удались в силу того, что (11) не поясняет, на каком языке говорил Петр, а понятие истины, с которым мы имеем дело, с необходимостью ограничено рамками отдельного языка. Не зная, каким языком он пользуется, мы не можем придать смысл высказыванию «истинно в его языке».

На мой взгляд, идея о предложении на другом языке, являющемся *переводом* предложения английского языка, все-таки может оказаться здравой. Учитывая эту идею, будет проще рассматривать (11) как означающее нечто вроде «Петр произнес предложение, переводящее предложение английского языка и истинное при определенных обстоятельствах». В данном анализе подлинная природа контрфактической посылки скрыта лишь частично: степень этой маскировки зависит от фрагментов теории истины (для английского языка), релятивизированных по отношению к конкретному случаю высказывания. В любом случае, кажется, нам просто необходимо понимать то, что кто-либо другой имеет в виду, произнося предложение на нашем языке, в случае, если он говорит именно на нем. При всей неопределенности этого понятия с трудом можно представить себе, как можно было бы обойтись без него при коммуникации.

Заключение, только предварительно намеченное мной, таково. Мы можем отойти от того, что кажется рассуждениями об (абсолютной) истине вечных суждений, если примем истину как релятивизированную по отношению к фактам речи и понятие перевода в сильном смысле. Возможно, этот переход создаст больше проблем, чем решит. Но, я думаю, что они являются достойными проблемами, вызывающими с нашей стороны подробный анализ семантики естественного языка и требующими разработки теории перевода, не зависимой от понятия значения, а обосновывающей его.

Стросон описывает «очищенную версию корреспондентной теории истины» Остина так: «Его... теория, грубо говоря, заключается в следующем. Сказать, что высказывание истинно, значит сказать, что конкретный фрагмент речи связан определенным конвенциональным образом с чем-то в мире, отличающемся от самого себя»[14].

Именно эту теорию имеет в виду Стросон, говоря, что «корреспондентная теория нуждается не в очищении, а в элиминации». Я не хочу защищать отдельные фрагменты понятия соответствия Остина. Многие замечания, сделанные мной против стратегии, опирающейся на факты, повторяют критику Стросона. Однако, недостатки отдельных формулировок корреспондентной теории не должны распространяться на всю теорию. Если я прав, то, обращаясь к семантическому понятию истины Тарского, мы можем защитить теорию, почти целиком подпадающую под описанную Стросоном «очищенную версию корреспондентной теории истины». А эта теория заслуживает не элиминации, а детальной разработки.

4. СЕМАНТИКА ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

Целью семантической теории естественного языка является передача значения каждого осмысленного выражения. Проблема же состоит в том, какую форму должна иметь подобная теория, ибо, несмотря на то, что количество осмысленных выражений явным образом не ограничено, их значения должны быть объяснены на основе выявления конечного количества элементов, проводимого по некоторой модели. Даже принимая во внимание обусловленное языковой практикой ограничение по длине высказываемых и воспринимаемых субъектом предложений, семантика, использующая понятие выполнимости, должна объяснять роль повторяющихся элементов для значения содержащих их предложений.

Я полагаю, что теория истины для некоторого языка соответствует — в минимальной, но от этого не менее важной степени — указанному требованию, а именно: предоставляет значение любого независимо значимого предложения на основе анализа его структуры. С другой стороны, семантическая теория естественного языка не может считаться адекватной, если она не предоставляет концепции истины для этого языка в соответствии с основными направлениями теории Тарского, предложенной для формализованных языков. Я считаю, что как лингвисты, так и философы, занимающиеся проблемами естественных языков, упустили ключевое значение теории истины. Причина этого частично заключается в том, что они не осознали, что такая теория дает четкий, полный и проверяемый ответ на вопрос о том, каким образом можно объяснить бесконечные семантические возможности языка с помощью конечного набора средств, а частично из-за преувеличения возможных трудностей на пути построения формальной теории истины естественных

языков. В любом случае, подобная попытка небесплодна: преуспев в создании подобной теории для естественного языка, мы начнем рассматривать его как формальную систему, а сделав построение подобной теории своей целью, мы вполне можем рассчитывать на сотрудничество лингвистов и аналитических философов[1].

Под теорией истины я понимаю некоторое количество аксиом, формулирующих для каждого предложения языка условия его истинности. Очевидно, что, если мы воспользуемся определением предиката истинности, удовлетворяющим конвенции Т Тарского, мы получим теорию истины[2], но, в общем, для характеристики теории истины не нужно и этого. Если не вводить дополнительных ограничений, то некоторые из теорий истины будут лишены самостоятельной ценности. За аксиомы мы можем взять, к примеру, все предложения вида «*s* истинно, если и только если *p*», где «*s*» можно заменить любым стандартизированным описанием предложения, а «*p*» — самим этим предложением (принимая, что метаязык содержит в себе объектный язык). Подобная теория не привнесет ничего нового в понимание структуры языка и поэтому ничего не прояснит в вопросе о том, как состав предложения влияет на его значение. Мы можем препятствовать этому отдельному затруднению, выдвинув условие о том, что число внелогических аксиом конечно. Далее, я буду исходить из подобного ограничения, хотя вполне могут быть и другие способы удостовериться, что теория истины обладает нужными нам свойствами.

Какие же свойства теории истины нам необходимы? Приемлемая теория истины должна, как мы уже сказали, заключать о значении (или условиях истинности) любого предложения как составленного из некоторого конечного набора элементов на основе его анализа методами, релевантными теории истины[3]. Вторым естественным требованием является то, что теория должна предоставлять метод определения значения произвольного предложения. (Если эти два условия выполняются, можно сказать, что теория описывает язык как *изучаемый* и *проверяемый*). Третьим условием яв-

ляется то, что утверждения истинности для единичных предложений, вытекающие из данной теории, должны в некотором отношении (которое еще предстоит уточнить) исходить из тех же понятий, что и предложения, условия истинности которых они утверждают[4].

Всеми этими характеристиками, очевидно, обладают теории, способ построения которых описан Тарским. Последнее условие, например, выполняется элементарным образом теорией, сформулированной в метаязыке, содержащем объектный язык, поскольку в утверждениях вида «*s* истинно, если и только если *p*» условия истинности *s* заданы предложением, заменяющим *p*, а именно самим *s*; и поэтому не обращается к понятиям, не обращаясь непосредственно к пониманию *s*. Если же метаязык не содержит в себе объектный язык, то неясно, в каких случаях выполняется этот критерий, а в случае естественных языков перед нами возникают дополнительные проблемы, которых мы сейчас коснемся.

Представляется естественным интерпретировать третье условие как запрещающее появление семантических терминов в определении условий истинности предложения, если только они (или их перевод) уже не включены в само предложение. Не совсем понятно, исключит ли эта интерпретация явное употребление семантических терминов в утверждениях условий истинности модальных предложений (ибо неясно, считать ли последние с самого начала семантическими по природе). Однако кажется ясным, что это ограничение угрожает теориям, использующим неанализируемое понятие денотации или именования, а также тем теориям, которые делают истинность в модели фундаментальным семантическим понятием[5].

Принять такую интерпретацию третьего условия означает, как представляется, признать многие из недавних семантических работ неподходящими по отношению к настоящим целям, так что я намерен оставить этот вопрос, как и многие другие, касающиеся подробной формулировки стандартов теории истины, открытым. Сейчас же мне хотелось бы не заниматься спорными вопросами, но попытаться доказать

уместность и продуктивность требования для любой теории значения (семантики) естественного языка о предоставлении рекурсивной истинностной оценки. Отнюдь не маловажным достоинством данного предположения мне представляется то, что оно задает определенные рамки для четкой формулировки большого количества проблем и спорных вопросов.

Построить рекурсивную теорию истины для языка — значит показать возможность формализации его синтаксиса, по меньшей мере, в том смысле, что каждое истинное выражение может быть проанализировано как составленное из некоторых элементов («словаря»), конечный набор которых является достаточным для языка, при помощи некоторых правил, конечное число которых также является достаточным для языка. Но даже если мы продолжаем предполагать, что можно определить ложность в терминах истинности или характеризовать ее независимо от истинности, отсюда не следует, что бытность предложением (sentencehood) или грамматичность могут быть определены рекурсивно. Таким образом, аргументы, призванные показать, что невозможно построить формальную рекурсивную теорию синтаксиса (бытности предложением или грамматичности) естественного языка, вовсе не дискредитируют с необходимостью попытку построить теорию истины. Также следует упомянуть, что предложенные условия адекватности для теории истины не влекут за собой (по крайней мере, очевидным образом) того, что даже истинные предложения объектного языка должны иметь форму, заданную некой стандартной логической системой. Так, даже считая ясным (что совсем не так) тот факт, что глубинные структуры английского (или другого естественного языка) не могут быть представлены формальным языком с обычной квантификационной структурой, отсюда еще не следует, что мы никоим образом не сможем построить теорию истины.

Теория истины для естественного языка должна учитывать тот факт, что многие предложения меняют свой истинностный статус в зависимости от времени их высказывания,

от того, кто их высказывает и, даже, может быть, от того, кто их воспринимает. Мы можем приспособиться к этому феномену либо заявив, что истинностными характеристиками обладают конкретные высказывания или речевые акты, а не предложения, либо полагая истину реляционным отношением между предложением, тем, кто его высказывает, и временем его высказывания.

Чтобы таким образом интерпретировать указательные (indexical) или демонстративные элементы языка, необходимо радикальным образом изменить концепцию определения истины, как это видно из размышления о том, как конвенция Т должна быть пересмотрена для того, чтобы истина была чувствительной к контексту. Однако такое изменение не обязательно должно отправляться от формальных критериев.

Часто высказывается опасение, что формальная теория истины не в состоянии описать случаи многозначности, характерные для естественного языка, которые так занимают лингвистов. В размышлениях по поводу этого вопроса может быть полезным различение двух требований. Во-первых, традиционно формальные теории истины не предназначались для работы с неоднозначными выражениями, и приспособление их для применения к подобным выражениям полностью изменило бы их характер. Это требование оправдано и безобидно. Теории истины в духе Тарского обычно не занимаются вопросами определений для словаря, состоящего из базовых элементов (в отличие от вопросов перевода и логической формы), с другой стороны, в таких теориях нет препятствий для успешного решения тех проблем, которыми призван заниматься лексикон. Второе требование состоит в том, что некоторые виды многозначности с необходимостью препятствуют построению теории истины. Перед раскрытием этого тезиса необходимо прояснить более полно, чем мы это сделали до сих пор, вопрос о критериях успешного построения теории истины для естественного языка. Не затевая здесь большой дискуссии, все же позвольте пояснить, почему я считаю невозможным ограничиться в реше-

нии этого вопроса цитированием нескольких парадоксальных случаев.

Бар-Хиллел предлагает примеры вроде следующего: «У него были кудрявые волосы и борода». «Кудрявые» может определять как всю последующую связку, так и только «волосы». Конечно же, адекватная теория обнаружит двусмысленность; теория истины, в частности, должна будет показать, каким образом произнесение одного и того же предложения может быть истинно в одной интерпретации и ложно в другой. Но здесь еще нет проблем для теории истины. Далее, однако, Бар-Хиллел замечает, что контекст произнесения легко позволяет разрешить двусмысленность высказывания для любого обычного человека, говорящего по-английски, и все же решение может зависеть от общего знания того способа, который не может быть (по крайней мере практически) схвачен формальной теорией. Допуская это — а я считаю, что мы должны это сделать, — мы принимаем определенные границы действия теории истины. Но даже в этих пределах возможно построение теории, описывающей важные характеристики значения.

Мы слегка коснулись некоторых соображений, которые привели лингвистов и философов к сомнениям в возможности построения формальной теории истины для естественного языка. Я считаю, что этот пессимизм преждевременен, и в частности, из-за отсутствия рассмотрения критериев адекватности. С другой стороны, глупо было бы не замечать различий в интересах и методах исследователей, занимающихся искусственными и естественными языками.

Причиной того, что логики и философы языка выражают сдержанность в отношении трактовки естественных языков как формальных систем, может служить их заинтересованность главным образом в метатеоретических характеристиках, таких как: непротиворечивость, полнота и разрешимость. Подобные исследования предполагают точное знание исследуемого языка — вид уточнения, который может быть обоснован лишь в том случае, если мы рассматриваем значимые признаки объектного языка как установленные неко-

торыми нормами. А такая позиция явно не свойственна эмпирическому изучению языка.

Отсюда, однако, не следует, что существует два вида языка: естественный и искусственный. Это разделение может быть лучше описано в терминах руководящих интересов. Мы можем потребовать описания структуры естественного языка; результатом должна быть эмпирическая теория, открытая для проверки и допускающая возможность ошибки, и обреченная, таким образом, на некоторую неполноту и схематичность. Ответом же на вопрос о формальных характеристиках таким образом абстрагируемых структур послужит сравнение с различием между прикладной геометрией и теоретической.

Я настаиваю на том, что не существует явных и определенных препятствий к тому, чтобы построить формальную теорию истины для естественного языка; остается лишь объяснить, почему это является желательным. Причины этого с необходимостью имеют общий и программный характер, ибо речь идет не о конкретной теории, но об общетеоретическом критерии. Если этот критерий будет принят, то эмпирические исследования языка выиграют в понятности и значимости. Вопрос о корректности той или иной теории станет более четким и решаемым: адекватные теории будут обладать большой объяснительной и предсказательной силой и использовать изощренные концептуальные средства, уже достаточно понятные. В число проблем, которые теория истины, основанная на понятии выполнимости, в состоянии решить сама или оказать помощь в их решении, попадут многие из тех, что интересуют и лингвистов, и философов; следовательно, в качестве дополнительной прибыли мы можем ожидать сближение методов и интересов философии и лингвистики. Позвольте мне вкратце пояснить это заявление.

Одним из относительно четких требований к теории языка является то, что она должна давать рекурсивную характеристику тому, что в нем может функционировать в качестве предложения. Эта часть теории проверяема до той степени, до которой у нас есть или мы можем установить надежные

способы отличить то, когда выражение считать предложением. Представим, что мы преуспели в этом достаточно для того, чтобы двигаться далее. В основе определения бытности предложением лежит идея независимо значащего выражения. Однако способность иметь значение есть лишь тень его самого, полноценная теория должна не только отмечать значащие выражения, но передавать их значения. В настоящее время эта точка зрения разделяется многими лингвистами, но, в основном, они признают, что не только не способны выдвинуть теорию, соответствующую этому дополнительному требованию, но и сформулировать его[6]. Поэтому я хотел бы еще немного добавить в защиту того, что теория истины действительно «передает значение» предложений.

Теория истины предполагает для каждого предложения *s* утверждение вида «*s* истинно, если и только если *p*», где в самом простом случае *p* заменяется самим *s*. Принимая во внимание инвариантность слов «если и только если», мы можем интерпретировать их, если пожелаем, как «означает, что». Построенная таким образом модель будет выглядеть следующим образом: «Сократ мудр» означает, что «Сократ мудр».

Такой способ выяснения важности теории истины для вопросов значения достаточно многое объясняет, но все же нам следует остерегаться, ибо он провоцирует ошибки определенного типа. Одной из таких ошибок будет думать, что все, что мы можем узнать из теории истины о значении отдельного предложения, содержится в предложении, образованном при помощи биусловной связки (biconditional), которая предполагается в конвенции Т. То, что мы можем узнать, скорее содержится в *доказательстве* подобного предложения, ибо именно оно способно шаг за шагом показать, каким образом истинностное значение предложения зависит от его рекурсивно заданной структуры. При наличии соответствующей теории формулирование необходимого доказательства достаточно несложно; процесс может быть механизирован.

Структура предложения, рассматриваемая с позиций тео-

рии истины, предстает как образованная при помощи средств, конечное число которых достаточно для (образования) любого предложения; таким образом, структура предложения определяет отношения, в которых оно состоит с другими предложениями. Действительно, невозможно задать условия истинности всех предложений, не показав, что одни предложения являются логическими следствиями других; если же мы рассматриваем выявленную теорией истины структуру в качестве глубинной грамматики, то грамматика и логика должны тесно сотрудничать.

Есть, таким образом, некоторый смысл, в котором теория истины оценивает роль каждого предложения в языке постольку, поскольку эта роль зависит от того, способно ли это предложение быть потенциальным носителем истины или ложности, и эта оценка дается в терминах структуры. Это замечание, несомненно, намного туманнее тех фактов, которые оно объясняет, однако я привожу его для обоснования того требования, что теория истины показывает, как «значение каждого предложения зависит от значения слов». Хотя, может быть, достаточно сказать, что мы придали вес этому вдохновляющему, но неясному требованию; нет никаких причин не приветствовать альтернативных его прочтений, если они столь же ясны. В любом случае, мое предложение предполагает отказ от поиска некоторых сущностей, которые служили бы значениями слов и предложений. Теория истины в них не нуждается, что является ее преимуществом, по крайней мере, до тех пор, пока кто-либо не предложит когерентную и использующую понятие выполнимости теорию значения, использующую подобные сущности.

Преобразованная для естественных языков конвенция Т представляет нам критерий успешности для оценки значений. Но каким образом мы можем эмпирически проверить эту оценку? Это еще один случай, когда нас может сбить с толку замечание о том, что биусловные связки, требуемые конвенцией Т, могут читаться как придающие значение, поскольку это ошибочно предполагает, что для проверки тео-

рии истины необходимо четкое понимание значения каждого конкретного предложения. Но на самом деле, все, что нужно, — это способность распознавать случаи, когда требуемые предложения, образованные биусловными связками, являются истинными. Это означает, что, в принципе, проверить эмпирическую адекватность теории истины не сложнее, чем носителю русского языка решить, истинны ли предложения типа «„Снег бел“ истинно, если и только если снег бел». Таким образом, семантика или по крайней мере теория истины оказываются на настолько же прочной эмпирической почве, что и синтаксис. Во многих случаях носителю языка может быть проще обозначить условия истинности предложения, чем оценить верность его грамматического построения. Предложение «Ребенок кажется спящим», может быть, трудно назвать грамматически верным, однако совершенно точно, что оно истинно, если и только если ребенок кажется спящим.

Все это время я говорил о ситуации, когда метаязык содержит в себе объектный язык, так что мы могли обращаться к реакции рядового носителя языка на знакомые биусловные связки, связывающие предложения и их описания. Более сложным является случай, когда мы хотим проверить теорию, сформулированную на нашем языке, для иностранного языка. Но и теперь теорию истины возможно проверить, хотя и не так легко и прямо, как ранее. Процесс проверки будет подобен описанному Куайном во второй главе «Слова и объекта». Мы должны будем отметить условия согласия и несогласия носителя иностранного языка с различными предложениями. Соответствующие условия и будут взяты в качестве условий истинности его предложений. Нам придется принять, что в простых или очевидных случаях он соглашается с истинными и не соглашается с ложными предложениями — это допущение неизбежно, поскольку обратное было бы невразумительным. Все же, как я полагаю, Куайн прав в том, что значительная степень неопределенности все же останется даже после принятия во внимание всех очевидных факторов; множество совершенно разных теорий исти-

ны будут согласовываться со свидетельствами равно успешно[7].

Постановка систематической оценки истинности в качестве центральной проблемы эмпирической семантики есть в некотором смысле лишь вопрос более четкого обозначения старых целей. Однако граница между прояснением и нововведением в науке размыта, и, возможно, подобное изменение сместит акценты в лингвистическом исследовании. Некоторые проблемы, имевшие преобладающее значение в недавних работах по семантике, станут менее важными — например, попытки передать «значение» предложений или построить теорию синонимичности, аналитичности и многозначности. Для первой из них теория истины предлагает нечто вроде замены, вторая и третья становятся ненужными придатками, четвертая возникает в новом обличии. Появятся другие трудности: проблемы референции, создания семантической теории, использующей выполнимость, для модальных предложений, предложений о пропозициональных установках, массовых терминов, наречных конструкций, атрибутивных прилагательных, императивов и вопросительных предложений и так далее, — философы знакомы с большей частью этого длинного списка[8].

Трудно сказать, насколько мы изменяем теорию семантики с точки зрения лингвистики. Это в основном зависит от того, насколько обнаруженная теорией истины структура может быть определена как глубинная структура, искомая трансформационной грамматикой. В некотором отношении логическая структура (насколько мы можем назвать таковой структуру, выявляемую теорией истины) и глубинная структура могут быть одним и тем же, по крайней мере, в том смысле, что обе они предназначены быть основанием семантики. Глубинная структура должна также служить, однако, основанием трансформаций, результатом которых являются поверхностные структуры, и открытым остается вопрос, может ли логическая структура выполнять эту роль, или может ли она выполнять ее успешно[9].

Наконец, глубинная структура должна, по мнению неко-

торых лингвистов, отражать «интернализированную грамматику» носителей языка. Хомский, в частности, полагает, что преимуществом трансформационной грамматики над другими, которые могут задавать настолько же хорошие теории для совокупности грамматических предложений, является то, что трансформационная грамматика может быть приведена в «соответствие с лингвистической интуицией носителя языка»[10]. Проблема заключается в том, чтобы отыскать относительно четкий способ проверки соответствия теории этой лингвистической интуиции. Я полагаю, что мы придаем некоторый эмпирический оттенок этой идее, если мы принимаем глубинную структуру за логическую форму. Сравним это с соответствующим разделом у Хомского[11].

Хомский считает, что следующие два предложения, имея одинаковую поверхностную структуру, различаются по глубинной:

(1) Я убедил Джона уйти.
(2) Я ожидал, что Джон уйдет.

Этот пример опирается на следующее наблюдение: если мы переводим встроенное предложение во втором предложении в пассивную форму, результатом будет предложение, «когнитивно синонимичное» с его активной формой; однако аналогичная процедура с первым предложением не приведет к аналогичному результату. Наблюдение абсолютно правильное, но каким образом оно показывает, что (1) и (2) имеют принципиально разные глубинные структуры? Самое большее, на что указывает этот пример, это то, что теория, приписывающая (1) и (2) различные структуры, проще, чем та, что этого не делает. Однако неясно, каким образом наша лингвистическая интуиция участвует в доказательстве этого различия.

Но Хомский, конечно, прав: между (1) и (2) существует разница, и она становится заметной, как только мы начинаем размышлять в терминах построения теории истины. В самом деле, нам не нужно идти далее вопроса о семантической роли слова «Джон» в обоих предложениях. В (1) «Джон» мо-

жет быть заменен любым кореферентным термином без изменения при этом истинностного значения предложения, что неверно для второго случая. Таким образом, роль слова «Джон» для условий истинности (1) должна быть разительно отличной от его роли для условий истинности (2). Подобная демонстрация различия в семантической структуре (1) и (2) не обращается к «неявному знанию грамматики носителем языка» или «внутренней компетенции идеализированного носителя языка». Она основывается на совершенно четком понимании каждым носителем языка [в данном случае] по-русски того, как может изменяться истинностный статус (1) и (2) в зависимости от замены слова «Джон».

Однако эти последние замечания все еще не воздают должное истинностному методу. Они показывают, что, помня о требованиях теории истины, мы можем четче представить наше смутное понимание различия структур (1) и (2). Таким образом, данные, до сих пор используемые нами для доказательства, того же сорта, что и у Хомского: они касаются, в основном, утраты или сохранения истинностного значения предложениями при их трансформации. Подобные соображения будут, без сомнения, направлять и далее конструктивные и аналитические труды лингвистов, как это давно происходит в философии. Красота обсуждаемой нами теории заключается в том, что эти намеки на структуру, как бы они ни были полезны или сущностно важны для обнаружения подходящей теории, не должны играть прямой роли в проверке конечного результата.

5. В ЗАЩИТУ КОНВЕНЦИИ Т

Допустим, кто-нибудь скажет: «Сегодня вечером на небе миллион звезд», а кто-то другой ему ответит: «Это правда». Тогда нет ничего проще допущения, что сказанное первым человеком истинно тогда и только тогда, когда истинно сказанное вторым. Это обычное явление, и возникает оно благодаря взаимодействию двух механизмов: способа указания на выражение (производимого здесь указательным местоимением «это») и понятия истины. Первый механизм приводит нас от беседы о мире к разговору о языке, второй возвращает нас обратно.

Мы научились представлять эти факты с помощью предложений такого вида: «Предложение „Сегодня вечером на небе миллион звезд" является истинным тогда и только тогда, когда сегодня вечером на небе миллион звезд». Поскольку Т-предложения (как мы можем их назвать) истинны с такой большой степенью очевидности, то некоторые философы сочли, что понятие истины является тривиальным (по крайней мере, по отношению к предложениям). Но это, конечно, не так, — на что, вероятно, первым указал Рамсей, — поскольку Т-предложения предоставляют альтернативу разговору об истине лишь для некоторых контекстов. Т-предложения ничем не помогут нам, если мы хотим получить предложения, эквивалентные таким как «Каждое предложение, произнесенное Аристотелем, ложно» или «То, что Вы сказали в прошлый вторник, истинно»[1].

Таким образом, Т-предложения не показывают, как жить без истинностного предиката, в то же время, взятые в совокупности, они сообщают о том, чем для нас являлось бы обладание таким предикатом. Ведь поскольку каждому предложению языка, для которого определяется истина, соответствует некоторое Т-предложение, то полная совокупность Т-предложений точно устанавливает экстенсионал любого

предиката (среди предложений), играющего роль слов «является истинным». Отсюда ясно, что, хотя Т-предложения не определяют истину, они могут использоваться для определения истинностного предицирования (predicatehood): любой предикат, делающий все Т-предложения истинными, является истинностным предикатом.

При помощи исчерпывающего перечисления всех случаев Т-предложения объясняют понятие истины, но поскольку для любого интересующего нас языка число возможных случаев бесконечно, то полезно задаться вопросом о том, какими свойствами должна обладать истина, если она должна действовать так, как сообщают нам Т-предложения. Разобрать эти свойства содержательным, то есть конечным способом, и означает создать теорию истины. Мы можем думать о теории истины для языка L просто как о предложении Т, содержащем такой предикат *t*, что Т имеет своими логическими следствиями все предложения формы «*s* истинно тогда и только тогда, когда *p*», где «*s*» заменено каноническим описанием предложения языка L, где «*p*» заменено самим этим предложением (или его переводом), а «является истинным» заменено, если это необходимо, на *t*.

По сути дела это, конечно, конвенция Т Тарского[2]. Предложенная модель отличается от нее лишь в одном существенном отношении: она не предполагает, чтобы условий, налагаемых на истинностный предикат, было достаточно для эксплицитного определения. (Я вернусь к этому замечанию позже.) В работах Тарского об истине конвенция Т обеспечивает переход от неформальных интуиций относительно понятия истины к четкой постановке проблемы. Впервые мы сталкиваемся с конвенцией Т в работе «Понятие истины в формализованных языках» (изданной на польском языке в 1933, на немецком — в 1936 и на английском — в 1956 году). В статье, следовавшей за ней, предназначенной главным образом для философов, Тарский обращается к Т-предложениям, чтобы связать классические философские проблемы со своими разработками в семантике[3]. И в более поздней популярной статье он поддерживает ту же самую точку зрения[4].

Принимая во внимание то, что эти идеи широко известны, я думаю, философы все же прошли мимо центрального элемента конвенции Т. Вот он: конвенция Т и Т-предложения обеспечивают единую связь между интуитивно очевидными представлениями об истине и формальной семантикой. Без конвенции Т у нас не будет причин полагать, что истина – это то, что нас научил определять Тарский.

Важность, которую Тарский придает конвенции Т, интересна для нас и в другом отношении – она придает теории некоторую терминологическую нагрузку. Согласно Тарскому, «*семантика* есть дисциплина, которая, вообще говоря, *имеет дело с определенными отношениями между выражениями языка и объектами... к которым „относятся" эти выражения*»[5].

Он приводит в качестве примеров семантических понятий *обозначение* (designation) (или денотацию – denotation), которое связывает единичные термины с тем, что они обозначают; *выполнимость* (satisfaction), которая наличествует между открытым предложением и тем объектом или объектами, относительно которых оно истинно; и *определение*, которое связывает уравнение и число, определяемое этим уравнением единственным образом. Он продолжает: «В то время как слова „*обозначает*", „*выполняет*" и „*определяет*" выражают отношения... слово „*истинно*" обладает иной логической природой: оно выражает свойство (или обозначает класс) определенных выражений, а именно предложений»[6].

Далее он отмечает, что «самый простой и наиболее естественный способ» определения истины использует понятие выполнимости, и именно это объясняет, почему он называет истину семантическим понятием. Но мы не можем не заметить, что в собственной теории Тарского истина не является семантическим понятием. Взгляд на логическую грамматику Т-предложений показывает, что в ней необходимо, чтобы истинностный предикат не был реляционным (не выражал отношение). Если бы было так, то важнейшего в этой концепции исчезновения из правой части Т-предложения, связанной с левой частью биусловной связкой, всех семантических понятий, да и по сути дела всего, кроме самого предложения,

условия истинности для которого Т-предложение устанавливает (или перевод которого содержит), не было бы[7].

В случае, если можно было бы показать, что любая теория, удовлетворяющая критерию конвенции Т, располагает ресурсами, пригодными для характеристики отношения выполнимости, то терминология Тарского была бы более обоснованна. Очевидно, что существуют языки, по отношению к которым вышесказанное нерелевантно, но было бы занятно, если бы оно выполнялось для достаточно богатых языков. Недавняя работа предлагает положительный ответ[8]. Чувство, что истина относится к семантическим понятиям иного вида, усиливается фактом наличия в каждом случае парадигмы, использующей и упоминающей одно и то же выражение: «Платон» определяет Платона; *y* удовлетворяет «*x* бел», тогда и только тогда, когда *y* бел; «снег бел» является истинным, тогда и только тогда, когда снег бел; уравнение «2x = 1» определяет число *y* если и только 2y = 1, и т. д. Существование такой парадигмы не может, однако, быть принято как признак семантического (semantical), если нет никакой подходящей парадигмы аналогичного вида для релятивизированных семантических понятий наподобие истины в модели.

Таким образом, на данный момент моей целью является защита понятий, удовлетворяющих критерию конвенции Т (и для которых, следовательно, существует знакомая парадигма). В этой работе я руководствуюсь значимостью и важностью темы с философской точки зрения.

Одной из причин, по которым Тарский обратился к конвенции Т, была его надежда убедить философов в том, что занятия формальной семантикой помогут разрешить некоторые из проблем, стоящих перед ними. Скандальность ситуации заключается том, что в некоторых кругах все еще не понимают смысла этих благих побуждений, однако в рамках данной статьи такие проблемы меня не волнуют. Сейчас я обращаюсь к тем, кто полностью принимает релевантность формальной семантики по отношению к философским проблемам, но не видит никакой существенной разницы между теориями, согласующимися с конвенцией Т, и теориями, в

таком согласии не находящимися. (Существует даже опасность, что невежды и эксперты объединят свои силы. Первые, слушая бормотание о возможных мирах, линиях родства между одним миром и другим, двойниках, вероятно, будут думать о том, что *сегодня* семантика работает где-то там — в любом случае, не в нашем мире.)

До того, как я выдвину мои доводы в пользу конвенции Т как схватывающей понятие, достойное внимания, я хочу рассмотреть некоторые варианты возражений.

Во-первых, поиск теории, согласующейся с конвенцией Т, не является, по крайней мере, сам по себе фиксацией на логике Т-типа или аналогичной ей семантике. Конвенция Т в том эскизном виде, в котором я ее обрисовал, не ссылается ни на экстенсиональность, ни на истинностную выполнимость, ни на логику первого порядка. Это позволяет нам использовать все те средства, разработка которых в наших силах, для заполнения пропасти между предложением упоминаемым и предложением используемым. С этой точки зрения онтологические и идеологические ограничения, точно так же как и ограничения на способность к умозаключениям уместны только в том случае, если они оказываются следствиями принятия конвенции Т в качестве критерия. Конвенция Т в качестве критерия для теорий, а не просто каких-либо отдельных теорий, в единичных случаях удовлетворяющих конвенции Т или средств, которыми эти теории могут ограничиться, — это тот тезис, который я хочу защитить.

Конвенция Т руководствуется целью, противоположной целям, которые преследует большая часть современных исследований по семантике. Теории, описывающие или определяющие релятивизированное понятие истины (истина в модели, истина в интерпретации, ценностных суждениях или возможном мире) изначально исходят из точки отсчета, отличающейся от задаваемой конвенцией Т. В силу того, что они заменяют одноместный истинностный предикат Т-предложений на реляционное понятие, эти теории не могут сделать последний шаг в рекурсии к истине или выполнимости, являющийся частью операций с кавычками, — а это

важнейшее свойство Т-предложений. Существует терминологическая традиция, начало которой положил сам Тарский, в ней релятивизированную теорию истины называют общей теорией, ее особым случаем является абсолютная теория (удовлетворяющая конвенции Т). Тарский писал: «Понятие *корректного или истинного предложения в отдельной области* (является) понятием относительного типа и играет большую роль, чем абсолютное понятие истины, включая его как особый случай»[9]. Смысл, в котором это положение верно, абсолютно ясен. С другой стороны, важно помнить о том, что Т-предложения не следуют из релятивизированной теории истины в качестве теорем, и потому теория такого типа не обладает той же привлекательностью с философской точки зрения, как теория, удовлетворяющая конвенции Т.

Я надеюсь, читателю ясно, что цель этих замечаний — не предположение о том, что семантические теории, не включающие Т-предложения в качестве теорем, ложны, имеют недостатки или вводят в заблуждение. Напротив, очевидно, что эти теории освещают важные понятия (такие как полнота и логическое следование); в данном контексте мне вряд ли нужно сказать об этом что-либо еще. Мой тезис заключается только в том, что существуют важные различия между теориями относительной и абсолютной истины, и эти различия приводят к тому, что данные теории подходят для решения различных задач. В частности, имеются причины для обращения философов языка к теориям, удовлетворяющим конвенции Т.

Из теорий истины, основывающихся на интерпретации операции квантификации как подстановки, в целом не следуют Т-предложения, необходимые для конвенции Т. В случае с объектными языками существуют и исключения — можно эффективно задать их атомарные предложения, но исключения не затрагивают языки, обладающие выразительной силой, аналогичной естественным языкам. В отличие от теорий относительной истины подстановочные теории не имеют никаких явных достоинств, оправдывающих их несоответствие конвенции Т[10].

Наконец, я не защищаю тезиса о том, что мы требуем от семантической теории *только* соответствия стандартам конвенции Т. Я выдвигаю предположение, что теории, удовлетворяющие конвенции Т, могут объяснить гораздо больше, чем обычно считают. Однако остается выбор между такими теориями (на основании дополнительных критериев), и, конечно же, остается еще многое из того, что мы хотели бы узнать.

Теперь займемся последовательным рассмотрением некоторых черт теорий, согласующихся с конвенцией Т, что послужит их популяризации среди философов языка.

Основным достоинством конвенции Т является то, что она заменяет важную, но туманную проблему на ясную задачу. После замены становится понятнее, что требовалось в первую очередь, а этиология путаницы интуитивно проясняется. Первоначальный вопрос не лишен смысла, он просто некорректно поставлен. Вот он: что такое для предложения (высказывания или утверждения) быть истинным? Путаница появляется, когда этот вопрос переформулируется так: что делает предложение истинным? Но настоящие проблемы появляются, когда этот вопрос, в свою очередь, принимается как предполагающий, что истина должна объясняться в терминах отношения между предложением в целом и некоторым объектом, может быть, фактом или положением дел. Конвенция Т показывает, как задать первоначальный вопрос без привлечения этих дополнительных формулировок. Форма предложений Т сама по себе намекает на то, что теория может определить свойство истинности без необходимости в поиске объектов, которым особым образом соответствуют предложения, обладающие этим свойством. (Я не хочу сказать, что абсолютная теория истины не является в некотором смысле «корреспондентной теорией» истины. Однако используемые ею объекты являются последовательностями (sequences), а не фактами или положениями дел[11].)

Следовательно, теория, удовлетворяющая конвенции Т, обладает достоинством ответа на хороший вопрос. Эта по-

становка вопроса настолько же интуитивно соответствует интуитивному понятию истины, насколько соответствует ему истинность предложений Т. И постановка вопроса, и вид ответа, который определяется вопросом, показывают то, что в них не используются семантические понятия, не определенные целиком со стороны синтаксиса конвенцией Т, а с материальной — теориями, которые она допускает.

Рекурсивная теория абсолютной истины вида, соответствующего конвенции Т, дает нам ответ на абсолютно иной вопрос, как может показаться *per accidens*. Этот вопрос может быть описан как задача по прояснению или объяснению того, как значение предложения составляется из значений его частей. Теория абсолютной истины дает следующий ответ. Так как существует бесконечная последовательность предложений Т, которые нужно принимать во внимание, то теория должна работать с конечным набором истинностно-обоснованных (truth-relevant) выражений и конечным набором истиностно-выражающих (truth-affecting) конструкций, из которых составлены все предложения. Затем теория определяет семантические свойства определенного числа из базовых выражений и объясняет, как конструкции влияют на семантические свойства выражений, с которыми они оперируют.

Понятие значения, к которому отсылает лозунг «Значение предложения основывается на значениях его частей» в предыдущем параграфе, не является, конечно, понятием, противоположным референции или понятием, предполагающим, что значения — это объекты. Данный лозунг отражает важное обстоятельство, одно из тех, которым, по моей догадке, теория истины *придает* ясное содержание. Одним из ее полезных качеств является то, что она делает это без привлечения значений как объектов.

Теории абсолютной истины с необходимостью предоставляют анализ структуры, соответствующей истине и логическому выводу. Таким образом, эти теории получают нетривиальный ответ на вопрос о том, что можно считать логической формой предложения. Теория истины не получает

определения логического следования или логической истины, но благодаря теории истины будет очевидным, что предложения определенного вида истинны только в силу свойств, придаваемых им логическими константами. Логические константы могут быть определены как те итеративные черты языка, что требуют рекурсивной предикации (clause) в определении истины или выполнимости. С этой точки зрения, логическая форма будет, конечно, соотноситься с выбранным метаязыком (и его логикой) и теорией истины.

Все, что я сказал до сих пор в защиту конвенции Т, может быть принято как формулировка в явном виде некоторых проблемных пунктов философии языка, и, с этой точки зрения, все вышесказанное приводит к решениям, обладающим явными достоинствами. Но почему мы должны принимать эту точку зрения? Может быть, какая-либо альтернативная конвенция сформулирует эти проблемы лучше? Доводы в оставшейся части статьи предназначены для ответа на эти вопросы.

Главной, если не единственной подлинной целью философии языка является понимание естественных языков. Можно многое сказать в пользу запрета на применение слова «язык» к системам символов, используемых в настоящее время или использовавшихся ранее: неинтерпретированные формальные системы не являются языками, так как им не хватает значений, а интерпретированные формальные системы лучше всего рассматривать в качестве дополнений или частей естественных языков, из которых они заимствуют свою систему значений.

Необходимой целью семантической теории является теория естественного языка, описанного на естественном языке (того или иного вида). Но, как указал Тарский, в некоторых очевидных случаях стремление к достижению этой цели ведет к парадоксу. Он писал: «Типичной чертой разговорного языка является... его универсальность. Духу этого языка не будет соответствовать возможность появления в какомлибо ином языке слова, непереводимого на него. Можно смело заявить, что „о том, о чем невозможно сказать вообще

ничего, мы можем сказать на разговорном языке". Если мы хотим поддерживать связь между этой универсальностью каждодневного языка и семантическими исследованиями, то мы должны, дабы не противоречить самим себе, включить в язык помимо его предложений и других выражений также и имена этих предложений и выражений, и предложения, содержащие эти имена, и такие семантические выражения, как „истинное предложение"...»[12]

Как только все это вводится в язык, тотчас появляются семантические антиномии. Следовательно, если мы ограничиваем себя методами Тарского, то идеал теории истины для естественного языка в терминах самого естественного языка недостижим. Тогда встает вопрос о том, как принести в жертву так мало, как возможно, и здесь теории, удовлетворяющие конвенции Т, представляются во многих отношениях наилучшим выбором. Теории этого типа могут наделить истинностный предикат необходимыми свойствами, не привлекая никаких концептуальных ресурсов помимо ресурсов того языка, к которому относится предикат. Только истинностный предикат (и предикат выполнимости) не может находиться в объектном языке. Здесь представляется необходимым требовать не более чем *теорию* истины; переход к эксплицитному определению только расширяет пропасть между объектным языком и метаязыком[13]. Однако если мы требуем теорию только такого типа, как мы обсуждали выше, тогда онтология метаязыка может быть той же, что и онтология объектного языка, а приращение в идеологии может быть сведено к семантическим понятиям.

Я думаю, Тарский прав в своем предположении о том, что мы думаем о естественных языках как о переводимых друг на друга в самом полном смысле слова (хотя я не вижу, как это влияет на проблему дословного перевода). Это предложение идеализирует гибкость и возможности расширения естественных языков, но в его пользу может быть приведен трансцендентальный аргумент (здесь я не буду его излагать[14]). Конвенция Т требует, чтобы каждое предложение объектного языка было переводимо в метаязык. Давление с

противоположной стороны коренится в желании рассмотреть, насколько возможно полно, находящиеся в нашем распоряжении лингвистические ресурсы.

Существуют теории, выраженные в полностью экстенсиональном метаязыке, пытающиеся осветить семантические свойства интенсионального объектного языка. Значение этих теорий основано на предпосылке, согласно которой объектный язык отражает важные свойства естественного языка. Но тогда возникает вопрос о том, каким образом мы понимаем метаязык, так как неясно, в каком смысле метаязык превосходит выразительную силу объектного языка. Для каждого «интенсионального» предложения объектного языка существует соответствующее ему экстенсиональное предложение метаязыка (о возможных мирах, двойниках и т. д.) с теми же самыми условиями истинности. В то же время должны быть метаязыковые предложения, на интуитивном уровне обладающие тем же содержанием, но не имеющие соответствующих им предложений объектного языка. Интенсиональность трактуется такими теориями как недостаток выразительной силы — тот недостаток, который мы научились восполнять при помощи самой теории[15]. Но если мы понимаем наш метаязык, то мы используем систему понятий и язык, для которых мы, *собственно говоря*, и хотим создать теорию более богатую, чем та, которая есть у нас с самого начала. И, к счастью, эта более богатая система, в силу своей экстенсиональности, не представляет никаких трудностей для теории истины, удовлетворяющей конвенции Т. (Я не касаюсь здесь того, действительно ли мы понимаем такие метаязыки.)

Семантическая теория, претендующая на применение к естественному языку, пусть и схематичное, должна быть по своей сути эмпирической и открытой проверке. На этих заключительных страницах я хочу набросать мои доводы в пользу того, что теория, удовлетворяющая конвенции Т, верифицируема содержательным образом.

Конечно, теория истины не считается эмпирической, если ее адекватность рассматривается только в терминах Т-

предложений, содержащихся в ней, а Т-предложения верифицируются только благодаря своей форме. Это происходит, если мы *допускаем*, что объектный язык содержится в метаязыке. Как только эта посылка ослабляется, теория может стать эмпирической. Ослабление посылки происходит в тот момент, когда утверждается, что теория применима к речи отдельного индивида или группы. Факт, говорящий о том, что объектный язык содержится в метаязыке, не говорит об отсутствии у теории эмпирического содержания. Скорее, сам этот факт можно рассматривать как подлежащий верификации.

Следовательно, в имеющих значение случаях мы не можем предполагать, что язык описания и описываемый язык совпадают. В самом деле, мы не можем использовать формальный критерий перевода, совершенно выпуская из виду вопрос эмпирического применения. Но что тогда произойдет с конвенцией Т? Как распознается Т-предложение в качестве такового, не говоря уже об его истинности?

Я предполагаю, что вышесказанного достаточно для признания истинности Т-предложений. Безусловно, этого однозначно и корректно достаточно для определения объема истинностного предиката. Это предположение говорит только о том, что для любого Т-предложения, если оно описывается как истинное, условия истинности задаются некоторым другим истинным предложением. Однако когда мы примем во внимание тягостную обязанность по согласованию истинных предложений с другими истинными предложениями во всем языке, мы поймем, что любая теория, принимаемая в рамках этого стандарта, может предоставить нам как свое следствие полезную инструкцию по последовательному переводу из объектного языка в метаязык. Нужное нам следствие является стандартным при построении теорий: извлечение богатого понятия (в нашем случае — нечто, в разумных пределах близкое к переводу) из редких фрагментов свидетельств (в нашем случае — истинностных значений предложений) при помощи наложения формальной структуры на достаточное количество этих фрагментов. Если мы

определяем Т-предложения только по их форме, как это делал Тарский, то возможно, используя методы Тарского, определить истину без использования семантических понятий. Если мы считаем Т-предложения верифицируемыми, тогда теория истины показывает, каким образом мы можем перейти от истины к чему-то наподобие значения — достаточно напоминающему значение, чтобы, в случае, если кто-либо придет к теории языка, верифицированной по предложенной мной модели, то он мог бы использовать этот язык для коммуникации[16].

Что заставляет исключать бесполезные на интуитивном уровне теории из множества теорий, соответствующих этому стандарту? Одним из главнейших достоинств этого подхода является то, что он затрагивает только явные черты предложений, оставляя в стороне анализ внутренней структуры. Разбор предложений на единичные термины, кванторы, предикаты, связки вместе с объединением предложений с объектами в определении выполнимости должен рассматриваться как всего лишь теоретическая конструкция, подлежащая проверке только по своей успешности в предсказании истинности предложений[17].

Один важный, да по сути дела, важнейший фактор, превращающий теорию истины в заслуживающую доверия теорию интерпретации, — это релятивизация по отношению ко времени и носителю языка. Когда имеются в наличии индексальные или указательные элементы, предложения не могут быть истинными или ложными, а только относящимися ко времени и носителю языка. В качестве альтернативы этому мы можем оставить истину как свойство не предложений, а высказываний и речевых актов. Они, в свою очередь, могут быть идентифицированы с определенными упорядоченными тройками предложений, времени и носителей языка. Существуют тонкие проблемы, связанные с выбором между этими альтернативами, но их я пока обойду стороной. На настоящее время ключевой момент состоит в том, что теория, придающая значение истинности подходящим предложениям в подходящее время и в подходящих устах, будет намного

ближе к теории, корректно интерпретирующей предложения, чем теория, не принимающая во внимание дополнительные параметры. Фактически, нечто, непосредственно связанное с объемом открытого предложения «Fx» будет получено, если мы узнаем условия истинности «Существует x такой, что Fx».

Предложение метаязыка, выражающее (релятивизированные) условия истинности предложения, содержащего индексальные элементы, не может обладать формой Т-предложения даже в том случае, если мы отбросим требование чисто синтаксического критерия отношения между описываемым предложением и предложением используемым. Трудность заключается в том, что переменные варьируются от индивидов к моментам времени, а переменные вводятся для согласования релятивизации и должны появляться в определении условий истинности. Истинность относительно индивида и времени начинает напоминать истину в модели.

Отсюда следует, что интересующее нас различие между теорией истины в модели и теорией «абсолютной» истины не может быть описано, как я предполагал ранее, при помощи указания на то, что в последней, но не в первой, истина определяется для каждого предложения s без привлечения средств, уже не имеющихся в s. Основанием для этого служит, как мы только что видели, релятивизация «абсолютной» истины при применении ее к естественному языку. Несмотря на это, различие все-таки остается, и я считаю его весьма важным. Верификация примеров Т-предложений, или, скорее, их суррогатов в теории, релятивизированной по отношению к носителям языка и времени, остается в достаточной мере эмпиричной. Без сомнения, придется принять что-либо наподобие прагматического понятия *демонстрации* носителей языка, времени и объектов. Но такое понятие мы можем надеяться объяснить без привлечения понятий истины, значения, синонимии или перевода. Нельзя, однако, сказать того же об истине в модели. Конвенция Т, даже при ее склонности к огрублению естественного языка, указывает путь к радикальной теории интерпретации.

ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ

6. ЦИТАТА

Цитата есть инструмент, используемый для указания на типографические или фонетические формы посредством демонстрации их образцов, то есть надписей или высказываний (utterances), имеющих эти формы. Это определение — и широкое, и неясное: достаточно широкое, чтобы включать не только написанные кавычки и такие произнесенные фразы, как «и я цитирую», но также цитаты, показываемые с помощью пальцев, которые часто используют философы, осужденные читать вслух то, что они написали; и оно достаточно неясное, чтобы оставлять открытым вопрос о том, демонстрируют ли форму цитаты слова, начинающие это предложение («Это определение»).

В цитате язык не просто направлен на самого себя, но делает это с каждым словом и выражением, и этот рефлексивный излом неотделим от удобства и универсальной применимости данного инструмента. Этого уже достаточно, чтобы привлечь интерес философа языка; но здесь также заметны связи с другими областями, вызывающими интерес, такими, как предложения о пропозициональных установках, явные перформативные выражения и изобразительные теории референции. Если при сравнении проблемы, вызываемые цитатами, кажутся тривиальными, мы можем приветствовать обнаружение легкого входа в лабиринт.

Когда я был посвящен в тайны логики и семантики, цитату обычно вводили как некий подозрительный инструмент, и это введение сопровождалось строгой проповедью о грехе перепутать употребление с упоминанием выражений. Связь между цитатой, с одной стороны, и различием между употреблением и упоминанием, с другой, очевидна, так как выражение, которое было бы употреблено, если бы один из его маркеров появился в нормальном контексте, упоминается, если один из его маркеров появляется в кавычках (или

каком-то сходном изобретении для цитаты). Приглашение согрешить, возможно, объясняется легкостью, с которой кавычки можно не заметить или опустить. Но осуждение цитирования часто звучит как еще более мрачный сигнал. Так, Тарский в статье «Понятие истины в формализованных языках» исследует возможности артикулированной теории цитирования и решает, что она ведет, по меньшей мере, к абсурду, двусмысленности и противоречию[1]. Куайн в работе «Математическая логика» пишет: «Скрупулезное использование кавычек — главное практическое средство против путаницы между объектами и их именами...», — но затем он добавляет следующую цитату, — «...имеет некоторую аномальную черту, требующую особой осторожности: с точки зрения логического анализа каждая целая цитата должна считаться единичным словом или знаком, части которого представляют собой просто элементы шрифта или слоги. Цитата есть не *дескрипция*, а *иероглиф*; он обозначает свои объекты не только благодаря описанию в терминах других объектов, но и посредством их изображения. Значение такого целого не зависит от значений составляющих его слов»[2].

И Чёрч, хваля Фреге за его осторожное обращение с цитатой во избежание экивокации, сам избегает цитирования вследствие того, что оно «вводит в заблуждение», «практически неуклюже... и допускает неудачные употребления и недопонимания»[3]. Здесь, таким образом, содержится больше, чем намек на то, что в цитате есть что-то темное или путанное. Но это не может быть верно. С самим инструментом все в порядке. Неадекватны или запутанны наши теории о том, как он работает.

Часто говорят, что в цитате цитируемые выражения упомянуты, но не употреблены. Первая часть этого утверждения в какой-то мере ясна. Подозрение вызывает вторая часть, говорящая о том, что цитируемые выражения не употребляются. Почему включение в цитату не является употреблением выражения? Правдоподобный ответ, конечно, состоит в том, что *в некотором* смысле это — употребление, а именно в том, в котором употребляется цитируемый материал, но этот

смысл употребления в цитате не связан со *значением* этого материала в языке, следовательно, цитируемый материал не употребляется как часть языка.

Этот ответ все еще не может разрешить наши сомнения. Ведь одно дело — наличие трудных случаев, в которых удобно как употреблять, так и упоминать одно и то же выражение, произнося или записывая единичный маркер этого выражения. Когда-то я принял непротиворечивый метод употребления цитат в моих профессиональных работах. Мой план состоял в употреблении единичных кавычек, когда я хотел указать на выражение, маркер которого был в этих кавычках, и — двойных кавычек, когда я хотел употребить выражение с его обычным значением, указывая в то же время на странность или особенность слова. Мне стыдно признаться, что я сражался с этой абсурдной и неработоспособной формулой пару лет, прежде чем меня осенило, что вторая категория содержит в себе семена своего собственного разрушения. Рассмотрим, например, пассаж, приведенный ранее в этой статье, где я говорю примерно следующее:

> Куайн говорит, что цитата «...имеет некоторую аномалию».

Употреблены или упомянуты цитируемые слова? Очевидно, упомянуты, поскольку это — слова самого Куайна, а я хочу указать на факт. Но равным образом, очевидно, что эти слова употреблены, если бы это было не так, следующее за словом «цитата» было бы единичным термином, а этого не может быть, если я произвел грамматическое предложение. Также не просто перефразировать мои слова так, чтобы устранить эту трудность. Например, недостаточно написать: «Куайн употребил слова „...имеет некоторую аномалию“ из цитаты», так как этим не охватывается то, что он имел в виду под этими словами.

Вот другой случай смешения употребления и упоминания, которые не так легко отделить одно от другого:

> Дхаулагири примыкает к Анапурне, горе, покорение ко-

торой описал Морис Эрцог в своей книге с тем же названием.

Последняя фраза — «с тем же названием» — не может означать то же название, что имеет гора, потому что гора имеет много названий. Скорее, она означает то же название горы, как использованное ранее в предложении. Я бы назвал это случаем цитаты в собственном смысле, поскольку предложение указывает на выражение, демонстрируя маркер этого выражения, но кавычек здесь нет.

Или рассмотрим такой случай:

Правила Клаутинга и Дрэгофа применяются в этом порядке[4].

Временно оставим эти примеры как нестандартные и, возможно, допускающие исправление; сейчас существует способ, уже ставший стандартным, поддержки идеи о том, что в цитате цитируемый материал не употребляется. Это — интерпретация цитаты, предложенная Тарским как единственная, которую он может защищать. Согласно этой интерпретации, цитата, состоящая из выражения, заключенного в кавычки, подобна единичному слову и должна пониматься как логически простая. Буквы и пробелы в цитируемом материале рассматриваются как события в произнесении более длинного слова и, следовательно, как не имеющие значения сами по себе. Имя, создаваемое посредством кавычек, говорит Тарский, подобно собственному имени человека[5]. Я буду называть это *теорией* цитаты *как собственного имени* (proper-name theory of quotation). Чёрч приписывает такую же идею или, по меньшей мере, метод одинаковой значимости, Фреге. Чёрч пишет: «Фреге первый стал систематически указывать автономию, используя для этого кавычки, и в его поздних работах (хотя еще не в *Begriffsschrift*) слова и символы, употребленные автономно, во всех случаях заключены в одинарные кавычки. При этом слово, заключенное в одинарные кавычки, приходится считать отличным от того же слова, не заключенного в кавычки (как если бы кавычки были допол-

нительными буквами в написании слова), и, таким образом, двусмысленность устраняется путем введения двух различных слов, соответствующих различным значениям»[6].

Если я не ошибаюсь, этот пассаж представляет собой обычную путаницу. Ведь, какое выражение, согласно взгляду, который Чёрч приписывает Фреге, указывает на слово, маркер которого появляется в кавычках? Это — само это слово (учитывая контекст) или цитата как целое? Черч утверждает, что и то, и другое, хотя они не могут быть тождественны. Это — само слово, поскольку выражение в кавычках имеет значение, отличающееся от его обычного значения; оно «понимается как другое слово», употребляемое «автономно». И это — цитата как целое, поскольку кавычки — часть произношения.

Куайн неоднократно в красках расписывал достоинства идеи цитаты как неструктурированного единичного термина. Он не только отрицал, как уже упоминалось, что цитаты суть дескрипции, но и утверждал, что буквы в кавычках в цитате фигурируют «...только как фрагмент более длинного имени, содержащего, помимо этого фрагмента, две кавычки»[7].

Достоинством этого подхода к цитате является признание значимости того факта, что референция цитаты не может толковаться как следствие, по крайней мере, какого-либо нормального вида, референции выражений, стоящих в кавычках. Но мне кажется, что в качестве описания принципа действия цитаты в естественном языке этот подход страдает серьезным недостатком. Если цитаты суть не имеющие структуры единичные термины, то в *категории* имен, образуемых кавычками, будет не больше надобности, чем в категории имен, начинающихся с и заканчивающихся буквой «а» («Атланта», «Алабама», «Альберта[8]», «Афины» и т. д.). С этой точки зрения между выражением и именем этого выражения, образуемым кавычками, нет никакой связи помимо случайного сходства их орфографии. Если мы примем эту теорию, мы ничего не потеряем, подставив на место каждого имени, образуемого кавычками, какое-нибудь произвольно

взятое имя, так как это — свойство собственных имен. И, таким образом, постольку, поскольку принимается эта теория цитаты, от кажущихся такими ясными неформальных правил, управляющих цитированием, не остается и следа: если хочется сформировать имя выражения при помощи кавычек, можно охватить это выражение кавычками, и это имя будет указывать на то, что стоит «внутри него» в кавычках (по Куайну). Также при этом ничего не остается от интуитивно привлекательного представления, что цитата каким-то образом изображает цитируемое в ней.

Эти возражения сами по себе достаточны для того, чтобы бросить тень сомнения на утверждение Тарского, что эта интерпретация цитаты — «...самая естественная и полностью согласуется с обычными способами использования кавычек...»[9]. Но есть и другое и, я думаю, решающее возражение, которое заключается в том, что с помощью этой теории мы не можем удовлетворительно описать условия, при которых произвольное предложение, содержащее цитату, истинно. В адекватной теории каждое предложение трактуется как обязанное своей истинностью или ложностью тому, как она построена из конечного набора частей путем последовательного применения конечного числа способов их объединения. Конечно, существует бесконечное число имен, образуемых кавычками, так как каждое выражение имеет свое собственное имя такого вида и существует бесконечно много выражений. Но с точки зрения рассматриваемой теории цитаты такие имена не имеют значимой структуры. Из этого следует, что нельзя добиться того, чтобы теория истины могла в целом охватывать предложения, содержащие цитаты. Мы должны отвергнуть интерпретацию цитаты как разновидности собственного имени, если нам нужна приемлемая теория языка, содержащего цитаты[10].

Теперь я обращусь к совсем другой теории цитаты, которая может быть названа *теорией* цитаты как *изображения* (*picture theory* of quotation). Согласно этому взгляду указывает на выражение не целая цитата, то есть именуемое выражение плюс кавычки, а скорее, само выражение. Роль кавычек со-

стоит в том, чтобы указывать (indicate) на то, как нам следует понимать выражение внутри: кавычки конституируют лингвистическое окружение, в котором выражения делают что-то особенное. Таково, вероятно, было представление Рейхенбаха, сказавшего, что кавычки «...преобразуют знак в имя этого знака»[11]. Куайн также предлагает эту идею, когда пишет, что цитата «...обозначает свой объект... изображая его»[12], поскольку, конечно, только о внутренней части цитаты можно сказать, что она подобна выражению, на которое указывает цитата (кавычки не входят в изображение – они составляют рамку). И Чёрч также в только что рассмотренном отрывке играет с таким пониманием теории Фреге, что согласно ей «слово, заключенное в единичные кавычки следует трактовать как другое слово», употребленное «автономно», а именно так, чтобы именовать себя самое.

Следует допустить, что три только что упомянутых автора в вышеуказанных отрывках колеблются между теорией цитаты как собственного имени и ее теорией как изображения. Тем не менее эти теории явно различны; итак, имея в виду недостатки теории цитаты как собственного имени, мы должны рассматривать саму по себе теорию цитаты как изображения. На первый взгляд она обещает два удачных решения: она приписывает цитатам *некоторую* структуру, поскольку трактует их как составленные из кавычек (создающих фон, на котором раскрывается их содержание) и цитируемого материала. И она намекает, обращаясь к отношению изображения, на теорию, которая будет использовать наше интуитивное понимание того, как работает цитата.

Эти кажущиеся достоинства тускнеют при ближайшем рассмотрении. Трудность состоит в следующем. Требуется объяснить, как цитата позволяет нам указывать на выражения, изображая их. Но согласно данной теории, кавычки создают контекст, в котором выражения указывают сами на себя. Как же тогда в этой теории работает процедура изображения? Если выражение в кавычках указывает на себя, тот факт, что она также изображает себя, оказывается просто нерелевантным и отвлекающим внимание.

Поможет ли делу утверждение, что кавычки создают контекст, в котором нам следует видеть в содержании изображение того, на что указано? Вовсе нет, это — просто тенденциозный способ сказать, что выражение указывает само на себя. Короче говоря, если уж содержанию цитаты приписана стандартная лингвистическая роль, тот факт, что она случайно похожа на что-то, имеет не большее значение для семантики, чем звукоподражание или тот факт, что слово «многосложное» является многосложным.

Мы могли здесь упустить и еще один важный момент. Отношение изображения между объектом и самим собой вряд ли представляет какой-то интерес, а теория в том виде, как мы ее интерпретируем, напрасно тщится придать яркость этой тусклой идее. Между тем, в цитате ощущается более интересное отношение изображения — не между выражением и выражением. Именно тот факт, что у нас есть перед собой на странице или в воздухе нечто, *имеющее* форму — написанный или произнесенный маркер — позволяет нам указывать в цитате на определенное выражение, которое мы можем рассматривать как абстрактную форму. Теория цитаты как изображения не предлагает никакого способа сделать надпись или высказывание изображением. Это можно сделать только посредством описания, именования или указания на соответствующий маркер, но никакого механизма достижения этой цели не было предложено.

Теория цитаты как изображения напоминает теорию непрозрачных контекстов Фреге, контекстов, которые он называл непрозрачными и которые включают контексты, созданные выражениями «необходимо», «Джонс полагает, что...», «Галилей сказал, что...», и т. д. Но есть заметное различие между анализом этих контекстов, предложенным Фреге, и анализом цитаты теорией изображения: в цитате слова могут изменить свою часть речи (так как каждое выражение становится именем или дескрипцией), тогда как в других контекстах этого никогда не происходит, и в цитате, в отличие от других непрозрачных контекстов, бессмыслица имеет смысл. Но бросающееся в глаза сходство между этими дву-

мя видами контекстов состоит в том, что в обоих случаях предполагается, что какой-то лингвистический аппарат создает контекст, в котором слова играют новые референциальные роли. Это представление о контексте, изменяющем референцию, так и не было нормально объяснено, и сам Фреге понимал, что, конечно, оно не допускает прямого толкования в терминах теории истины. Проблема с теорией изображения так же, как и с прочтением Фреге непрозрачных контекстов вообще, состоит в том, что приписываемые словам или выражениям в их специальных контекстах референции не являются функциями из референций в обычных контекстах, а следовательно, выражения создающие специальные контексты (вроде кавычек или слов «сказал, что»), нельзя рассматривать как функциональные выражения[13].

Центральным дефектом теории цитаты как собственного имени было то, что, понимая цитаты как правильно построенные выражения языка, она не смогла предложить привлекательную теорию, которая показывала бы, как каждое из бесконечного числа таких выражений обязано референцией своей структуре. Только что завершенный эксперимент показал возможность рассмотрения цитат как имеющих семантически значимую структуру. Мы будем двигаться в этом направлении и далее.

Гич долгое время настаивал на том, что цитаты на самом деле представляют собой *дескрипции* и поэтому имеют структуру, и жаловался на те же недостатки теории цитаты как собственного имени, что и я[14] (хотя он не связывает свои сожаления с востребованностью теории истины). Его теория, как я ее понимаю, такова. Единичное слово в кавычках именует себя самое, это — новый элемент словаря, и он не является семантически сложным элементом (я не уверен, высказывает ли Гич это последнее утверждение). До сих пор его теория подобна теории цитаты как собственного имени. Но закавыченное более длинное выражение представляет собой структурированную дескрипцию. Так, «„Алиса упала в обморок“» является сокращением для «„Алиса“^„упала-в-обморок“»[15], читающееся так: «выражение, получающееся напи-

санием «„Алиса“», за которым следует «„упала-в-обморок“». Эта теория сохраняет достоинства более ранней теории Фреге, но гораздо проще и более естественна. (Ее можно назвать *орфографической теорией* цитаты (the *spelling theory* of quotation.)

Как Тарский, так и Куайн подразумевают, что видят возможность подобной теории. Так, Тарский замечает, что если мы принимаем теорию цитаты как имени, то имена, образуемые кавычками, могут быть везде устранены и заменены структурно-дескриптивными именами[16]; в то же время Куайн допускает, что мы можем избавиться от непрозрачности цитаты, как только нам это понадобится, обратившись к расшифровке[17]. Аппарат, который оба имеют в виду, напоминает аппарат Гича за тем исключением, что Гич считает элементарными терминами слова, в то время как Тарский и Куайн рассматривают в качестве таковых индивидуальные буквы и символы. Результат же для сокращений обычной цитаты в обоих случаях один и тот же. С точки зрения символики базовых элементов, вскрывающей всю структуру, Гичу легче производить запись цитаты (поскольку только каждое слово нуждается в кавычках), но труднее учить и описывать язык (его базовый словарь имеет вдвое больший по сравнению с нормальным размер, если не учитывать итерацию).

Распространение определения истинности на предложенные Куайном, Тарским и Гичем способы расшифровки не представляет собой никакой трудности, но при этом можно рассматривать эти способы как просто сокращаемые в обычной цитате. Этот тезис простого сокращения может быть поддержан описанием машинного метода перехода от одного стиля записи к другому и обратно. Так, имея имя, образованное кавычками, «„Алиса упала-в-обморок“», машина начинает с того, что воспроизводит слева первые кавычки, потом букву «А», потом следующий набор кавычек, потом знак связи и еще один набор кавычек, и так далее пока не доходит до исходного набора кавычек. Машина воспроизводит их и останавливается. В результате получится: «А»^«л»^«и»

^«с»^«а»^пробел^«у»^«п»^«а»^«л»^«а»^«-»^«в»^«-»^«о»^«б»^«м»^«о»^«р»^«о»^«к».

Поскольку две формы записи механически взаимно заменимы, нет оснований не считать эти семантики равнозначными: следовательно, эту теорию *можно* рассматривать как теорию того, как цитата работает в конкретном языке[18] (ее модификации будут работать в других языках). Но будет ли это правильной теорией обычной цитаты? Есть ряд оснований ответить, что нет.

В первую очередь, заметим, что появление кавычек в расширенной символике случайно. Действие теории состоит в идентификации конечного набора элементов (слов или букв), из которых состоит каждое выражение описываемого языка. Следом вводятся неструктурированные личные имена этих элементов вместе с символами для связей. Такая теория тоже работает и меньше вводит в заблуждение, если вообще отбросить кавычки и ввести новые имена строительных блоков [этого языка]. В качестве иллюстрации (следуя методу Гича) предположим, что слово «Алиса» именуется словом «алс», а слово «упала-в-обморок» — словом «уп», тогда «Алиса упала-в-обморок» будет описываться как:

алс^уп

или, используя метод Куайна:

а^эль^и^эс^а^пробел^у^пэ^а^эль^а^дефис^вэ^дефис^о^бэ^эм^о^эр^о^кэ.

Это маленькое упражнение имело целью подчеркнуть тот факт, что эта теория никак не схватывает идею *кавычек* — идею, заключающуюся в том, что можно сформировать имя произвольного выражения, заключив его в кавычки. Согласно орфографической теории цитаты никакой артикулированный элемент словаря не соответствует кавычкам и поэтому теория не может отражать правила их использования. Машина просто знает наизусть имя каждого мельчайшего выражения. Ясно, что при этом теряется существенный элемент идеи цитаты — что она изображает цитируемое.

Убедительный способ увидеть, что релевантно и что нерелевантно структуре – постараться применить экзистенциальное обобщение и замещение тождества. Стандартный путь демонстрации того, что цитата в нормальном ее употреблении прямо не показывает свою структуру, состоит в том, чтобы пронаблюдать, что из:

«Алиса упала-в-обморок» есть предложение

мы не можем вывести

($\exists x$)(«x упала-в-обморок» есть предложение).

Также, предполагая, что «алс» именует слово «Алиса», мы не можем вывести ни:

«алс упала-в-обморок» есть предложение

ни:

алс^«упала-в-обморок» есть предложение.

Но (используя версию орфографической теории, предложенную Гичем), мы *можем* перейти от:

«Алиса упала-в-обморок» есть предложение

к:

«Алиса»^«упала в обморок» есть предложение

и, следовательно, к:

алс^»упала-в-обморок» есть предложение

и затем к:

($\exists x$)(алс^x есть предложение)

или:

($\exists x$)(x^«упала в обморок» есть предложение).

В версии Куайна мы могли бы перейти от:

«Алиса» есть слово

к:

«А»^«л»^«и»^«с»^«а» есть слово

и к:

$(\exists x)(\exists y)(x$^«л»^«и»^y^«а» есть слово).

Эти отклонения ясно показывают, что кавычки не играют жизненно важной роли в орфографической теории, а также — что эта теория не представляет собой теорию того, как кавычки работают в естественном языке.

Один существенный элемент изображения был утрачен, но, возможно, не все, так как орфографическая теория цитаты, кажется, зависит от того, воспроизводит ли описание сложного выражения последовательность описываемых выражений. В описании, обеспечиваемом теорией, имена конкретных выражений не обязаны быть похожими на то, что они именуют, но в описании как целом имена связанных друг с другом выражений сами связаны между собой.

Но даже этот остаток идеи изображения не имеет большого значения. Сами описания, которые производит орфографическая теория, с точки зрения полностью артикулированного языка суть простые сокращения чего-то более сложного, где последовательность выражений вполне может быть изменена. Я думаю, нам следует заключить, что орфографическая теория цитаты не связана с представлением о том, что мы понимаем цитаты как изображающие выражения.

Есть и другие важные употребления цитаты в естественном языке, которые нельзя объяснить орфографической теорией и охватить языком, сконструированным предлагаемым ею способом. Орфографическая теория не может, по крайней мере каким-либо очевидным образом, справиться с теми смешанными случаями употребления и упоминания, которые мы обсуждали прежде, а также — конечно, ни с каким случаем, если он выглядит зависимым от демонстративной референции к высказыванию или записи. Важным употреблением цитаты в естественном языке является введение новой символики путем постановки ее в кавычки; с точки зрения орфографической теории невозможно, чтобы новые

символы не состояли из элементов, имеющих имена. В рамках орфографической теории мы также не можем употреблять цитату для обучения иностранному языку, если он опирается на другой алфавит или символику, например, кхмерский или китайский. Поскольку все это — функции, легко выполняемые обычной цитатой (неважно, с кавычками или нет), мы не можем согласиться с тем, что орфографическая теория дает адекватное описание цитаты в естественном языке.

Мы выявили список важнейших условий, которым должна удовлетворять компетентная теория цитаты. Первое состоит в том, что, подобно теории для любого аспекта языка, она должна сочетаться с общей теорией истины для предложений этого языка. Другие условия относятся только к цитате. Одно из них состоит в том, что теория должна позволять *аппарату* цитаты (кавычкам или их эквивалентам в речи) играть артикулированную семантическую роль. Когда мы учимся понимать цитату, мы учим правило с бесконечным перечнем применений: если кто-то хочет указать на выражение, он может сделать это, поместив маркер этого выражения в кавычки. Приемлемая теория должна как-то объяснить эту часть практических знаний. И наконец, приемлемая теория должна объяснить смысл, в котором цитата изображает то, на что она указывает, иначе она будет неадекватно объяснять важные применения цитаты, например, введение новых элементов символики и нового алфавита.

Не трудно создать подходящую теорию, если ясны предъявляемые к ней требования. Главная трудность происходит, как теперь уже вроде бы ясно, из-за одновременного предъявления требований, чтобы мы приписывали цитатам артикулированную структуру и чтобы они в то же время изображали то, что они упоминают. В качестве артикулированной лингвистической структуры здесь может выступать структура дескрипции, а описание, похоже, предвосхищает нужду в изображении. Требование структуры является производным от подлежащего ему требования иметь теорию значения, которая здесь мыслится как теория истинности;

все, что нужно — это достаточная структурированность для применения рекурсивного определения истинностного предиката. Но все же достаточная структурированность будет слишком сильным требованием, если мы считаем цитируемый материал частью семантически значимого синтаксиса предложения. Лекарство, следовательно, состоит в отказе от этой предпосылки.

Естественно полагать, что слова, фигурирующие в предложении, суть законные части этого предложения, а в случае цитаты мы согласились, что слова в кавычках помогают нам указывать на эти самые слова. Но я предлагаю не считать слова в кавычках частью предложения с семантической точки зрения. На самом деле, говорить о них как о словах значит порождать путаницу. То, что появляется в кавычках — это не форма, а *надпись*, и она нужна для того, чтобы помогать указывать на свою форму. Согласно моей теории, которую можно назвать *демонстративной теорией* цитаты, надпись внутри цитаты вообще ни на что не указывает и не является частью чего-либо, указывающего на что-либо. Скорее, все указание выполняется кавычками, и это они помогают указывать на форму, указывая на что-то, ее имеющее. С точки зрения демонстративной теории ни цитата как целое (кавычки плюс то, что их заполняет), ни ее содержание, взятое отдельно, не представляют из себя единичного термина, разве что случайно. Единичным термином являются кавычки, которые можно расшифровать так: «выражение, маркер которого приведен здесь». Или, по другому, чтобы подчеркнуть то, как, можно теперь сказать, здесь полностью задействовано изображение, его можно расшифровать так: «выражение, форма которого здесь изображена».

Утверждение, что эта теория отрицает тот факт, что цитируемый материал синтаксически представляет собой часть предложения, содержащего цитату, не дискредитирует ее. Поставленный в отдельности от семантики, вопрос местоположения тривиален. В произнесенных предложениях временная последовательность играет роль линейного упорядочивания при письме. Но если я говорю: «Я поймал вот та-

кую большую рыбу» или «Я поймал эту рыбу сегодня», мои руки или рыба не становятся частью моего языка. Мы легко могли бы убрать цитируемый материал из сердцевины предложения. Цитата — это инструмент указания на надписи (или высказывания), и он может быть использован и часто используется для указания на надписи или высказывания, пространственно или темпорально расположенные вне цитирующего предложения. Таким образом, если я сопровождаю ваше замечание словами «Большей истины еще никогда не утверждалось», я указываю на выражение, но делаю это путем обозначения воплощения этих слов в высказывании. Кавычки могут быть переделаны так, чтобы устранить цитируемый материал из предложения, в котором они не играют семантической роли. Так, вместо:

> «Алиса упала в обморок» есть предложение

можно написать:

> Алиса упала в обморок. Выражение, маркером которого это является, есть предложение.

Представьте себе, что маркер «это» замещен указанием пальцем на маркер «Алиса упала в обморок».

Я считаю очевидным, что демонстративная теория приписывает предложениям, содержащим цитаты, структуру, непосредственно описываемую теорией истинности, — разумеется, предполагая, что у нас вообще есть способ охватить этой теорией указательные термины, а по этому поводу я уже постарался показать, почему не составляет никакой реальной трудности размещение в формальной теории истинности указательных или индексальных элементов[19]. Наконец, очевидно, что изобразительное свойство цитаты было использовано и объяснено. Таким образом, демонстративная теория также санкционирует употребление цитаты для введения новых элементов текста и обсуждения языков с новыми алфавитами. В заключение я рассмотрю, как эта теория справляется со смешанными случаями употребления и упоминания, установленными прежде.

Я сказал, что для демонстративной теории цитируемый материал не является с семантической точки зрения частью цитирующего предложения. Но это утверждение — сильнее требуемого или желаемого. Аппарат указания может быть применен к чему бы то ни было, что находится в радиусе действия указателя, и почему бы надписи в активном употреблении не быть предметом указания в процессе упоминания выражения. Я уже выделил важную разновидность таких случаев, а их еще существует очень много. («Обрати внимание на то, что я собираюсь сказать», «Почему ты использовал эти слова?» и т. д.) Любой маркер может служить мишенью цитирования, так что, в частности, цитирующее предложение может в конечном счете случайно содержать маркер нужной для целей цитирования формы. Такие маркеры тогда делают двойную работу: одну — как значимые винтики в механизме предложения, другую — как семантически нейтральные объекты употребительной формы. Так:

> Куайн сказал, что цитата «...имеет определенную аномальную черту»

можно понимать более эксплицитно как:

> Куайн сказал, используя слова, маркерами которым являются данные, что цитата имеет определенную аномальную черту.

(Здесь «данные» сопровождаются указанием на маркер слов Куайна.) Что касается Анапурны, то:

> Дхаулигири находится вблизи от Анапурны, горы, покорение которой Морис Эрцог описал в книге, название которой имеет эту форму (следует указание на маркер «Анапурна»).

Наконец:

> Правила Клотинга и Драгофа применяются в той последовательности, в которой появляются эти маркеры (следует указание на маркеры «Клотинг» и «Драгоф»).

7. О МЕСТОИМЕНИИ «ЧТО»[1]

«Хотел бы я сказать это», — сказал Оскар Уайльд, восхищаясь одной из острот Уистлера. Уистлер, не ждавший ничего хорошего от оригинальности Уайльда, бросил в ответ: «Ты скажешь, Оскар, скажешь»[2]. Эта история напоминает нам, что такое выражение, как «Уистлер said that», может в ряде случаев служить в качестве грамматически полного предложения. Я предлагаю видеть в этом ключ к правильному анализу косвенной речи, открывающий путь к анализу психологических предложений вообще (предложений о так называемых пропозициональных установках), и даже — ключ к тому, что отличает психологические понятия от всех прочих, хотя последнее выходит за рамки обсуждаемых в этой статье вопросов.

Но начнем мы с предложений, которые обычно считаются более репрезентативными в отношении *oratio obliqua* — например, «Галилей сказал, что земля вертится» или «Скотт сказал, что Венера — меньшая планета». Проблема, связанная с такими предложениями, состоит в том, что мы не знаем их логической формы. А признать это — значит признать, что мы не знаем о них главного, независимо от того, что еще мы можем о них узнать. Если мы примем поверхностную грамматику как путеводитель к логической форме, мы увидим, что «Галилей сказал, что земля вертится» содержит предложение «земля вертится», и что это предложение, в свою очередь, состоит из единичного термина «земля» и предиката «вертится». Но, если «земля» в этом контексте есть единичный термин, то он может быть замещен любым другим единичным термином, указывающим на ту же самую вещь в той мере, в какой имеется в виду истинность или ложность содержащего его предложения. И все же то, что кажется подходящей заменой, способно изменить истинность исходного предложения.

Печально известная неправильность этого шага может быть только кажущейся, так как правило, на котором он основывается, всего лишь делает явным то, что имплицитно включено в идею (логически) единичного термина. Тогда только два направления объяснения остаются открытыми: мы ошибаемся либо в отношении логических форм, либо в отношении референции единичного термина.

То, что кажется аномальным поведением мнимых единичных терминов, ставит проблему упорядоченного описания косвенной речи, но не исчерпывает ее. Ведь все, что касается единичных терминов, касается того, что они означают, а это может быть все, что угодно: кванторы, переменные, предикаты, связки. Единичные термины указывают либо претендуют на указание на сущности, включенные в область значения переменных квантификации, и именно относительно этих сущностей предикаты принимают значение истинности или ложности. Поэтому нас не должно удивлять, что, если нам трудно заменить в предложении «Скотт сказал, что Венера — меньшая планета» «Венера» на «Вечерняя звезда», нам также трудно заменить выражением «идентичная Венере или Меркурию» равное по объему выражение «меньшая планета». Трудности косвенной речи не могут быть устранены простым запретом на единичные термины.

Что нам следует требовать от адекватного описания логической формы предложения? Я бы сказал, что, помимо прочего, такое описание должно подвести нас к усмотрению семантического характера предложения — его истинности или ложности. И только в той мере, в какой этот характер обязан тому способу, которым это предложение составлено из элементов, взятых из конечного набора (словаря), достаточного для языка в целом при помощи использования некоторых из конечного числа приемов, достаточного для языка в целом. Увидеть предложение в таком свете — значит увидеть его в свете теории его языка, теории, которая дает форму каждому предложению в этом языке. Такая теория создается при помощи рекурсивного определения истинностного предиката по методу, предложенному Тарским[3].

Два тесно связанных между собой соображения поддерживают идею, что структура, которой предложение наделяется теорией истины в стиле Тарского, заслуживает названия логической формы предложения. Предлагая такую теорию, мы убедительно демонстрируем, что язык, хотя и состоит из неопределенно большого числа предложений, может быть понят существом, чьи возможности ограниченны. Можно сказать, что теория истины обеспечивает эффективное объяснение семантической роли каждого значимого выражения в каждом из его появлений. Вооруженные теорией, мы всегда можем ответить на вопрос: «Что эти знакомые слова здесь делают?», путем указания на тот вклад, который они вносят в условия истинности предложения. (Это не значит приписать «значение», тем более, референцию каждому значимому выражению.)

Изучение логической формы предложений часто рассматривается с иной точки зрения, а именно, с точки зрения ускорения вывода. Согласно этому подходу, придать предложению логическую форму значит составить список свойств, соответствующих его месту на логической сцене и определяющих то, следствием каких предложений является данное и какие предложения являются его логическими следствиями. Каноническая нотация графически кодирует необходимую информацию, делая теорию вывода простой, а практику — по возможности механизированной.

Очевидно, эти два подхода к логической форме не могут приводить к совершенно не связанным между собой результатам, поскольку логические следствия определяются в терминах истинности. Сказать, что второе предложение является логическим следствием первого, — значит сказать примерно то же самое, что второе истинно, если истинно первое, вне зависимости от интерпретации нелогических констант. Поскольку то, что мы считаем логической константой, может изменяться независимо от множества истин, ясно, что две разновидности логической формы, хотя и связаны между собой, не обязаны быть тождественными. Связь между ними, коротко говоря, выглядит так. Любая теория

истины, удовлетворяющая критериям Тарского, должна учитывать все те присущие языку механизмы повторения, которые влияют на истинность. В знакомых языках, для которых мы знаем метод определения истины, базисные повторяющиеся приемы сводимы к сентенциальным связкам, аппарату квантификации и оператору дескрипции, если он является базовым. Если одно предложение является логическим следствием другого только на основании структуры квантификации, то тогда следствием из теории истины будет истинность второго предложения как следствие истинности первого. Тогда нет смысла не включать выражения, определяющие структуру квантификации, в число логических констант, так как, если мы определили истинность, от которой зависит любое описание логического следствия, мы уже обязали себя ко всему, к чему могло бы обязать нас называние таких выражений логическими константами. Добавление к этому списку логических констант увеличит перечень логических истин и отношений следования сверх того, что требует определение истинности, и, таким образом, повлечет за собой версии логической формы, более широкие по объему. Однако для целей данной статьи мы можем остаться верными самым аскетическим интерпретациям логического следствия и логической формы, тем, к которым нас вынуждает теория истины[4].

Теперь мы можем объяснить нашу апорию, касающуюся косвенной речи. Происходит следующее: только что рассмотренное отношение между истинностью и логическим следованием, похоже, нарушается. В таком предложении, как «Галилей сказал, что земля вертится», глаз и ум воспринимают знакомую структуру в словах «земля вертится». И если у нас вообще может быть теория истины, то она должна обладать такой структурой, чтобы в случае подстановки на место пробела в «Галилей сказал, что _____» бесконечного числа предложений получался осмысленный результат (если не считать некоторых трудностей с согласованием времен, это — все предложения в изъявительном наклонении). Таким образом, если нам надо задать условия истинности для всех

предложений, произведенных таким способом, то мы не сможем сделать это для каждого предложения. Мы можем это сделать, только открыв артикулированную структуру, позволяющую нам рассматривать каждое предложение как составленное из конечного числа элементов, установленным образом влияющих на его условия истинности. Но, коль скоро мы приписываем [предложению] знакомую структуру, мы должны допустить и последствия этого приписывания, а в случае косвенной речи это, как мы знаем, те последствия, которые мы отказываемся допускать. В известном смысле дела обстоят еще более странным образом. Не только из того, что кажется знакомой структурой, не следуют знакомые последствия, но и наш лингвистический здравый смысл едва ли в состоянии гарантировать какие-либо выводы, основанные на словах, следующих за «сказал, что» косвенной речи (однако, есть и исключения).

Таким образом парадокс заключается в следующем: с одной стороны, интуиция предлагает, а теория требует, чтобы мы открыли семантически значимую структуру в «предложениях содержания» косвенной речи (как я буду называть предложения, следующие за «сказал, что»). С другой стороны, несостоятельность отношений следования располагает к тому, чтобы рассматривать содержащиеся [в сложном предложении] предложения как семантически инертные. И все же предложенным выше способом нельзя отделить логическую форму от отношений следования.

Одно из предложений по этому поводу заключается в том, чтобы понимать слова, следующие за «сказал, что», как находящиеся внутри невидимых кавычек и имеющие единственную функцию — помощь в указании на предложение, а их семантическую инертность объяснять, исходя из того, как понимается выражение в кавычках. Недостаток этого предложения заключается в неприемлемости ни одного из обычных описаний выражения в кавычках даже с точки зрения минимальных стандартов, которые мы установили для описания логической формы. Ведь согласно большинству версий выражения в кавычках представляют собой единичные тер-

мины, не имеющие значимой семантической структуры, а поскольку может иметься бесконечно много разных выражений в кавычках, ни один язык, содержащий их, не может иметь рекурсивного определения для истинностного предиката. Это можно понимать как показатель того, что привычные описания выражения, стоящего в кавычках, должны быть ошибочными. И я полагаю, что именно так обстоят дела. Но тогда мы вряд ли можем претендовать на решение проблемы косвенной речи посредством обращения к выражению в кавычках[5].

Вероятно, не сложно изобрести подходящую теорию цитирования: теория, излагаемая ниже, полностью описана Куайном. Просто понимай выражения в кавычках как сокращения для того, что ты получишь, если будешь следовать таким инструкциям: справа от первой буквы, открывающей кавычки слева, пиши правосторонние кавычки, потом ставь знак включения, после чего — левосторонние кавычки — в указанном порядке; делай это после каждой буквы (рассматривая знаки препинания как буквы), пока не дойдешь до завершающих правосторонних кавычек. Полученное есть сложный единичный термин, дающий то, что Тарский называет структурным описанием выражения. Это связано со небольшим добавлением к словарю имен букв и знаков препинания, а также знаков для включения. И это связано с соответствующим добавлением к онтологии букв и знаков препинания. И, наконец, если мы выполняем эту процедуру для предложений в косвенной речи, новая структура диктует определенные логические следствия. Вот два примера, каждый из которых следует из предложения «Галилей сказал, что земля вертится»:

($\exists x$) (Галилей сказал, что «зе»^x^«ля вертится»)

и (вместе с предпосылкой «r = 18-я буква алфавита»):

Галилей сказал, что «зе»^18-я буква алфавита^«ля вертится».

(Я придерживался сокращений, насколько это было воз-

можно.) Эти выводы сами по себе не являются критикой теории цитирования, они только проливают на нее свет.

Куайн обсуждает объяснение косвенной речи в терминах цитирования в работе «Слово и объект»[6] и отрицает ее на основании, которое мне кажется ложным. Не то чтобы это было плохое основание, но, как я постараюсь показать, принять его значит пройти совсем близко от решения.

Пройдем вслед за Куайном тем путем, который привел его к отрицанию объяснения косвенной речи в терминах цитирования. Он рассматривает не ту версию этой теории, которую однажды предложил Карнап и согласно которой «said that» — это двухместный предикат, истинный относительно упорядоченных пар людей и предложений[7].

Проблема с этой идеей состоит не в том, что она заставляет нас приравнивать косвенную речь к прямой, — она этого не делает. «Сказал, что» в косвенной речи может связывать индивидов и предложения так же, как «сказал» в прямой речи, но вместе с тем быть и другим отношением; в отличие от последнего первое может быть истинным относительно индивида и предложения на незнакомом ему языке, которое он никогда не произносил. Проблема, скорее, состоит в том, что, возможно, то же самое предложение может иметь разные значения в разных языках — и это не так уж невероятно, если мы считаем идиолекты языками. Для примера, звуки «Empedokles liebt» вполне сойдут как за немецкое, так и за английское предложение, в одном случае говорящее, что Эмпедокл любил, а в другом — рассказывающее нам, что он делал на вершине Этны. Если мы анализируем «Galileo said that the earth moves» («Галилей сказал, что земля движется») как утверждение отношения между Галилеем и предложением «The earth moves», то мы не должны считать, что Галилей говорил по-английски, но мы не можем избежать допущения, что слова предложения содержания должны пониматься как предложение английского языка[8].

Называя соотнесение с конкретным[9] языком допущением, можно ввести в заблуждение; возможно, ссылка на конкретный язык разъясняется следующим образом. Пространная

версия нашего излюбленного предложения могла бы быть такой: «Галилей высказал предложение, которое значило на его языке то, что „The earth moves“, „Земля вертится“, значит по-английски». Так как в этой версии все слова, кроме «Галилей» и «Земля вертится» должны совершать работу, [обычно выполняемую] «сказал, что», нам следует считать ссылку на конкретный язык эксплицитно содержащейся в «сказал, что». Однако, чтобы увидеть, насколько это странно, необходимо всего лишь осознать, что английские слова «said that», «сказал, что», со встроенной в них ссылкой на английский язык, больше не будут переводом (даже согласно самым приблизительным экстенсиональным стандартам) французского «dit que».

Мы можем рассматривать «said that» или «dit que» как трехместные предикаты, связывающие носителя языка, предложение и язык, и таким образом снять с этих выражений проблему перевода, а ссылку на язык тогда можно понимать как обеспечиваемую либо нашим (почти непогрешимым) знанием языка, к которому считается принадлежащим материалу в кавычках, либо демонстративной референцией к языку всего предложения в целом. Каждое из этих предложений по-своему привлекательно, но ни одно не ведет к анализу, который прошел бы проверку переводом. Если взять вариант демонстративной референции, то перевод на французский превратит «said that» в «dit que», и демонстративная референция автоматически, и, следовательно, даже в границах строгого перевода, переместится с английского на французский. Но когда мы переводим последний единичный термин, который называет английское предложение, мы производим откровенно ложный результат.

Эти упражнения помогают выявить важные черты подхода с точки зрения теории цитирования. Но теперь пришло время отметить, что в позиции (подобной рассматриваемой), отказывающейся от референции к пропозициям в пользу референции к языкам, содержится некая аномалия. Ведь языки (как отмечает Куайн в сходном контексте в работе «Слово и объект»), по меньшей мере, настолько же пло-

хо индивидуированы, как и пропозиции, и во многом по похожим причинам. В самом деле, связывающее их очевидное предположение таково: языки тождественны тогда, когда тождественные предложения выражают тождественные пропозиции. В таком случае мы видим, что теории цитирования косвенной речи, обсуждавшиеся нами, не могут претендовать на то, что они лучше теорий, честно вводящих интенсиональные сущности с самого начала; поэтому рассмотрим вкратце теории последнего типа.

Можно подумать, и, возможно, часто так именно и думают, что если мы склонны приветствовать интенсиональные сущности без ограничений: свойства, пропозиции, индивидуальные понятия и что бы то ни было еще — то больше не будет никаких трудностей при описании логической формы предложений в *oratio obliqua*. Но это не так. Ни предложения, которые Фреге рассматривал как модели для естественных языков, ни языки, описанные Чёрчем, не схватываются теорией, содержащей определение истинности, удовлетворяющее стандартам Тарского[10]. В случае предложения Фреге этому мешает то, что каждое выражение, содержащее референцию, может указывать в зависимости от контекста на бесконечное число объектов, и нет правила, которое определяло бы референцию в более сложных контекстах на основании референции в более простых [контекстах]. В языках Чёрча существует бесконечное число примитивных выражений, это непосредственно блокирует возможность рекурсивного определения истинностного предиката, удовлетворяющего требованиям Тарского.

Можно было бы исправить положение, следуя главной идее Карнапа в «Значении необходимости» и ограничивая семантические уровни двумя: экстенсионалами и интенсионалами (первого порядка)[11]. Привлекательной стратегией тогда могло бы быть переворачивание таким способом упрощенного Фреге с ног на голову, позволяя каждому единичному термину указывать на свой собственный смысл или интенсионал, а функции реальности (подобной дельта-функции Чёрча) — отображать интенсионалы на экстенсионалы. При

такой трактовке наше образцовое предложение выглядело бы следующим образом: «Реальность Галилея сказала, что земля вертится». Здесь мы должны предположить, что «земля» обозначает индивидуальное понятие, которое отображает на пропозицию, что земля движется, функцию, референция к которой содержится в «движется»; функция, референция к которой содержится в «сказала, что», в свою очередь, отображает Галилея и суждение, что земля движется, на истинностное значение. Наконец, имя «Галилей» указывает на индивидуальное понятие, отображенное на Галилея функцией, референция к которой содержится в выражении «реальность». При наличие некоторой изобретательности эта теория может, вероятно, включать в себя и кванторы, связывающие переменные как в, так и вне контекстов, созданных глаголами «сказал», «полагает» и им подобными. Определение истинности для такого языка не составляет особой проблемы: дела идут все лучше и лучше, исключительно экстенсионально, если не обращать внимания на онтологию. Кажется, это могла бы быть теория, отвечающая на все наши вопросы. Что мешает ее принятию, за исключением номиналистских сомнений?

Мои аргументы против этого подхода по существу являются аргументами Куайна. Обнаружение собственных подходящих слов для передачи чужого высказывания есть проблема перевода (216–217). Слова, которые я использую в конкретном случае, можно понимать как продукты моей общей теории (какой бы смутной и подлежащей исправлению она ни была) о том, что носитель языка подразумевает в своем высказывании: такая теория неотделима от определения истинностного предиката, где его язык выступает в роли объектного языка, а мой — метаязыка. Ключевой момент заключается в том, что найдутся в равной степени приемлемые альтернативные теории, различающиеся приписыванием явно не синонимичных предложений моего языка в качестве переводов одного и того же его высказывания. В этом состоит тезис Куайна о неопределенности перевода (218–221)[12]. Пример поможет осознать тот факт, что этот тезис приме-

ним не только к переводу, осуществляемому носителями сильно различающихся между собой языков, но также и к гораздо более простым случаям.

Пусть кто-то говорит (теперь прямой речью): «В холодильнике гиппопотам»; прав ли я с необходимостью, сообщая, что он сказал, что в холодильнике гиппопотам? Возможно, но если его расспросить, он продолжит: «Он имеет круглые очертания, морщинистую кожу, не обращает внимания на прикосновения. У него приятный вкус, по крайней мере у сока, и он стоит десять центов. Я выжал два или три на завтрак». Затратив некоторое конечное время на такой разговор, мы переходим через черту, когда правдоподобно или даже возможно правильно сказать, что он говорил, что в холодильнике гиппопотам. Здесь становится ясно, что он подразумевал, по крайней мере, под некоторыми своими словами, нечто, отличающееся от подразумеваемого под ними мной. Самой простой гипотезой на данный момент будет: мое слово «гиппопотам» больше не переводит его слово «гиппопотам», мое слово «апельсин» может здесь подойти лучше. Но в любом случае, задолго до того, как мы подойдем к отказу от гомофонного перевода, доверие инициирует расхождения. Сомнение по поводу того, переводить ли высказывание другого тем или иным моим предложением из числа не синонимичных друг другу, необязательно отражает недостаток информации. Оно отражает лишь то, что после определенного предела уже невозможно решить, даже в принципе, использовал ли другой субъект слова так же, как их используем мы, но придерживался более или менее причудливых взглядов, или же мы перевели его слова неправильно. Разрываясь между необходимостью придать смысл словам носителя языка и необходимостью придать смысл образцу его мнений, лучшее, что мы можем сделать — это выбрать теорию перевода, максимизирующую согласие. Наверняка, предположение о том, что всерьез произнося слова «В холодильнике гиппопотам», другой субъект не был согласен с нами относительно находящегося в холодильнике, лишено будущего в случае, если разногласия между нами должны

вслед за этим распространиться также на размер, форму, цвет, производителя, мощность в лошадиных силах и колесную базу гиппопотамов.

Ничто из этого не показывает, что нет такой вещи, как правильное сообщение посредством косвенной речи того, что сказал другой. Все, что показывает неопределенность, — это, что если имеется один способ сделать это правильно, то есть и другие, существенно отличающиеся использованием несинонимических предложений после «сказал, что». И этого достаточно, чтобы объяснить наше ощущение, что есть что-то поддельное в остроте, которую вопросы, касающиеся значения, в принципе должны иметь, если значения являются объектами (entities).

Эти знания были заложены в обсуждении, начатом несколько лет назад Бенсоном Мэйтсом. Мэйтс утверждал, что предложение «Никто не сомневается, что кто бы ни полагал, что седьмой консулат Мария длился меньше двух недель, полагает, что седьмой консулат Мария длился меньше двух недель» истинно и, тем не менее, вполне могло бы стать ложным, если заменить последние два слова на (предполагаемый синоним) «четырнадцати дней», и что это могло бы произойти вне зависимости от того, какие стандарты синонимии мы принимаем, не удовлетворяясь сомнительной «заменимостью в каждом случае *salva veritate*»[13]. Чёрч и Селларс ответили, говоря, что эту трудность можно разрешить, строго различая между подстановками, основанными на использовании языка носителем этого языка, и подстановками, окрашенными употреблением, приписываемым другим[14]. Но это будет решением только в том случае, если мы принимаем возможность определения того, что в словах, произносимых другим, обусловлено значениями, которые он придает своим словам, а что — его представлениями о мире. Согласно Куайну, это различие провести нельзя.

Отступление было длинным, теперь я вернусь к обсуждению Куайном подхода с точки зрения теории цитирования в «Слове и объекте». Как указывалось выше, Куайн отрицает релятивизацию к языку на том основании, что принцип

индивидуации языков неясен и что вопрос тождественности языков не имеет отношения к косвенной речи (214). Он предлагает вместо того, чтобы интерпретировать предложение содержания косвенной речи как располагающееся в самом языке (occurring in language), интерпретировать его как событие его озвучивания носителем языка в некий момент времени. Носитель языка и время, с которыми надо соотнести понимание предложения содержания, конечно, таковы, что носителем языка является тот, кто высказывает это предложение и, таким образом, косвенно приписывает его произнесение другому. И теперь «Галилей сказал, что земля вертится» будет означать что-то вроде «Галилей высказал предложение, которое в его устах означало то же, что „Земля вертится" сейчас означает в моих». Куайн не возражает против этого предложения, поскольку считает, что имеет кое-что более простое и, по крайней мере, столь же хорошее в своем распоряжении. Но, по-моему, это предложение заслуживает более серьезного рассмотрения, так как я считаю его почти правильным, тогда как альтернативы, которым отдает предпочтение Куайн, имеют существенные недостатки.

Первая из этих альтернатив — теория надписей Шеффлера[15]. Шеффлер предлагает считать предложения в косвенной речи соотносящими говорящего и высказывание (utterance) [этого предложения]: роль предложения содержания состоит в том, чтобы помогать сообщать, высказывание какого вида имело место. Таким образом, мы получаем следующее: «Галилей произнес высказывание что-земля-вертится». Предикат «*x* есть-высказывание-что-земля-вертится» имеет, так как речь идет о теории истины и вывода, форму неструктурированного одноместного предиката. Описание Куайном данного подхода несколько отличается от моего, и поэтому он может сопротивляться моему использованию терминов «логическая форма» и «структура» в таких целях, которые исключают их применение к предикату Шеффлера. Куайн называет этот предикат «соединением» («compound») и описывает его как составленный из оператора и предложения

(214, 215). Это — вопросы терминологии; суть дела, относительно которой разногласий быть не может, заключается в том, что, согласно теории Шеффлера, предложения в *oratio obliqua* не имеют логических связей, зависимых от структуры предиката, а истинностный предикат, применимый ко всем таким предложениям, не может быть определен в стиле Тарского. Причина этого ясна: существует бесконечное число предикатов с синтаксисом «*x* есть-_____-высказывание», каждый из которых с точки зрения семантической теории не связан с остальными.

Куайн рассмотрел одну сторону дилеммы. Поскольку приписывание семантической структуры предложению содержания в косвенной речи, по-видимому, заставляет нас допускать нежелательные логические отношения, Куайн отказывается от структуры. В результате упускается из рассмотрения другая ценная часть теории, говорящая об определении истины.

Верный своей политике отказа от структур, которые не поддерживают никаких логических выводов, свидетельствующих в пользу их сохранения, Куайн обдумывает следующий шаг, он говорит: «...последняя альтернатива, которую я нахожу столь же привлекательной, как и любую другую, состоит просто в том, чтобы отказаться от объектов пропозициональных установок» (216). Там, где Шеффлер все еще видит в «сказал, что» двухместный предикат, связывающий носителя языка и высказывание, хотя и связывающий предложения содержания в нерасчленимые одноместные предикаты, истинные относительно высказываний, Куайн теперь предвидит, что предложения содержания и «сказал, что» объединены прямо в одноместный предикат «*x* сказал-что-земля-вертится», истинный относительно субъектов. Конечно, некоторые встроенные в схему Шеффлера выводы теперь отпадают: мы больше не можем выводить «Галилей сказал что-то» из предложения, служащего нам образцом, и мы не можем выводить из него вместе с «Кто-то отрицал, что земля вертится» предложение «Кто-то отрицал то, что сказал Галилей». Тем не менее, как напоминает нам Куайн, выводы та-

кого типа могут также подвести и анализ Шеффлера, когда он распространяется обычным путем на мнения и другие пропозициональные установки, так как нужные выводы могут не претвориться в жизнь (215). Таким образом, преимущества теории Шеффлера перед «последней альтернативой» Куайна немногочисленны и неопределенны, поэтому Куайн заключает, что взгляд, допускающий меньше всего выводов, «так же привлекателен, как и любой другой».

Этот способ элиминации нежелательных выводов, к сожалению, отменяет большую часть структуры, необходимую для теории истины. Поэтому стоит вернуться и еще раз взглянуть на более раннее предложение анализировать косвенную речь в терминах предиката, соотносящего того, кто первым произнес предложение и того, кто произносит в настоящий момент предложение в косвенной речи. Это предложение не отбрасывает ни одно из простых следствий, обсуждавшихся нами, и оно (единственное из предположений последнего времени) обещает в соединении с рабочей теорией цитирования соответствовать стандартным семантическим методам. Однако в нем есть небольшой изъян.

Мы старались выявить особенности анализа, к которому мы обратились, награждая наше излюбленное предложение интерпретацией такого типа: «Галилей высказал предложение, которое в его устах означало то, что „Земля вертится" сейчас означает в моих». Не стоит думать плохо об этой многословной версии предложения «Галилей сказал, что земля вертится» из-за кажущейся референции к значению («что значит „Земля вертится"»); это выражение не трактуется в данной теории как единичный термин. От нас действительно требуется придать смысл суждению синонимичности между высказываниями, но не в качестве основания теории языка, а просто в качестве еще не проанализированной части содержания легко узнаваемой идиомы косвенной речи. За нашим неуклюжим парафразом стоит идея *высказывания того же самого* (*samesaying*): когда я говорю, что Галилей сказал, что земля движется, я репрезентирую Галилея и себя как высказывающих одно и то же (samesayers)[16].

Ошибка заключается в следующем. Если я просто *говорю*, что мы, Галилей и я, являемся высказывающими одно и то же, я еще должен *сделать* нас таковыми. Как я могу это сделать? Очевидно, говоря то же, что сказал и он; не используя его слова (с необходимостью), а используя здесь и сейчас слова с тем же содержанием (import), какое имели его слова там и тогда. Но это — именно то, что, согласно теории, я не могу сделать. Ведь теория помещает предложение содержания в кавычки, а согласно любой стандартной теории цитирования, это значит, что предложение содержания упомянуто, а не употреблено. Произнося слова «Земля вертится», я, согласно этому описанию, не говорю ничего, хотя бы отдаленно напоминающее то, что считается сказанным Галилеем; фактически, я не говорю ничего. Мои слова в схеме «Галилей сказал, что_____» просто помогают указать на предложение. Мы не ошибемся, если расширим кавычки так, как мы это делали недавно. Любой намек на то, что я и Галилей являемся высказывающими одно и то же, в этой версии исчезает:

> Галилей сказал, что «З»^«е»^«м»^«л»^«я»^« »^«в»^«е»^«р»^«т»^«и»^«т»^«с»^«я».

Похоже, нас вводит в заблуждение случайный характер записи, способ указывать на выражения, который в сокращенном виде дает схематическую картину самих указываемых слов. Это — необычная трудность; посмотрим, можем ли мы обойти ее. Представим себе видоизмененный случай. Галилей произносит свои слова «Eppur si muove», я произношу мои слова «Земля вертится». Здесь еще нет проблемы с признанием того, что мы говорим одно и то же; мое высказывание соответствует его высказыванию по своему содержанию (in purport). В этом случае я не использую мои слова для того, чтобы помочь указать на предложение, я говорю для себя, и мои слова указывают обычным образом на землю и ее движение. Если высказывание Галилея «Eppur si muove» сделало нас высказывающими одно и то же, тогда то или иное высказывание Галилея сделало нас высказывающи-

ми одно и то же. Таким образом, форма «($\exists x$)(высказывание Галилея x и мое высказывание y делают нас говорящими одно и то же)» представляет мой собой способ приписывать Галилею какое угодно высказывание в том случае, если я нашел, как заменить «y» словом или фразой, указывающей на мое высказывание, соответствующее этому. И наверняка есть способ, которым я могу это сделать: мне только нужно произнести требуемое высказывание и заменить «y» указанием на него. Таким образом, получаем:

Земля вертится.

($\exists x$)(высказывание Галилея x и мое высказывание, которое я только что сделал, делают нас говорящими одно и то же).

Определяющее сокращение — это все, что нужно, чтобы свести эту маленькую шутку к:

Земля вертится.
Галилей сказал это.

Здесь «это» — демонстративный единичный термин, указывающий на высказывание (а не на предложение).

У этой формы есть маленький недостаток, заключающийся в том, что она оставляет слушателя в неведении относительно цели, которой служило высказывание «Земля вертится», пока само это действие не было выполнено. Как если бы, скажем, я должен был сначала рассказать историю, а затем добавить: «Вот так однажды было». В этом есть что-то забавное, и в любом случае, сколько бы мы ни говорили об иллокутивной силе наших высказываний, это не поможет нам поверить, что они имеют эту силу. Но в данном случае ничто не мешает изменить порядок следования так:

Галилей сказал это.
Земля вертится.

Теперь можно без опаски допустить малюсенькое орфографическое изменение, лишенное семантической значимости, но позволяющее увидеть отношение между устройством ввода и тем, что вводится: мы можем поставить в «Галилей

сказал, что земля движется» точку после «что» («that»), а следующее слово начать с большой буквы.

Возможно, не стоит удивляться, узнав, что форма предложений, говорящих о психологических состояниях, в английском языке развивалась во многом в том же направлении, какое предлагается данным размышлением. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «употребление *that* в общем соответствует его происхождению из демонстративного наречия, указывающего на часть предложения (clause), которую оно вводит. Ср. (1) Он когда-то жил здесь: мы все знаем *это* (*that*); (2) *Вот, что* (теперь *это*) мы все знаем (*That* (now *this*) we all know): он когда-то жил здесь; (3) Мы все знаем *это* (*that* (or *this*)): он когда-то жил здесь; (4) Мы все знаем, *что* (*that*) он когда-то жил здесь...»[17]

Тогда предложение приобретает такой вид: предложения в косвенной речи, так уж получается, прямо предъявляют свою логическую форму (за исключением одной маленькой точки). Они состоят из выражения, указывающего на говорящего, двухместного предиката «сказал» и демонстративного термина, указывающего на высказывание. Точка. Дальнейшее приводит содержание высказывания субъекта, но не имеет логической или семантической связи с первоначальным приписыванием высказывания. Это последнее положение, несомненно, является новым и от него зависит все: с семантической точки зрения предложение содержания в косвенной речи не содержится в предложении, истинность которого оценивается, то есть в предложении, оканчивающимся на «это» («that»).

Будет лучше, если мы начнем говорить о надписях, высказываниях и речевых актах и избежим ссылок на предложения[18]. Ведь «Галилей сказал это» выполняет роль объявления следующего за ним высказывания. Как любое высказывание, оно может быть серьезным или дурашливым, утвердительным или шутливым, но если оно истинное, за ним должно следовать высказывание, синонимичное какому-то другому. Второе высказывание, то, которое вводится, также может быть истинным или ложным, произнесенным утвердитель-

но или в шутку. Но если оно объявлено, то, по крайней мере, оно должно служить цели передачи содержания того, что сказал некто. Роль вводного высказывания не есть что-то незнакомое: то же самое мы делаем с помощью таких слов, как «Это шутка», «Это приказ», «Он приказал это», «Теперь послушай вот что». Такие выражения можно назвать перформативными, так как они употребляются для осуществления действий (performances) говорящего. Когда перформативные выражения употребляются в первом лице настоящего времени, появляется второй по счету интересный рефлексивный результат, так как тогда говорящий произносит слова, которые, если истинны, то исключительно благодаря содержанию и модусу следующего за ними действия, а последний, в свою очередь, может определяться тем же самым перформативным введением. Вот пример, который в свою очередь поможет окончательно охарактеризовать косвенную речь.

«Джонс утверждал, что Энтеббе находится на экваторе», если мы соотнесем это высказывание с анализом косвенной речи, будет означать что-то вроде: «Высказывание Джонса в модусе утверждения имело то же содержание, что и такое мое высказывание: „Энтеббе находится на экваторе“». Этот анализ не может потерпеть неудачу из-за возможного различия в модусах высказываний двух говорящих; все, чего требует истинность перформативного выражения, — это чтобы второе высказывание, в каком бы то ни было модусе (утвердительном или нет), соответствовало содержанию утвердительного высказывания Джонса. Приемлема ли такая асимметрия в косвенной речи, зависит от того, сколько утвердительности мы вкладываем (read into) в понятие высказывания (saying). Теперь представим себе, что я произношу «Я утверждаю, что Энтеббе находится на экваторе». Конечно, говоря это, я могу ничего не утверждать; модус слов не может гарантировать модус высказывания. Но если мое высказывание перформативного выражения истинно, то, высказывая в утвердительном модусе что-либо, имеющее содержание моего второго высказывания, я утверждаю тем самым,

что Энтеббе находится на экваторе. Если я утверждаю это, часть моего успеха, несомненно, принадлежит моему высказыванию перформатива, объявляющему утверждение; таким образом, перформативы имеют тенденцию к самореализации. Возможно, именно эта их черта навела некоторых философов на ошибочную мысль, что перформативы или их высказывания ни истинны, ни ложны.

Предложенный здесь анализ косвенной речи, похоже, нащупывает верное решение для стандартных проблем. Представление о том, что законы экстенсиональной подстановки дают сбой, объясняется нашим ошибочным принятием за одно предложение того, что в действительности является двумя: мы делаем подстановки в одном предложении, но изменяется истинность другого (его высказывания). Поскольку высказывание «Галилей сказал это» и любое высказывание, следующее за ним, семантически независимы, нет основания предписывать, исходя из одной только формы, какое-либо *особое* влияние изменения истинности второго на истинность первого. С другой стороны, если бы второе высказывание никак не было бы связано с первым, то первое высказывание *могло* бы иметь иное истинностное значение, поскольку изменилась бы референция слова «это».

Парадокс, состоящий в том, что предложения (высказывания) в *oratio obliqua* не обладают теми логическими следствиями, которыми они должны, если требуется определить истинность, разрешен. То, что следует за глаголом «сказал», имеет всего лишь структуру единичного термина, обычно демонстративного «это». Принимая, что «это» содержит указание, мы можем вывести, что Галилей сказал нечто из «Галилей сказал это»; но это именно то, чего мы хотим. Знакомые слова, сопровождающие перформативное выражение косвенной речи, на мой взгляд, имеют структуру, но это — знакомая структура, и она не составляет никакого нового затруднения для теории истины, которого не было бы до того, как косвенная речь стала темой обсуждения.

Со времени Фреге философы утвердились во мнении, что предложения содержания в разговоре о пропозициональных

установках могут странным образом указывать на такие сущности, как интенсионалы, пропозиции, предложения, высказывания и надписи. Странной эту идею делают не эти сущности, с которыми все в порядке, когда они на своих местах (если таковые имеются), а представление, согласно которому слова, обозначающие планеты, людей, столы и гиппопотамов в косвенной речи, могут сменить эти обычные референции на экзотические. Если бы мы смогли вернуть себе нашу семантическую невинность, которой мы обладали до Фреге, то я думаю, нам показалось бы совершенно невероятным, чтобы слова «Земля вертится», произнесенные после слов «Галилей сказал, что», значат что-либо или указывают на что-либо кроме того, что они обычно значат или на что указывают в других обстоятельствах. Несомненно, их роль в *oratio obliqua* имеет некоторую специфику; но это уже — другая история. Язык — это инструмент, потому что одно и то же выражение с неизменными семантическими характеристиками (значением) может служить бессчетному числу целей. Я постарался показать, каким образом наше понимание косвенной речи не искажает это фундаментальное представление.

8. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАКЛОНЕНИЯ И ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ

Фреге считал, что адекватная теория языка требует, чтобы мы проявили внимание к трем особенностям предложений: референции, смыслу и утвердительной силе. В другом месте я доказывал, что теория истины, созданная по образцу определения Тарского, сообщает нам все, что мы должны знать о смысле[1]. При помещении истины в область референции, как это сделал Фреге, изучение смысла сводится к изучению референции.

А как насчет силы? В этой статье я хочу рассмотреть силу в единственной форме, насчет которой я уверен, что она является свойством предложений, то есть поскольку она служит для различения грамматических наклонений. Интересующий меня вопрос состоит в следующем: может ли теория истины объяснять различия между грамматическими наклонениями?

В попытке ответить на этот вопрос я отвечаю — увы, запоздало[2] — на вызов, брошенный мне Иешуа Бар-Хиллелом несколько лет назад; он спросил меня, как можно представить грамматическое наклонение в рамках теории истины.

Одна из причин интереса к анализу грамматического наклонения состоит в том, что он вынуждает нас проявлять внимание к отношениям между значением предложений и их использованием. Мы имеем, с одной стороны, синтаксическое и, предположительно, семантическое различие среди грамматических наклонений (например: изъявительное, императивное, сослагательное, вопросительное), и, с другой стороны, различие в использовании предложений (как-то: делать утверждения, давать распоряжения, выражать пожелания, задавать вопросы).

Грамматические наклонения классифицируют предложения, в то время как различие в использовании классифици-

рует высказывания. Однако грамматические наклонения также косвенно классифицируют высказывания, так как все, что позволяет проводить различия в сфере предложений, может быть использовано для различения высказываемых предложений. Поэтому мы можем спросить, каково отношение между этими двумя способами классификации высказывания, например, как суждения связаны с высказыванием изъявительных предложений или команды с высказыванием императивных предложений?

Проще всего предположить, что связанные между собой классы процедур высказывания идентичны: высказывание вслух императивов — команды, вопросительных предложений — задание вопросов и т. д. Эта идея, кажется, находит поддержку в части работ Даммита. Вот как Даммит объясняет использование Фреге знака утверждения или штриха суждения: «Штрих суждения — знак утвердительной силы собственного суждения, он является носителем утвердительной силы. Таким образом, это не функциональное выражение или часть его: мы не можем задаваться вопросом о том, чем является его смысл или чем является его референция; он вносит вклад в значение сложного пропозиционального символа совершенно иным способом... лишь предложение, которому предпослан штрих суждения, можно считать выражающим смысл или обладающим истинностным значением: целое выражение со штрихом суждения не выражает что-либо и ничего не обозначает — оно *утверждает* нечто: оно утверждает, буквально, что мысль, выраженная тем, что следует за штрихом суждения, истинна»[3].

Здесь Даммит говорит, что именно предложения выносят суждения, и я думаю, что было бы более естественно говорить, что суждение есть процедура высказывания, и именно носитель языка высказывает суждение. Однако все это можно рассматривать лишь как спор о терминах; скорее меня беспокоит подразумеваемое требование, что суждение и изъявительное грамматическое наклонение могут столь полно отождествлены. Ведь есть много случаев высказывания изъявительных предложений, которые не являются суждениями,

например, изъявительные предложения, произнесенные в пьесе, отговорке, шутке и беллетристике; и, конечно, суждения могут быть сделаны при высказывании предложений в других наклонениях. (Высказывание вслух предложений «Вы замечали, что Джоан снова носит фиолетовую шляпу?» или «Заметьте, что Джоан носит свою фиолетовую шляпу снова» могут при случае просто быть утверждениями, что Джоан носит свою фиолетовую шляпу снова.) Точно так же и с другими наклонениями, мы можем задать вопрос-императив или изъявительный («Скажите мне, кто выиграл третью гонку», «Я хотел бы знать ваш номер телефона»), или дать команду в изъявительном наклонении («В этом доме мы снимаем наши ботинки перед входом»).

Само собой разумеется, Даммит знает об этом, и если он временно позволяет себе пропускать эти случаи ради более широкого подхода, то только потому, что он полагает, что существует некоторый (общий) ясный смысл, тогда как контрпримеры представляют собой лишь (частные) отклонения от него. Но каков этот смысл? Остин провел различие между тем, что он назвал «нормальными» или «серьезными» случаями использования предложений и «бледным» или «паразитирующим» использованием[4]. Если такое различие могло бы быть сделано, не попадая в порочный круг, и оказалось бы, что нормальное или серьезное использование изъявительных наклонений должно служить для вынесения суждений, императивов для отдачи приказаний, вопросительных предложений для задания вопросов и так далее, тогда искомая связь между грамматическими наклонениями и использованиями предложений была бы установлена.

Конечно, есть некоторая важная связь между грамматическими наклонениями и их использованием, и мы склонны думать, что в использовании предложения в некотором грамматическом наклонении с целью выполнения «соответствующего» акта есть нечто естественное, серьезное или нормальное. Вопрос состоит в том, может ли это чувство быть настолько ясно сформулировано, чтобы оно могло пролить свет на характер грамматических наклонений. Легко

видеть, что призыв к тому, что является «серьезным» или «нормальным», идет рука об руку с обращением к интуиции. Объяснение серьезности команды заключается не в том, что она произнесена скорее в императивном, чем в изъявительном наклонении; точно так же серьезный вопрос может быть задан в императивном наклонении скорее, чем в вопросительном. И если «нормальное» означает обычное или более часто встречающееся, то в самом деле сомнительно, что большинство выражений изъявительного наклонения произнесено как суждения (утверждения). Есть слишком много историй, механических повторений, иллюстраций, гипотез, пародий, шарад, песен и беззастенчиво-нечаянных комплиментов. И в любом случае анализ грамматического наклонения не может опираться с достаточной мерой правдоподобности на результаты статистического обзора подобного вида.

Решение Даммита состоит в том, чтобы переключиться от серьезного или нормального к конвенциональному: суждение является высказанным в изъявительном наклонении, если оно отвечает конвенционально указанным условиям; команда — императив, произнесенный при других конвенционально данных условиях, и т. д. Он пишет: «Суждение состоит в (преднамеренном) высказывании предложения, которое по своей форме и контексту признано использованным согласно некоторой общей конвенции...»[5] И об императивах: «...высказывание предложений определенной формы, если особые обстоятельства не лишают этот акт его обычного значения, сам по себе составляет отдачу команды»[6]. Он подводит итог таким советом о том, как приблизиться к предмету отношений между грамматическими наклонениями и их использованиями: «...Правильный подход состоит в рассмотрении процесса высказывания как конвенционально разграниченного по типам посредством формы используемых лингвистических выражений и исследовании конвенций, отвечающих за использование различных типов высказывания»[7].

Подход Даммита, заключающийся в том, что лингвистические действия, такие как утверждения и команды, состо-

ят в произнесении предложений в изъявительных или императивных грамматических наклонениях при конвенционально указанных условиях, в сочетании с тезисом о существовании дополнительной конвенции о вынесении суждений с намерением высказать нечто истинное является самым важным в его картине языка. Ведь эти две идеи вместе напрямую связали бы то, как языки используются конвенциональными способами, и некоторой общей целью (говорить то, что является истинным)[8].

Я согласен, что если мы собираемся построить основополагающую теорию языка, то мы должны найти связи между тем, как используются предложения и их значением. Однако я сомневаюсь в прочности звеньев в цепочке доказательств Даммита. Я не могу сейчас обсуждать второе звено, предполагаемую конвенцию высказывания истинных предложений. Но в данном контексте уместно прокомментировать требование, что высказывание изъявительного предложения при конвенциональных условиях производит суждение.

Одна трудность очевидна, но может быть преодолена: если должна быть *общая* теория суждений такого типа, то должны быть и конвенции, объясняющие, как высказываются такого рода суждения при произнесении предложений не в изъявительном наклонении. Но, возможно, если есть конвенции, связывающие предложения в изъявительных наклонениях и суждения, то есть и дополнительные конвенции, связывающие другие грамматические наклонения с суждениями.

Проблема в том, что искомых конвенций такого рода не существует. Конечно, истинно, что если изъявительное предложение произнесено при правильных условиях, то будет высказано суждение. Возможно даже, что мы можем определить условия, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы высказать суждение, например, я думаю, что для того, чтобы высказать суждение, субъект должен представлять себя верящим в то, что он говорит. Но ничто из этого не предполагает, что данные условия конвенциональны по своей природе.

Следует также иметь в виду, что переводчики и носители языка обычно способны сообщить, когда было вынесено суждение, и что эта способность является существенной частью их лингвистической компетенции. Кроме того, знание лингвистических и других конвенций играет ключевую роль в вынесении и обнаружении суждений. Костюм, позиция, тон, офис, роль и жестикуляция имеют или могут иметь конвенциональные аспекты, и все эти элементы могут вносить важнейший вклад в силу высказывания. Мы можем легко допустить все это без того, чтобы согласиться, что просто следуя конвенции, высказывание в изъявительном или императивном наклонении становится суждением или командой.

Есть, я думаю, веские причины для отклонения идеи о том, что при высказывании суждения (или отдаче команды, или задании вопроса) выполняется чисто конвенциональное действие. Одна из причин, как я предположил, состоит в трудности объяснения того, что такое конвенция. (Например, если выносящий суждение обязательно представляет себя как верящего в то, что он говорит, нужно было бы описывать конвенции, следуя тому, что можно представлять себя как верящего в то, что ты говоришь.) Второе замечание состоит в следующем. Весьма часто мы понимаем высказывание во всех его смыслах за исключением знания о том, является ли оно суждением. Один из видов провокации состоит в оставлении проблемы суждения открытой в сознании провоцируемого; исторические романы или *romans-à-clef* преднамеренно оставляют нас озадаченными. Опущен ли некоторый конвенциональный аспект высказывания? Какой именно? И если мы могли бы это сказать, тогда почему бы провокатору или романисту не включить этот самый пункт в акт своего высказывания?

Каковы бы ни были конвенциональные аспекты суждения, они могут быть помещены в слова или так или иначе сделаны явной частью предложения. Предположим теперь, что это не так, и, таким образом, штрих суждения Фреге не просто является формальным эквивалентом изъявительного наклонения, но более полным выражением конвенциональ-

ного элемента в суждении. Легко видеть, что простое высказывание предложения в усиленном изъявительном наклонении не может считаться результатом суждения; каждый шутник, рассказчик и актер немедленно воспользуется преимуществом усиленного наклонения в построении суждения. Тогда нет никакого смысла в усиленном наклонении, доступное изъявительное вполне соответствует тому, что язык может делать в обслуживании суждения. Но поскольку изъявительное наклонение не настолько сильно, что его простое использование составляет суждение, то необходимое для добавления, чтобы произвести суждение, не может быть просто вопросом лингвистической конвенции.

Этот аргумент иллюстрирует основную черту языка, которую можно назвать автономией лингвистического значения. Как только некоторая особенность языка получила конвенциональное выражение, она может быть использована для обслуживания множества экстралингвистических целей; символическое представление обязательно нарушает любую связь с экстралингвистической целью. В применении к данному случаю это означает, что не может быть формы речи, которая исключительно в результате ее своего конвенционально задаваемого значения может использоваться только для данной цели, типа высказывания суждения или задания вопроса.

Аргумент имеет простую форму: грамматическое наклонение — не конвенциональный знак суждения или команды, потому что нет никакого конвенционального знака суждения или команды. Следует подчеркнуть, что причина этого состоит не в том, что иллокутивная сила речевого акта является его чисто ментальным, внутренним или интенциональным аспектом[9]. Конечно, суждение или команда должны быть интенциональными, как и значение в узком смысле. Но интенция (намерение) частично состоит в том, что акт должен интерпретироваться как утвердительный или императивный, и поэтому намерение заключается, отчасти, в том, что нечто публично очевидное должно располагать к соответствующей интерпретации.

Легко увлечься спором о степени, до которой намерение носителя языка произвести акт, который будет интерпретирован как утвердительный, должно осознаваться прежде, чем его акт будет правильно назван суждением. Настаивать на том, что суждение было вынесено только в том случае, если оно действительно интерпретируется как суждение, было бы слишком; в то же время требовать лишь наличия намерения — это слишком мало. Мы не должны решать вопрос о том, насколько должен преуспеть выносящий суждение в своем намерении. Важно здесь только: должны ли выносящий суждение или отдающий команду намереваться, чтобы слушающий признал намерение через его (выносящего суждение) апелляцию к тому, что он считает или полагает лингвистической конвенцией. Если бы такая конвенция существовала, нам было бы легко сказать, чем она является, и легко в большинстве случаев решить, действительно ли она соблюдалась. Но хотя мы обычно можем определить, действительно ли было вынесено суждение, мы обычно не можем сказать, чем сопровождалась конвенция. Причина того, почему мы не можем этого сказать, как я указывал, состоит в том, что такой конвенции не существует.

Было бы ошибкой заключить, что нет никакой конвенциональной связи между грамматическими наклонениями и их использованиями. Действительно, такой связи не было бы, если бы определенные исследования грамматических наклонений были корректны. Дэвид Льюис, например, смело предположил, что все неизъявительные предложения могут «трактоваться как парафразы соответствующих перформативов, имеющих ту же самую структуру основы, значение, интенсионал и истинностное значение»[10]. Таким образом, «Пожарьте это яйцо» должно было бы быть субъектом такого же анализа, что и «Я велю, чтобы Вы жарили это яйцо». Льюис думает, что два предложения могли бы иметь различный диапазон использований, но так как этого различия не возникло бы, согласно его теории, из различия в значении, то его теория просто отрицает, что грамматическое наклонение имеет какое бы то ни было конвенциональное значение.

Анализ с подобными выводами был предложен много лет назад Гербертом Бонертом[11]. Предложение Бонерта заключалось в том, что императивы имеют структуру дизъюнкции некоторого вида. Так, «Пожарьте это яйцо» было бы передано как «Или Вы жарите это яйцо, или случится X», где X — нечто, нежелательное для человека, которому адресовано это предложение.

Эти теории черпают свою силу в том факте, что мы можем, и часто так и поступаем, использовать изъявительные наклонения, чтобы делать ту работу, которую Даммит считает конвенционально предназначенной для других грамматических наклонений. И, фактически, если мы хотим двигаться в этом направлении, то существует даже более простая и, как мне кажется, более доступная теория, которая должна точно так же анализировать семантику императивов, что и изъявительное наклонение (то есть трактовать «Пожарьте это яйцо» так же, как трактуется «Вы будете жарить это яйцо»)[12].

Достоинство этих теорий состоит в том, что они делают очевидным тот факт, что наличие истинностного значения не является препятствием для предложения, используемого для отдачи команды или задания вопроса. Но это достоинство редуктивных теорий также объясняет их неудачу, так как простое сведение императивов или вопросительных форм к изъявительным наклонениям оставляет нас вовсе без теории различий между грамматическими наклонениями. Если любая из редуктивных теорий верна, то грамматическое наклонение столь же нерелевантно для значения, как это часто говорят о голосе. Если грамматическое наклонение не затрагивает значение, то как мы можем надеяться объяснить связь между грамматическим наклонением и использованием, к чему бы эта связь ни вела? Редуктивный анализ скорее отказывается от проблемы, с которой мы начали, чем решает ее.

Теперь у нас есть возможность перечислить характеристики, которые должна иметь приемлемая теория грамматического наклонения.

(1) Она должна показать или сохранить отношения между изъявительными предложениями и предложениями в других грамматических наклонениях, соответствующими им; она должна, например, ясно формулировать смысл, в котором «Снимите Ваши ботинки!», «Вы снимете Ваши ботинки» и «Снимете ли Вы ваши ботинки?» имеют общий элемент.

(2) Она должна назначить элемент значения актам высказывания в данном наклонении, отсутствующий в высказывании в других грамматических наклонениях. И этот элемент должен соединиться с различием в силе между суждениями, вопросами и командами так, чтобы объяснить нашу интуицию конвенционального отношения между грамматическим наклонением и использованием.

(3) Наконец, теория должна быть семантически гибкой. Если теория соответствует стандартам теории истины, то, я сказал бы, что все в порядке. И с другой стороны, если, как мне кажется, считал Бар-Хиллел, стандартная теория истины может оказаться неспособна объяснить наклонения, то теория истины неадекватна как общая теория языка.

Трудность в сочетании этих трех условий очевидна. Первые два условия предлагают, чтобы грамматическое наклонение было представлено операторами, которые управляют предложениями, а эти управляемые предложения являются или изъявительными (когда ни один оператор не необходим для изъявительного наклонения), или нейтральными (когда оператор необходим для каждого наклонения). Третье условие, однако, запрещает, как представляется, все кроме истинностно-функциональных сентенциальных операторов, и ясно, что истинностно-функциональные операторы не могут предоставить правдоподобную интерпретацию грамматического наклонения.

Даммит, как мне кажется, прав, когда он говорит, что синтаксическое выражение грамматического наклонения не подобно функциональному выражению, что мы не можем спрашивать, каков его смысл или референция, и что (поэтому) предложение с индикатором наклонения «не выражает что-либо, не выступает за что-либо». Как говорит Гич, инди-

катор наклонения не подобен никакой другой части речи; «...это обязательно *sui generis*. Ведь любой другой логический знак, если он не избыточен, так или иначе изменяет содержание предложения; с этим символом это не так...»[13]

Даммит и Гич делают эти отрицательные заявления по причинам, которые мне кажутся отчасти неправильными или путаными. Даммит думает, что предложение с индикатором наклонения не может выражать что-либо или обозначать что-либо потому, что предложение «...утверждает нечто,.. а именно то, что мысль, выраженная тем, что следует за штрихом суждения, является истинной»[14]. Есть нечто, что, как я настаивал, никакое выражение не способно сделать; но и по другой причине эта идея также представляется неправильной. Если знак суждения утверждает, что мысль, выраженная остальной частью предложения, истинна, то знак императива должен утверждать, что мысль, выраженная остальной частью предложения, должна быть сделана истинной. Но эта конструкция стирает различие между суждением и командой. Гич говорит вместо этого, что индикатор наклонения (понятый, как его понял Фреге) «...показывает, что предложение утверждается»[15]. Эта конструкция сохраняет требуемое различие.

Я привел доводы и против Гича, и против Даммита, состоящие в том, что никакой индикатор наклонения не может показывать или утверждать, или любым другим способом конвенционально определять то, какую силу имеет высказывание. Но если это так, то мы остались без ясной теории того, какой вклад грамматическое наклонение вносит в значение. Действительно, мы, кажется, пришли к парадоксу. Грамматическое наклонение должно так или иначе вносить вклад в значение (пункт 2 выше), так как грамматическое наклонение — это в явном виде конвенциональная особенность предложений. Все же оно не может сочетаться с остальной частью предложения или изменять ее значение любым известным способом.

Обратимся за помощью к тому, что Остин назвал «явными перформативами». Мы отклонили идею, выдвинутую Дэ-

видом Льюисом, состоящую в том, что императивы могут быть сведены к явным перформативам, но для нас остается открытой возможность аналогий. Остин привлек внимание к тому факту, что «...мы можем в случае использования акта высказывания «Иди», достигнуть фактически того же самого, что мы достигаем актом высказывания «Я приказываю, чтобы Вы шли»[16]. Но как нужно анализировать явные перформативы?

Остин считал, что перформативы не имеют никакого истинностного значения на том основании, что высказывание предложений вида «Я приказываю, чтобы Вы шли» обычно не описывает собственный речевой акт, но скорее характеризует некоторый порядок. Это, возможно, точная теория того, как мы характеризовали бы множество речевых актов, которые состоят в произнесении явных перформативов. Но как описание того, что означают произнесенные слова, этот подход демонстрирует несоответствие между вариантами семантики глаголов некоторого первого лица в настоящем времени и другого лица в другом времени. Эта проблема не является основной, поскольку то, что присуще явным перформативам в собственном смысле, может быть лучше объяснено благодаря особому использованию слов с обычным значением, чем благодаря некоему особому значению.

Если мы принимаем любую из обычных семантик для явных перформативов, то неизбежно приходим к трудностям. Согласно стандартным теориям этого типа, в предложении вида «Джонс велел Смиту идти» конечные слова («Смиту идти») служат именованием или описанием предложения, высказывания, или смысла предложения. Чтобы показать релевантно встроенное предложение, мы можем переделать целое таким образом: «Джонс велел Смиту сделать так, чтобы Смит шел». И теперь, в стандартных теориях, предложение «Смит идет» не может в таком контексте иметь что-либо вроде своего обычного значения. Следовательно, изменяется и сфера его применения. Однако «Я приказываю Вам идти» (или переделанное «Я приказываю Вам сделать так, что Вы идете») имеет ту же самую форму, что и «Джонс велел Смиту

идти», и, таким образом, должно точно так же анализироваться с соответствующими изменениями субъекта и времени. Из этого следует, что в акте высказывания «Я приказываю, чтобы Вы шли» я не могу подразумевать под словами «Вы шли» что-нибудь вроде того, что я подразумевал бы под ними, если бы они стояли отдельно. В существующем контексте я использую эти слова просто для того, чтобы обратиться к предложению или высказыванию, которое они выражают. В таком случае кажется невозможным, что если любой стандартный анализ таких предложений правилен, то мое высказывание «Я приказываю, чтобы Вы шли» могло бы быть приказом идти.

Отметим сходные черты и в случае с суждением: одним из способов установления факта, что я не утверждаю, что идет дождь, когда я произношу слова «Идет дождь», являются слова «Джонс утверждал, что», поставленные в начале предложения. Как показывает большая часть исследований предложений этого типа, можно ожидать того же результата в случае, если я предпосылаю слова «Я утверждаю, что...».

Эта трудность — лишь одна среди прочих в случае с анализом обычного вида, именно она побудила меня принять совершенно иной подход к семантике косвенной речи, предложений мнения, предложений о командах, распоряжениях, надеждах, ожиданиях и так далее: огромное множество идиом, приписывающих отношения[17]. Оставляя в стороне те осложнения, которые возникают при внешней квантификации предложений (или при их исправлении в соответствии с канонической записью), мое предложение состоит в следующем. Имея в виду, что в любом случае высказывания, а не предложения обладают определенным истинностным значением и семантикой, мы должны быть удовлетворены анализом условий истинности высказывания вслух наподобие «Джонс утверждал, что идет дождь». Я предлагаю, чтобы мы рассмотрели такое высказывание как акт высказывания двух предложений: «Джонс утверждал, что» и затем «идет дождь». Если я утверждаю, что Джонс утверждал, что идет дождь, то я делаю это, утверждая «Джонс утверждал, что», причем про-

изнеся обычно не в утвердительном модусе предложение, которое передает содержание суждения Джонса; в данном случае, «идет дождь». Функция «что» в высказывании «Джонс утверждал, что» должна отсылать к следующему за ним высказыванию, которое передает содержание. Таким образом, здесь сама эта идея помещается на многословный, но наводящий на размышления путь: высказывание «Джонс утверждал, что идет дождь» имеет своими следствиями два высказывания:

> Джонс высказал суждение, содержание которого передается моим высказыванием. Идет дождь.

Этот анализ объясняет обычную неудачу замены в приписываниях отношения без обращения к любой нестандартной семантике, так как референция к «что» («that») изменяется с каждым изменением следующего за ним высказывания. Это также позволяет второму высказыванию состоять в вынесении суждения, как это было бы, если бы я честно сказал «Я выношу суждение, содержание которого будет передано моим следующим высказыванием». Точно так же я могу задать порядок в высказывании «Вы идете», даже если эти слова следуют за «Я приказываю это» или «Это — приказ».

Я предлагаю обращаться с неизъявительными грамматическими наклонениями почти таким же способом, как с явными перформативами, но не сводя эти другие грамматические наклонения к изъявительному. Вот в чем состоит идея. Мы также можем обойтись без изъявительных наклонений, так как мы не нашли никакого внятного способа использования знака суждения. Мы продолжим, как привыкли, иногда использовать изъявительные предложения, чтобы выносить суждения, иногда используя их, чтобы делать другие вещи; и мы продолжим использовать предложения в других грамматических наклонениях, чтобы выносить суждения, когда мы можем так сделать и считаем это необходимым.

По-английски мы отмечаем неизъявительные грамматические наклонения различными, иногда неоднозначными

способами, изменениями в глаголе, порядке слов, пунктуации или интонации. В таком случае, мы можем думать о неизъявительных предложениях как об изъявительных предложениях плюс выражениях, которые синтаксически представляют соответствующие преобразования; назовем такое выражение *устанавливающим грамматическое наклонение.* И точно так же, как неизъявительное предложение может быть расчленено на изъявительное предложение и устанавливающее наклонение, так и высказывание неизъявительного предложения может быть расчленено на два различных речевых акта, один — высказывание изъявительного предложения, а другой — высказывание выражения, устанавливающего наклонение. Нас не должно беспокоить, что мы обычно не исполняем эти действия одно за другим, но более или менее одновременно. Просто думайте о ком-то, почесывающем живот одной рукой и чешущем голову другой.

Мы видели, что выражение, устанавливающее наклонение не может трактоваться с семантической точки зрения как обычный сентенциальный оператор. Построение теории того, как значение неизъявительного предложения может быть результатом объединения значения изъявительного со значением выражения, устанавливающего наклонение, кажется практически невыполнимой задачей. Я предлагаю, чтобы мы приняли семантическую независимость изъявительных наклонений от сопровождающих их выражений, устанавливающих наклонение, не пытаясь их включать в простое предложение в изъявительном наклонении. С одной стороны, есть изъявительное предложение, а с другой — выражение, устанавливающее наклонение. Или, лучше, размышляя о высказывании, мы фиксируем высказывание изъявительного элемента, и здесь же (возможно, одновременно) присутствует высказывание выражения, устанавливающего наклонение. Произнесение высказываний в неизъявительном наклонении, таким образом, всегда разложимо на выполнение двух речевых актов.

Пока еще не слишком ясно, как совместить это предположение с предложениями Гича, Даммита, и, возможно, други-

ми. Я действительно пропустил знак суждения, но это может рассматриваться как проблема способов записи. Я также отклонил объяснение значения оператора наклонения в терминах конвенционального индикатора силы, с которой произведено отдельное высказывание. Таким образом, в центре моей теории есть некоторая пустота; я не сумел показать, что значит выражение, устанавливающее наклонение.

Гич отметил, что нечто, называемое мной выражением, устанавливающим наклонение, не является ни одной из частей речи. Причиной этого было то, что он думал о нем как о части более длинного предложения, и понимал, что оно не имеет семантических свойств сентенциального оператора. Мы удалили выражение, устанавливающее наклонение, из изъявительного предложения, которое оно сопровождает. Единственная форма, которую это выражение может иметь, единственная функция, которую оно может исполнять, — это предложение. Оно ведет себя подобно предложению, высказывание которого относится к произнесению изъявительного предложения. Если мы должны были представить в линейной форме высказывание, скажем, императивного предложения «Наденьте Вашу шляпу», то это вышло бы образом, подобным произнесению предложения «Мое следующее высказывание — императивно по силе», сопровождаемом высказыванием «Вы наденете вашу шляпу».

Это предполагает определенную семантическую ситуацию, но синтаксис не позволяет с ней работать. Выражение, устанавливающее наклонение, не может быть никаким реальным предложением английского языка, так как оно представляет собой некоторое преобразование. Я не хочу здесь утверждать, что императивные предложения являются двумя изъявительными предложениями. Скорее, мы можем показывать семантику высказывания императивного предложения, рассматривая две спецификации условий истины: условия истины высказывания изъявительного предложения, полученного преобразованием первоначального императива, и условия истины выражения, устанавливающего наклонение. Это выражение в высказывании «Наденьте Вашу шляпу» является

истинным, если и только если высказывание его изъявительного ядра императивно по своей силе.

Выражения, устанавливающие наклонение, характеризуют высказывание как имеющее некоторую иллокутивную силу; они не утверждают, что оно имеет эту силу, так как только носители языка могут производить суждения. Но если кто-то желает отдать приказ, он может успешно сделать это, произнеся утвердительно выражение, устанавливающее императивное наклонение. Тогда, если условия истины выражения, устанавливающего наклонение, устойчивы (если то, что утверждал носитель языка, истинно), то его высказывание изъявительного ядра будет состоять в отдаче приказа. Есть множество других способов, которыми он может отдавать тот же самый приказ, например, утверждая «Это — приказ» или «Настоящим я приказываю это», или просто произнося «Вы снимете Вашу шляпу» как приказ.

Я полагаю, что это предположение удовлетворяет тем трем требованиям, которые мы внесли в список для приемлемого анализа грамматических наклонений.

Во-первых, в этом предположении есть элемент, общий для всех грамматических наклонений. Синтаксически это — изъявительное ядро, преобразованное в неизъявительные грамматические наклонения. Семантически это — условия истины этого изъявительного ядра.

Во-вторых, грамматическое наклонение систематически представлено выражением, устанавливающим наклонение, (или его отсутствием в случае изъявительного наклонения). Эти выражения с точки зрения семантики функционируют как предложения, высказывание которых истинно или ложно в зависимости от того, имеет или не имеет высказывание изъявительного ядра указанную иллокутивную силу. Значение этого выражения конвенционально, но ничто не позволяет предположить, что это значение определяет иллокутивную силу высказывания этого выражения, связанного с ним изъявительного наклонения или его пары. Конвенциональная связь между грамматическим наклонением и силой состоит скорее в следующем: понятие силы — часть значения

наклонения. Высказывание императивного предложения в действительности говорит о некоторой силе этого предложения. Но это — не выражения вида «говорит» или «утверждает» (за исключением случайностей или добавлений). То, о чем оно говорит, — в этом неутвердительном (non-asserted) смысле — может быть как ложным, так и истинным. Этот факт не затрагивает концептуальную связь между грамматическим наклонением и силой.

В-третьих, простая семантика, основанная на теории истины для высказывания, работает здесь так же, как везде. В частности, все высказывания, которые теория принимает за основные, обладают стандартным истинностным значением. С другой стороны, если я прав, высказывание неизъявительного предложения не может считаться обладающим истинностным значением. Ведь каждое высказывание неизъявительного предложения обладает своим выражением, устанавливающим наклонение, и, таким образом, должно рассматриваться с семантической точки зрения как состоящее из двух высказываний. Каждое из этих двух высказываний обладает истинностным значением, но объединенное высказывание — это не высказывание конъюнкции, и, таким образом, не имеет истинностного значения.

РАДИКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

9. РАДИКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Курт произносит слова «Es regnet», и при правильных условиях мы знаем: он сказал, что идет дождь. Идентифицировав его высказывание как интенциональное и лингвистическое, мы способны проинтерпретировать его слова: мы можем сказать, что значат его слова в данном контексте. Благодаря чему мы можем так поступить? Как мы могли это узнать? Первый из этих вопросов — совсем не тот же самый вопрос, что и вопрос о том, каково наше *знание*, позволяющее нам интерпретировать слова других. Ведь легко могло бы случиться так, что мы могли обладать или не обладать тем знанием, которого было бы достаточно для интерпретации, но, с другой стороны, не очевидно наличие чего-либо, действительно нам известного и играющего существенную роль в интерпретации. Второй вопрос — как мы можем получить знание, которого будет достаточно для интерпретации — не касается, конечно, действительной истории изучения нами языка. Таким образом, это вдвойне гипотетический вопрос. Если дано, что некоторая теория делает интерпретацию возможной, то какое именно из эмпирических свидетельств будет решающим в принятии теории предполагаемым переводчиком? В этой статье я попробую заострить эти вопросы и предложить ответы.

Проблема интерпретации настолько же является внутренней, насколько и внешней: она всплывает на поверхность для носителей одного и того же языка в форме вопроса о том, как можно определить, что язык является тем же самым? Носители одного и того же языка могут исходить из допущения о том, что для них тождественные выражения должны интерпретироваться одинаково, но это не указывает на то, что обосновывает такое допущение. Любое понимание речи другого человека подразумевает радикальную интерпретацию. Но это удержит предполагаемые допущения от неяв-

ного сосредоточения на случаях, где наиболее явно необходима интерпретация: при интерпретации одной идиомы в другую[1].

Как знание помогло бы в интерпретации? Короткий ответ состоял бы в следующем: это знание того, что означает каждое содержательное выражение. По-немецки эти слова Курта означали бы, что идет дождь, и Курт говорил по-немецки. Так, произнесением слов «Es regnet» Курт сказал, что идет дождь. Этот ответ не просто заново констатирует проблему, как можно было бы подумать сначала. Он предполагает, что в переходе от неинтерпретирующего описания (его произнесение слов «Es regnet») к интерпретации описания (его высказывания, что идет дождь) мы должны ввести механизмы слов и выражений (которые могут или не могут быть проиллюстрированы действительным и высказываниями), а это предположение является чрезвычайно важным. Но ответ на него нам ничем не поможет, поскольку он не говорит, что́ фактически означает знать смысл этого выражения.

Действительно, здесь есть также намек, что нечто, соответствующее каждому содержательному выражению, и являющееся некоторым объектом, и есть его значение. Эта идея, даже если она правильна, вряд ли сможет помочь: в лучшем случае она гипостазирует проблему.

Разочарование в значениях как осуществляющих жизнеспособную теорию коммуникации или интерпретации помогает объяснить, почему некоторые философы пробовали обойтись не только без значений, но и без любой серьезной теории вообще. Привлекательная идея о том, что когда понятия, которые мы привлекаем для объяснения интерпретации, оказываются более сложными, чем *explanandum*, то это отражает факт, что вербальная коммуникация является не более, чем определенными колебаниями воздуха, которые формируют причинную связь между нелингвистическими действиями человеческих субъектов. Но хотя поддающиеся толкованию высказывания представляют собой не что иное, как действия, выполненные с различными нелингвистическими намерениями (чтобы предупреждать, управлять, раз-

влекать, отвлекать, оскорбить), а эти действия в свою очередь представляют собой лишь намеренные движения губ и гортани (идентичны с ними), данное наблюдение не подводит нас ближе к ясной общей теории о нашем знании, позволяющем нам повторно описывать неинтерпретированные высказывания как интерпретированные правильно.

Обращение к значениям оставляет нас в большем затруднении, чем когда мы начали с нелингвистических действий, которые должны были снабдить нас свидетельствами, являющимися основой для интерпретации. Установка «не что иное, как» не дает никаких объяснений тому, как свидетельство связано с тем, свидетельством чего оно служит.

Другие предложения заполнения этого промежутка также не достигают своей цели. «Причинные» теории Огдена, Ричардса и Чарльза Морриса пытались анализировать значение предложений, взятых по одному, на основе данных поведения. Даже если эти теории работали для самых простых предложений (чего явно не происходило), они не касались проблемы распространения метода на предложения с большей степенью сложности и абстрактности. Теории другого рода исходят из того, что пробуют соединение с нелингвистическими фактами слов, а не предложений. Это многообещающий подход, потому что число слов ограниченно, в то время как предложений — нет, и все же каждое предложение — не больше, чем соединение слов: это предлагает шанс такой теории, которая способна интерпретировать каждое из бесконечной последовательности предложений, используя только конечные ресурсы. Но такие теории будут не в состоянии объяснить эмпирические свидетельства, поскольку кажется ясным, что семантические особенности слов невозможно объяснять непосредственно на основе нелингвистических явлений. Причина этого проста. Явления, к которым мы должны обратиться, — это внелингвистические интересы и действия, которые обслуживает язык, а эта роль выполняется словами лишь постольку, поскольку слова включены (или при случае могут быть включены) в предложения. Но тогда нет никаких шансов предоставления ос-

новополагающей теории слов до предоставления такой теории для предложений.

По различным причинам при радикальной интерпретации нельзя надеяться принимать за подтверждение значения предложения сложные и во многом различные намерения, с которыми предложение обычно произносится. Сложно увидеть, как такой подход может иметь дело со структурной, рекурсивной особенностью языка, которая существенна для объяснения того, как могут быть поняты новые предложения. Но основная трудность состоит в том, что мы не можем надеяться придать смысл приписыванию точно различаемых намерений независимо от интерпретации речи. Причина этого состоит не в том, что мы не можем задавать необходимые вопросы, но что интерпретации намерений субъекта, его мнений и его слов являются частями одного проекта, ни одна из частей которого не может считаться выполненной прежде, чем завершены остальные. Если это так, то мы не можем считать все богатство намерений и мнений основой из эмпирических свидетельств для теории радикальной интерпретации.

У нас теперь появилась возможность сказать нечто большее о возможности интерпретации. Переводчик должен быть в состоянии понимать любое из бесконечной последовательности предложений, которые мог бы произнести носитель языка. Если мы должны эксплицировать знания переводчика, позволяющие ему работать, то мы должны придать нашему объяснению конечную форму[2]. Если это требование должно быть выполнено, то можно оставить всякую надежду на универсальный метод интерпретации. Самое большее, чего можно ожидать, — это объяснение того, как переводчик мог интерпретировать высказывания носителей одного языка (или их конечного числа): нет смысла требовать такой теории, которая давала бы явную интерпретацию для любого высказывания на любом возможном языке.

Все еще не ясно, конечно, что означает для теории дать явную интерпретацию высказывания. Формулировка пробле-

мы, кажется, приглашает нас думать о теории как о спецификации функции, принимающей высказывания за аргументы, а интерпретации за фактические значения. Но тогда интерпретации были бы не лучше, чем значения и, конечно, походили бы на некие таинственные объекты. Так что кажется уместным описать то, что требуется теории без обращения к значениям или интерпретациям: кто-то, знакомый с теорией, может интерпретировать высказывание, к которому применяется эта теория.

Второе общее требование к теории интерпретации состоит в том, что она может быть поддержана или проверена свидетельствами, доступными переводчику. Так как теория является общей, то она должна применяться к потенциальной бесконечности высказываний, и поэтому было бы естественно думать о свидетельствах в ее пользу как о случаях специфических интерпретаций, признанных правильными. И именно такие случаи, конечно, возникают для переводчика, имеющего дело с уже известным ему языком. Носитель того или иного языка обычно не может создать эксплицитную конечную теорию для своего собственного языка, но он может проверить предложенную теорию, сообщая, дает ли она правильные интерпретации, когда применяется к конкретному высказыванию.

Однако при радикальной интерпретации теория, как предполагается, предоставляет понимание конкретного высказывания, не данного заранее, поэтому окончательные свидетельства в пользу теории не могут быть типичными корректными интерпретациями. В общем случае, свидетельства должны быть доступны субъекту, еще не знающему, как интерпретировать те высказывания, которые теория предназначена охватить. Это должны быть такие свидетельства, к которым можно было бы обратиться без использования таких лингвистических понятий, как значение, интерпретация, синонимия и т. п.

Перед характеристикой того типа теории, которая, как я думаю, сможет работать подобным образом, я хочу обсудить последнее альтернативное предположение, а именно: что

метод перевода с языка, который нужно интерпретировать, на язык переводчика, — это и есть вся нужная в данном случае теория. Такая теория состояла бы в формулировке эффективного метода для движения от произвольного предложения иностранного языка к предложению знакомого языка; таким образом, это удовлетворило бы необходимость в однозначно сформулированном методе, применимом к любому предложению. Но я не думаю, что руководство по переводу, — это лучшая форма для теории интерпретации[3].

Когда нашей целью является интерпретация, метод перевода имеет дело с неправильной темой, с отношением между двумя языками, где требуется интерпретация одного (в другом, конечно, так как любая теория выражена на некотором языке). Мы не можем без путаницы считать язык, используемый для формулировки теории, частью предмета самой теории, если мы не задаем такое условие явным образом. В общем случае, теория перевода подразумевает три языка: объектный, субъектный и метаязык (языки перевода и язык той теории, которая говорит, какие выражения субъектного языка являются переводами выражений объектного языка). В этом общем случае мы можем знать, какие из предложений субъектного языка переводят предложения объектного языка без знания значения предложений любого из этих языков (во всяком случае в любом смысле, который позволил бы кому-то, кто понял теорию, интерпретировать предложения объектного языка). Если субъектный язык идентичен с языком теории, то некто, понимающий теорию, может без сомнения использовать руководство по переводу, чтобы интерпретировать высказывание на чужом языке. Это происходит потому, что его вклад направлен на привнесение двух вещей, которые он знает и которые теория не констатирует: факт, что субъектный язык является его собственным, и его знание того, как интерпретировать высказывания своего собственного языка.

Попробовать явно выразить то предположение, что упомянутое предложение принадлежит чьему-либо собственному языку, затруднительно. Мы могли пробовать, например,

«Es regnet» на языке Курта перевести на наш как «идет дождь», но указательной самореференции нет места в теории, которая должна работать для любого переводчика. Если мы решаем принять эту трудность, то остается тот факт, что метод перевода все еще остается не выраженым в явном виде и находится вне досягаемости той теории, которую мы должны знать, чтобы быть в состоянии интерпретировать наш собственный язык. Теория перевода должна распознавать определенный вид структуры предложения, но нет никаких причин ожидать, что это обеспечит понимание того, как значения предложений зависят от их структуры.

Теория, достаточная для интерпретаций высказываний, покажет важную особенность семантической структуры: интерпретация высказываний сложносоставных предложений зависит от интерпретации простых предложений. Предположим, что мы должны были бы добавить к теории перевода теорию интерпретации для нашего собственного языка. Тогда мы имели бы именно то, что нам нужно, но в избыточно громоздкой форме. Руководство по переводу предлагает для каждого предложения языка, с которого будет осуществляться перевод, предложение того языка, на который будет происходить перевод, что является избыточным с точки зрения практики; теория интерпретации, в таком случае, дает интерпретацию этих знакомых предложений. Ясно, что ссылка на собственный язык, — лишняя; это — ненужный посредник между интерпретацией и выражением иностранного языка. Единственные выражения, которые теория интерпретации должна упомянуть, должны принадлежать к тому языку, который нужно интерпретировать.

Теория интерпретации для объектного языка может в таком случае рассматриваться как результат слияния структурной теории, раскрывающей интерпретацию для известного языка, и системы перевода с неизвестного языка на известный. Слияние теорий делает любую ссылку на известный язык бесполезной; когда эта ссылка пропущена, остается лишь структурная теория раскрытия для объектного языка — изложенная, конечно, в знакомых и понятных словах. Как я

предполагаю, эти теории и есть теории истины в стиле Тарского[4].

Что характеризует теорию истины в духе Тарского — это то, что она подразумевает для каждого предложения *s* объектного языка предложение формы:

s истинно (в объектном языке) если и только если *p*.

Примеры из этой формы (которые мы назовем Т-предложениями) получены заменой «*s*» каноническим описанием *s* и заменой «*p*» переводом *s*. Важное и неопределенное семантическое понятие в теории — это понятие *выполнимости (satisfaction)*, которое связывает предложения, открытые или закрытые, с бесконечной последовательностью объектов, которые могут считаться принадлежащими диапазону переменных объектного языка. Аксиомы, конечные по числу, бывают двух видов: одни задают условия, при которых некоторая последовательность выполняет сложное предложение на основе условий выполнимости более простых предложений, другие задают условия, при которых выполняются самые простые (открытые) предложения. Истина определяется для закрытых предложений в терминах понятия выполнимости. Как показывает Тарский, рекурсивная теория подобного типа может быть использована для эксплицитного определения по знакомым методам, если язык теории в достаточной степени содержит теорию множеств; но этим дополнительным шагом мы заниматься не будем.

Дополнительные трудности возникают, если имена собственные и функциональные выражения являются нередуцируемыми в объектном языке. Еще более сложный вопрос касается указательных средств. Тарский занимался формализованными языками, не содержащими никаких указательных или демонстративных элементов. Поэтому он мог трактовать предложения как носители истинности; высказывание как экстенсионал теории является в этом случае тривиальным. Но естественные языки неизбежно изобилуют указательными средствами — такими, как грамматическое время, — и, таким образом, их предложения могут изменять свою истин-

ность в зависимости от времени и носителя языка. Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы характеризовать истину для языка относительно времени и субъекта. Снова мы получаем прямую отсылку к высказываниям[5].

Отсюда следует защита требования, согласно которому теория истины, измененная таким образом, чтобы применяться к естественному языку, может использоваться как теория интерпретации. Защита будет заключаться в попытках ответа на три вопроса:

1. Разумно ли считать, что для естественного языка можно предоставить теорию истины описанного вида?

2. Возможно ли определить правильность такой теории на основании имеющихся у переводчика свидетельств без предварительного знания языка, который нужно интерпретировать?

3. Если известно, что теория истинна, то возможно ли было бы интерпретировать высказывания носителей языка?

Первый вопрос адресован предположению, что можно задать теорию истины для естественного языка; второй и третий вопросы — тому, удовлетворила ли бы такая теория дальнейшие требования, которые мы предъявляем к теории интерпретации.

1. Можно ли задать теорию истины для естественного языка?

В понимании этой проблемы нам поможет краткое рассмотрение случая, когда значимый фрагмент языка (плюс один или два семантических предиката) используется для формулировки своей собственной теории истины. Согласно конвенции Т Тарского, проверка адекватности теории состоит в выяснении, выводятся ли из нее вся совокупность Т-предложений. Эта проверка, очевидно, не может быть выполнена без того, чтобы назначить предложениям языка нечто очень похожее на стандартную квантификационную форму, и обратиться, в теории, к реляционному понятию выполнимости[6]. Однако удивительная черта Т-предложений состоит в том, что независимо от того, какие средства применяются для их производства, и как бы это ни влияло на он-

тологию, в конечном итоге Т-предложение заявляет условия истинности предложения, используя не более богатые ресурсы, чем ресурсы самого предложения. Если в первоначальном предложении не упоминаются возможные миры, интенсиональные объекты, свойства или суждения, то этого не происходит и в суждении о его условиях истинности.

Не существует такого же простого способа сделать аналогичное замечание об иностранном языке без обращения, как это делает Тарский, к непроанализированному понятию перевода. Но то, что мы можем делать для нашего собственного языка, мы должны быть способны делать и для другого; проблема, как выяснится, будет состоять в том, чтобы знать, что мы это делаем.

Ограничение, накладываемое требованием теории, которая удовлетворяла бы конвенции Т, кажется значительным: в настоящее время нет общепринятого метода для работы в пределах такого ограничения, с множеством проблем, например, с предложениями, приписывающими установки, с модальностями, с общими причинными суждениями, с контрфактическими высказываниями, с атрибутивными прилагательными, с такими кванторами, как «наиболее» (most), и так далее. С другой стороны, в этой области происходит, как мне кажется, довольно внушительное продвижение. Некоторые примеры — это работа Тайлера Бёрджа об именах собственных[7], Гильберта Хармана о «долженствовании»[8], Джона Уоллеса об общих терминах и сравнениях[9], моя собственная работа о приписывании установок и перформативах[10], о наречиях, событиях и сингулярных причинных суждениях[11] и о цитировании[12].

Если мы склонны к пессимистическому взгляду на то, что остается сделать (или на что-то из уже сделанного!), то мы должны вспомнить о великолепных достижениях Фреге в объяснении того, что Даммит называет «множественной общностью»[13]. Фреге не имел в виду теорию истины в духе Тарского, но очевидно, что он искал, и нашел, структуры такого вида, для которого можно предоставить теорию истины.

Работа по детальному применению теории истины к естественному языку будет почти наверняка делиться на две стадии. На первой стадии истина будет характеризоваться не для целого языка, а для тщательно обработанной части языка. Эта часть, хотя и будет грамматически неуклюжей, будет содержать бесконечное множество предложений, исчерпывающих выразительную мощь языка в целом. Вторая часть будет ставить в соответствие каждому из остающихся предложений одно или (в случае многозначности) более одного предложения, для которых была характеризована истина. Мы можем считать предложения, к которым применяется первая стадия теории, предоставляющими логическую форму, или глубинную структуру, всех предложений.

2. Может ли теория истины быть проверена обращением к свидетельствам, доступным прежде, чем началась интерпретация?

Конвенция Т утверждает, что теория истины работает, если она производит Т-предложение для каждого предложения объектного языка. В таком случае, для проверки Т-предложений на истинность достаточно продемонстрировать, что теория истины эмпирически корректна (на практике, адекватный образец в какой-то мере подтвердит теорию). Т-предложения упоминают только закрытые предложения языка, поэтому релевантные свидетельства могут полностью заключаться в фактах о поведении и установках носителей языка по отношению к предложениям (без сомнения, посредством высказываний). Работающая теория должна обращаться с предложениями как с последовательностью выражений меньшей длины, чем предложения, она должна представить семантические понятия, подобные выполнимости и референции, и она должна прибегать к онтологии последовательностей и объектов, назначенных этими последовательностями. Весь этот аппарат нужно рассматривать как теоретическую конструкцию, не подлежащую прямой верификации. Он работает лишь в том случае, если он влечет за собой проверяемые результаты в форме Т-предложений, а они не содержат никаких упоминаний о задействованных в них тех-

нических средствах. Таким образом, теория истины сочетает спрос на теорию, которая ясно сформулирует грамматическую структуру, со спросом на теорию, которая может быть проверена только тем, что она говорит о предложениях.

В работе Тарского Т-предложения принимаются за истинные, потому что правая часть предложения, образованного при помощи биусловной связки, принимается за перевод условий истинности предложения. Но мы не можем заранее предполагать, что правильный перевод может быть принят без предварительного овладения радикальной интерпретацией; в эмпирических применениях мы должны отказаться от этого предположения. Я предлагаю изменить объяснение на обратное направление: предполагая перевод, Тарский был способен определить истину; идея состоит в том, чтобы принимать истину за основу и извлекать из нее теорию перевода или интерпретации. Преимущества, с точки зрения радикальной интерпретации, являются очевидными. Истина — единственное свойство, которое может или не может быть приписано высказываниям, в то время как каждое высказывание обладает своей собственной интерпретацией; и истина более пригодна к соединению с довольно простыми установками носителей языка.

Перефразировка конвенции Т без обращения к понятию перевода не слишком сложна. Приемлемая теория истины должна влечь за собой для каждого предложения *s* объектного языка предложение формы: *s* истинно, если и только если *p*, где «*p*» заменяется любым предложением, которое является истинным, если и только если *s* истинно. При такой формулировке теория проверяется свидетельствами того, что Т-предложения являются просто истинными; мы отказались от идеи, что необходимо различать, переводится ли *s* тем, что заменяет «*p*». Могло бы показаться, что нет никаких шансов на появление теории интерпретации, раз мы требуем от Т-предложений так немного. И, конечно, это было бы так, если мы рассматривали Т-предложения в изоляции. Но есть надежда на то, что при наложении соответствующих формальных и эмпирических ограничений на те-

орию в целом отдельные Т-предложения будут фактически служить тому, чтобы дать интерпретацию.

Мы должны еще сказать, что свидетельства доступны переводчику — свидетельства того, как мы теперь видим, что Т-предложения истинны. Свидетельства не могут заключаться в детальных описаниях мнений и намерений носителя языка, поскольку приписывание установок, по крайней мере, там, где требуются некоторые тонкие различения, нуждается в такой теории, которая должна опираться на те же самые свидетельства, что и интерпретация. Взаимозависимость мнения и значения проявляется таким образом: носитель языка считает предложение истинным в силу того, что это предложение (на его языке) означает, и в силу того, в чем он убежден. Зная, что он считает это предложение истинным, и зная его значение, мы можем вывести отсюда его мнение; имея достаточно информации о его мнениях, мы можем, по всей вероятности, выводить отсюда значение. Но радикальная интерпретация должна опираться на свидетельства, которые не предполагают знание значений или детальное знание мнений.

Здесь хорошо начать с принятия предложения за истинное, оценки его как истинного. Это, конечно, мнение, но это — единственная установка, применимая ко всем предложениям, и, таким образом, не требующая от нас способности точно различать мнения. Это — установка, которую переводчик может с высокой вероятностью определить до интерпретации, так как он может знать, что человек намеревается выразить истину, произнося некоторое предложение, без знания о том, *какую именно* истину. И дело не в том, что искреннее утверждение является единственной причиной для предположения, что человек считает предложение истинным. Ложь, команды, истории, ирония в случае, если оцениваются как установки, могут показать, считает ли носитель языка свои предложения истинными. Нет никаких причин исключать другие установки по отношению к предложениям, типа желания истины, желания сделать истинным, мнения о том, что нечто станет истинным, и так далее, но я скло-

нен полагать, что любые свидетельства такого рода могут быть выражены в терминах принятия предложений за истинные.

Предположим, что наличные свидетельства заключаются в том, что носители интерпретируемого языка считают различные предложения истинными в зависимости от времени и обстоятельств. Как может использоваться это свидетельство для обоснования теории истины? С одной стороны, мы имеем Т-предложения формы:

> (Т) «Es regnet» является истинным-по-немецки, когда говорится неким *x* во время *t*, если и только если идет дождь около *x* в *t*.

С другой стороны, мы имеем эмпирическое свидетельство в форме:

> (Е) Курт принадлежит к немецкому речевому сообществу, и Курт считает истинным «Es regnet» в субботу в полдень, и около Курта в субботу в полдень идет дождь.

Мы, я думаю, должны рассматривать (Е) как свидетельство того, что (Т) является истинным. Поскольку (Т) является условным предложением, к которому приписан квантор всеобщности, первый шаг должен был бы состоять в том, чтобы собрать большее количество свидетельств, чтобы поддержать требование, что:

> (GE) (*x*) (*t*) (если *x* принадлежит к немецкому речевому сообществу, то (*x* считает истинным «Es regnet» в *t*, если и только если идет дождь около *x* в *t*)).

Обращение к речевому сообществу сокращает путь, но не решает вопроса: носители языка принадлежат к тому одному речевому сообществу, если для них работают одни и те же теории интерпретации.

Очевидное возражение состоит в том, что Курт или кто-либо еще могут иметь неправильное мнение о том, идет ли дождь около них. И это — конечно, причина для того, чтобы не принимать (Е) как окончательное свидетельство в пользу

(GE) или для (T); а также это причина для того, чтобы не ожидать от обобщений, подобных (GE), чтобы они были истинными более, чем в общем смысле. Метод состоит скорее в том, чтобы подыскать нечто более подходящее. Нам нужна теория, которая удовлетворяет формальным ограничениям на теорию истины, и это максимизирует согласие в смысле признания Курта (и других) правыми, насколько мы можем это определить, и настолько часто, насколько это возможно. Понятие максимизации не может быть здесь принято буквально, так как число предложений бесконечно, и так или иначе, как только теория начинает принимать отчетливую форму, имеет смысл принять во внимание эту понятную ошибку и допустить вероятность различных видов искажений[14].

Процесс изобретения теории истины для неизвестного нам языка мог бы, в грубой схеме, идти следующим образом. Сначала мы ищем лучший способ соответствия нового языка нашей логике до степени, требуемой, чтобы получить теорию, удовлетворяющую конвенции T; это может означать изучение логической структуры квантификационной теории первого порядка (плюс идентичность) этого языка, не принимая логические константы по очереди, но обращаясь с этой большой частью логики как с сеткой, которая будет приспособлена к языку за один прием. Свидетельства здесь — классы предложений, всегда считаемых истинными или всегда считаемых ложными почти каждым человеком почти всегда (потенциальные логические истины), а также образцы вывода. Первый шаг идентифицирует предикаты, единичные термины, кванторы, связки и тождества; в теории это улаживает вопросы логической формы. Второй шаг концентрируется на предложениях с указательными словами; это предложения, иногда считающиеся истинными, а иногда ложными согласно обнаруживаемым изменениям в мире. Этот шаг в сочетании с первым задает пределы возможности интерпретации единичных предикатов. Последний шаг имеет дело с остальными предложениями — теми, по поводу которых нет однородного соглашения или оценка истинно-

стного значения которых не зависит систематически от изменений в окружающей среде[15].

Этот метод предназначен для решения проблемы взаимозависимости мнения и значения, в ходе определения значения поддерживая мнение постоянным настолько, насколько это возможно. Это выполняется при назначении предложениям другого языка таких условий истинности, которые делают носителей языка правыми, когда это возможно — согласно, конечно, нашему собственному подходу к тому, что является правильным. Эту процедуру обосновывает факт, что разногласие и согласие одинаково являются понятными только на фоне более общей конвенции. В применении к языку этот принцип гласит: чем больше предложений мы договариваемся принимать или отклонять (при посредстве интерпретации или без нее), тем лучше мы понимаем остальные, соглашаемся ли мы относительно них или нет.

Методологический совет проводить интерпретацию таким способом, который оптимизировал бы согласие, не должен восприниматься как опирающийся на связанное с принципом доверия предположение о человеческом интеллекте, могущее оказаться ложным. Если мы не можем найти способ интерпретации высказываний и другого поведения существа как раскрытие множества его мнений, в значительной степени последовательных и истинных по нашим собственным стандартам, то у нас нет причин считать это существо рациональным, имеющим мнения или вообще говорящим что-либо.

Здесь я хотел бы вставить замечание о методологии моего предложения. В философии мы привыкли к определениям, анализам, редукциям. Как правило, они предназначены вести нас от концепций, лучше понятых или более ясных, или более базовых в эпистемологическом или онтологическом смысле, к другим, которые мы хотим понять. Метод, который я предложил, не соответствует ни одной из этих категорий. Я предложил осветить и сделать основным некоторое более свободное отношение между понятиями. В центре находится формальная теория, теория истины, которая на-

лагает сложную структуру на предложения, содержащие исходные понятия истины и выполнимости. Эти понятия применяются в соответствии с формой теории и характером свидетельств. Результатом становится частично интерпретируемая теория. Преимущество такого метода находится не в его вольном обращении с понятием поддержки свидетельствами, но в идее мощной теории, интерпретируемой в наиболее благоприятном пункте. Это позволяет нам сочетать потребность в семантически ясно сформулированной структуре с теорией, проверяемой только на уровне предложения. Более тонкая выгода состоит в том, что трудно уловимое свидетельство в поддержку каждого из потенциально бесконечного количества замечаний может принести богатые результаты даже по отношению к этим замечаниям. Зная только условия, при которых субъекты считают предложения истинными, мы можем прийти, при наличии работающей теории, к интерпретации каждого предложения. Остается доказать это последнее требования. Сама теория в лучшем случае задает условия истины. Что мы должны показать — это то, что если такая теория удовлетворяет ограничениям, которые мы определили, то это может быть использовано для интерпретации.

3. Если мы знаем, что теория истины удовлетворяет описанным выше формальным и эмпирическим критериям, можем ли мы интерпретировать высказывания на том языке, для которого предназначена эта теория?

Теория истины влечет за собой Т-предложение для каждого предложения объектного языка, а Т-предложение задает условия истины. Поэтому возникает искушение просто говорить, что Т-предложение «задает значение» предложения. Конечно, не именуя или описывая объект, являющийся его значением, но просто говоря, при каких условиях высказывание предложения является истинным.

Но при размышлении становится ясно, что Т-предложение не задает значение предложения, к которому оно относится: Т-предложения устанавливают истинностное значе-

ние относительно определенных условий, но оно не говорит, что предложение объектного языка истинно, *потому что* эти условия действительны. Все же, если бы важно было только истинностное значение, то Т-предложение для «Снег бел» могло бы также утверждать, что «Снег бел» истинно, если и только если трава зелена или 2 + 2 = 4 истинно, если и только если снег бел. Мы можем быть уверены, что, возможно, ни одна из теорий истины, опирающихся на понятие выполнимости, не произведет такого аномального Т-предложения, но эта уверенность не позволяет нам производить большее количество Т-предложений.

Ход, который мог бы оказаться здесь полезным, состоит в требовании, что не только Т-предложение, но и его каноническое доказательство позволяет нам интерпретировать предложение на иностранном языке. Каноническое доказательство, учитывающее теорию истины, легко построить при перемещении по последовательности предложений, образованных биусловными связками. Здесь для однозначности потребуются только решения в зависимости от ситуации, распределяющие приоритет между соседними членами. Доказательство отражает логическую форму, которую теория приписывает предложению, поэтому можно было бы считать, что так мы узнаем нечто о значении. Но фактически мы знали бы не больше, чем прежде, о том, как интерпретировать, если бы все, что мы знали, — это то, что некоторая последовательность предложений является доказательством конкретного Т-предложения, основанным на некоторой истинной теории.

Последнее предположение в этом направлении заключается в том, что мы можем интерпретировать конкретное предложение, если знаем правильную теорию истины, которая имеет дело с языком этого предложения. Ведь тогда мы знаем не только Т-предложение для предложения, которое нужно интерпретировать, но мы также «знаем» Т-предложения для всех других предложений и, конечно, все доказательства. Тогда мы видели бы место предложения в языке в целом, мы будем знать роль каждой значимой части предложе-

ния, и мы знали бы о логических связях между этим предложением и другими.

Если бы мы знали, что Т-предложение удовлетворяет конвенции Т Тарского, мы знали бы, что оно истинно, и мы могли бы это использовать для интерпретации предложения. Мы знали бы, что правая часть предложения, образованного при помощи биусловной связки, является переводом того предложения, которое нужно интерпретировать. Наша нынешняя проблема вырастает из того факта, что при радикальной интерпретации мы не можем предполагать, что Т-предложение удовлетворяет критерию перевода. Что мы пропустили, однако, — это то, что мы предоставили альтернативный критерий: этот критерий заключается в том, что вся совокупность Т-предложений должна (в смысле, описанном выше) оптимально соответствовать свидетельствам для предложений, которые носители языка считают истинными. Настоящая идея состоит в том, что то, что Тарский прямо приписывал каждому Т-предложению, может косвенно устанавливаться жестким применением холистического подхода. Если этот подход адекватен, то каждое Т-предложение фактически предоставит приемлемую интерпретацию.

В таком случае Т-предложение эмпирической теории истины может использоваться для интерпретации предложения, если мы также знаем теорию, следствием которой она является, и знаем, что это — теория, которая удовлетворяет формальным и эмпирическим критериям[16]. Ведь если ограничения являются адекватными, диапазон приемлемых теорий будет таков, что любая из них будет предоставлять некоторую правильную интерпретацию для каждого потенциального акта высказывания. Чтобы видеть, как это могло бы работать, примем на мгновение абсурдную гипотезу о том, что эти ограничения сужают количество возможных теорий до одной, и эта единственная теория подразумевает Т-предложение (Т) предварительно изученным. Тогда у нас есть основания использовать это Т-предложение, чтобы интерпретировать слова Курта «Es regnet» как его высказывание, что идет дождь. Учитывая гибкий характер ограничений, мало-

вероятно, что все приемлемые теории будут идентичны. Когда на руках имеются все свидетельства, то остаются, как подчеркнул Куайн, компромиссы между мнениями, которые мы приписываем носителю языка, и интерпретациями, которые мы придаем его словам. Но вытекающая отсюда неопределенность не может быть настолько большой, что любая теория, которая выдерживает проверки, сможет служить для интерпретации.

10. МНЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ

Значение и мнение играют взаимозависимые и взаимодополняющие роли в интерпретации речи. Подчеркивая связь между нашими основаниями для приписывания мнений носителям языка и нашими основаниями для присваивания значений тому, что они говорят, я надеюсь объяснить некоторые проблематичные свойства как мнения, так и значения.

Мы интерпретируем некоторый фрагмент лингвистического поведения, когда заявляем, что слова субъекта приобретают значение при использовании. Эта задача может быть рассмотрена как переописание. Мы знаем, что слова «Es schneit» были произнесены в конкретном случае, и мы хотим повторно описать это произнесение как акт высказывания, что идет снег[1]. Что нам нужно знать, если мы должны иметь возможность повторно описывать речь таким образом, то есть интерпретировать то, что произносит субъект? Поскольку компетентный переводчик может интерпретировать любое из потенциальной бесконечности высказываний (или то, что мы можем вообще сказать), мы не можем определить, что он знает, составив список его действий. Он знает, например, что, произнося «Es schneit» при определенных условиях и с определенными намерениями, Карл сказал, что идет снег; но есть бесконечное количество дальнейших случаев. Поэтому мы должны дать некоторую конечную теорию, из которой следуют конкретные интерпретации. Эта теория может быть использована для того, чтобы описать аспект компетентности переводчика в понимании того, что сказано. Мы также можем, если захотим, утверждать, что в переводчике содержится некоторый механизм, который соответствует теории. Если это означает только то, что эта задача выполняется тем или другим механизмом, трудно представить, как это утверждение могло бы не быть истинным.

Теория интерпретации — общее дело лингвиста, физиоло-

га и философа. Ее предмет — поведение носителя или носителей языка, и это говорит о том, что означают некоторые из их высказываний. Наконец, теория может использоваться, чтобы описать то, что знает каждый переводчик, а именно уточняемое бесконечное подмножество истинных выражений этой теории. В этой статье я кое-что скажу и многое предположу о форме, которую может принять теория интерпретации. Но я хочу сосредоточиться на вопросе о том, как мы можем определить истинность какой-либо подобной теории.

Один ответ приходит сразу. Теория истинна, если ее эмпирические импликации истинны; мы можем проверять теорию, испытывая ее импликации на истинность. В данном случае это означает замечать, корректны ли типичные интерпретации, которые теория дает тому, что произносит субъект. Мы считаем, что любой компетентный переводчик знает, являются ли соответствующие импликации истинными; в таком случае любой компетентный переводчик может проверять теорию таким образом. Это не означает, конечно, что найти истинную теорию — тривиальная задача, это подразумевает, что при наличии теории ее проверка не может требовать никакого тайного знания.

Первоначальный вопрос, однако, заключается в том, откуда мы знаем, что та или иная интерпретация правильна, а наш сразу пришедший ответ — не на этот вопрос. Высказывание может, без сомнения, интерпретироваться в соответствии с правильной теорией, но если проблема состоит в определении правильности интерпретации, то образцы правильных интерпретаций не послужат поддержке той теории, которая их дает. Здесь очевидный тупик; мы нуждаемся в теории прежде, чем в эмпирических свидетельствах, которые мы затем засчитываем в ее пользу.

Эта проблема заметна, потому что неинтерпретированные высказывания кажутся подходящей эмпирической базой для теории значения. Если бы приемлемая теория могла быть поддержана такими свидетельствами, это привело бы к концептуальному продвижению, поскольку такая теория

была бы определенно семантической по характеру, в то время как свидетельства были бы описаны в несемантических терминах. Попытка опереться на еще более простые свидетельства — скажем, бихевиористские — может только сделать задачу построения теории тяжелее, хотя это могло бы принести большее удовлетворение. В любом случае, мы можем без проблем предпринять нечто меньшее.

Основной источник затруднений — тот способ, которым мнения и значения сотрудничают в объяснении высказанного. Носитель языка, который считает предложение истинным в зависимости от случая его употребления, считает так частично из-за того, что он подразумевает, или подразумевал бы, высказыванием этого предложения, и частично из-за своих мнений. Если все, что мы должны проследить, — факт искреннего высказывания, мы не можем вывести мнение, не зная значения, и не имеем никаких шансов выведения значения без знания мнения.

Напрашиваются различные стратегии, при помощи которых можно разорвать этот круг. Одна из них состоит в том, чтобы обнаружить свидетельства значений слов, независимые от мнений. Они должны быть независимыми также от намерений, желаний, сожалений, пожеланий, одобрений и конвенций, так как все они содержат компонент мнения. Вероятно, некоторые думают, что можно было бы установить правильность теории интерпретации без знания (или создания) большого количества мнений, но нелегко представить себе, как это можно сделать.

Гораздо более допустима идея выведения теории интерпретации из подробной информации о намерениях, желаниях и мнениях носителей языка (или переводчиков, или и тех, и других). Я считаю ее стратегией тех, кто пытается определить или объяснить лингвистическое значение на основе нелингвистических намерений, употреблений, целей, функций и т. п.: таковы традиции Мида и Дьюи, Витгенштейна и Грайса. Эта стратегия, как я думаю, также не отвечает существующим потребностям.

Конечно, невозможно оспаривать тот методологический

принцип, согласно которому при возникновении заводящих в тупик проблем со значением, референцией, синонимией и так далее мы должны помнить, что эти понятия, подобно самим понятиям слова, предложения и языка, абстрагируются от тех социальных действий и установок, которые придают им содержание. Повседневные лингвистические и семантические понятия — это часть интуитивной теории для организации более простых данных, поэтому рассмотрение этих понятий и их предполагаемых объектов как живущих собственной жизнью может привести лишь к путанице. Но это наблюдение не отвечает на вопрос о том, откуда мы знаем, когда верна интерпретация высказывания. Если наши обычные понятия предполагают запутанную теорию, то мы должны искать лучшую теорию, но не прекращать теоретизировать.

Не может быть никаких возражений также и против детализации сложных и важных отношений между тем, что означают слова субъекта, и его нелингвистическими намерениями и мнениями. У меня есть сомнения относительно возможности *определения* лингвистического значения в терминах нелингвистических намерений и мнений, но эти сомнения (или их источники) не важны для данной темы.

Эта тема является основной в свидетельствах о том, является ли адекватной та или иная теория интерпретации. Эти свидетельства должны поддаваться описанию в несемантических, нелингвистических терминах, если их наличие должно отвечать на вопрос, который мы поставили; кроме того, это должны быть свидетельства такого рода, что мы можем допустить их наличие и у неопытного исследователя, еще не владеющего той теорией, в пользу которой они свидетельствуют. Именно здесь я вижу проблему. Принципиальное, а не просто практическое препятствие к подтверждению существования детальных, общих и абстрактных мнений и намерений возникает тогда, когда мы неспособны к распознанию значения слов субъекта. Мы достаточно хорошо чувствуем нелепость попытки узнать, не спрашивая, верит ли человек, что существует самое большое простое число, или

намерен ли он, произведя определенный шум, заставить кого-то прекратить курить тем, что тот распознает, что шум был произведен с этим намерением. Нелепость заключается не в том факте, что было бы очень трудно выяснить эти вещи без языка, но в том, что у нас нет особых идей насчет того, как подступиться к подтверждению существования таких установок, когда коммуникация невозможна.

Если мы скажем, что наши сложные мнения, намерения и мысли подобны безмолвному высказыванию, то это замечание будет не слишком удачно. Мое утверждение состоит лишь в том, что детальный смысл намерений и мнений человека не может не зависеть от смысла того, что он высказывает вслух. Если это так, то опись сложных мнений и намерений носителя языка не может свидетельствовать об истинности теории интерпретации его речевого поведения.

Поскольку мы не можем надеяться интерпретировать лингвистическую деятельность без того, чтобы знать, во что верит субъект, и не можем основать теорию того, что он подразумевает на предшествующем раскрытии его убеждений и намерений, я заключаю, что при интерпретации высказанного, начинающей с нуля — при *радикальной* интерпретации — мы должны так или иначе дать одновременно теорию мнения и теорию значения. Как это возможно?

Чтобы сделать эту проблему достаточно острой и достаточно простой для относительно краткого обсуждения, позвольте мне внести изменение в описание оснований свидетельства для теории интерпретации. Вместо высказывания выражений вслух я хочу рассмотреть некоторую установку по отношению к выражениям, установку, которая может проявляться или не проявляться при действительном высказывании. Это установка на рассмотрение истины, релятивизированной по времени. Мы можем также предположить, что имеем доступ ко всему, что может быть известно о таких установках — прошлого, настоящего и будущего. Наконец, я хочу вообразить, что мы можем описывать внешние обстоятельства, при которых эти установки принимаются или не принимаются. Типичным видом свидетельств, доступных в

таких случаях, был бы следующий: субъект считает «Es schneit» истинным тогда и только тогда, когда идет снег. Допустимо, как я надеюсь, сказать, что мы способны различить, когда субъект считает предложение истинным, даже не зная, какое значение он придает этому предложению, или каких мнений он придерживается о его содержании, или какие детальные намерения побудили или могли бы побудить его произнести это предложение. Часто доказывается, что мы должны предположить, что бóльшая часть высказанного носителем языка — предложения, которые он считает истинными: если это так, то независимый доступ к базе эмпирических свидетельств обеспечен. Но возможны и более слабые предположения, так как нам могут попасться и заядлый лгун, и вечный обманщик.

В таком случае проблема заключается в следующем: мы предполагаем, что знаем, когда и какие предложения носитель языка считает истинными, и мы хотим знать, какое значение он им придает и каково его мнение. Возможно, мы могли бы справиться с этим делом, если бы знали достаточно о его мнениях и намерениях, но на это нет никаких шансов без предшествующего знакомства с теорией интерпретации. Учитывая интерпретации, мы могли бы объяснять мнения, исходя из свидетельств, но это уже предполагает то, что мы хотим узнать.

Мне пришла в голову аналогия с известной проблемой в теории принятия решений. Предположим, что некоторому субъекту безразлично, получить ли 5.00 $ или сыграть в азартную игру, которая предлагает ему 11.00 $, если монета упадет орлом, и 0.00 $, если она упадет решкой. Мы могли бы объяснить (то есть «интерпретировать») его безразличие тем, что денежные суммы для него имеют убывающую предельную полезность: сумма в 5.00 $ находится в его субъективном масштабе ценностей посередине между 0.00 $ и 11.00 $. Мы приходим к этому, предполагая, что стоимость азартной игры — это сумма ценностей возможных результатов, регулируемая их вероятностями. В этом случае мы предполагаем, что вероятности выпадения орла и решки одина-

ковы. К сожалению, есть равно правдоподобное альтернативное объяснение: так как 5.00 $ очевидно не находится посередине между 0.00 $ и 11.00 $, субъект должен полагать, что выпадение решки более вероятно, чем орла. Если бы он думал, что орел и решка одинаково вероятны, то он, конечно, предпочел бы игру, которая была бы тогда равна прямому предложению 5.50 $.

Суть здесь очевидна. Выбор между азартными играми происходит в результате действия двух психологических факторов: относительных ценностей, которые субъект присваивает результатам, и вероятностей, которые он назначает результатам, обусловленным его выбором. Учитывая мнения субъекта (его субъективные вероятности), легко вычислить его относительные ценности по тем выборам, которые он сделал; учитывая его ценности, мы можем вывести его мнения. Но если нам даны только варианты его выбора, то как мы можем исследовать и его мнения, и его ценности?

Эта проблема во многом подобна проблеме интерпретации. Решение в случае теории решения ясно; ничего подобного не может быть предложено в теории значения. Однако, как я думаю, можно применить аналогичную стратегию. Предложение Фрэнка Рамсея по разрешению проблемы теории решений (в немного упрощенном виде) выглядит так[2]. Предположим, что есть две альтернативы, получить 11.00 $ и получить 0.00 $, и что есть такое событие *E*, что субъекту безразличен выбор между следующими двумя азартными играми: первая игра — если происходит *E*, то субъект получает 11.00 $; если *E* не происходит, он получает 0.00 $. Вторая игра — если *E* происходит, он получает 0.00 $; если *E* не происходит, он получает 11.00 $. Безразличие субъекта между этими играми показывает, что он должен полагать, что *E* может произойти с той же вероятностью, что и не произойти. Ведь если бы он считал, что *E* может произойти с бóльшей вероятностью, чем не произойти, он предпочел бы первую игру, которая обещает ему 11.00 $, если *E* происходит. Если бы он думал, что *E* более вероятно не произойдет, чем произойдет, он предпочел бы вторую игру, которая в случае,

когда *E* не происходит, позволяет ему получить 11.00 $. Это снимает для теории решений проблему того, как отделить субъективную вероятность от субъективной полезности, потому что, как только обнаружено событие, подобное *E*, становится возможным определение масштаба других ценностей, а затем и определение субъективных вероятностей для всех событий.

В этой версии теории решений основанием для базы эмпирических свидетельств является предпочтение между альтернативами, некоторые из которых рискованны; предпочтение здесь соответствует установке на принятие за истину в случае интерпретации, насколько я понимаю эту проблему. Действительный выбор в теории решения соответствует действительному высказыванию в интерпретации. Объяснение конкретного предпочтения подразумевает осуществление сравнительной классификации ценностей и оценки вероятности. Поддержку объяснению оказывает не новый вид понимания установок и мнений субъекта, но бóльшее количество наблюдений предпочтений того вида, который еще нужно объяснить. Короче говоря, чтобы объяснить (то есть интерпретировать) конкретный выбор или предпочтение, мы наблюдаем *другие* случаи выбора или предпочтения; они поддержат теорию, на основе которой можно объяснить первоначальный выбор или предпочтение. Приписывание субъективных ценностей и вероятностей является частью теоретической структуры и представляет собой удобный способ суммарного описания фактов, относящихся к структуре основных предпочтений; нет никакого способа проверить их независимо. Более широко, моя мысль звучит так: мы должны думать о значениях и мнениях как о взаимосвязанных конструктах одной теории так же, как мы уже рассматриваем субъективные ценности и вероятности в качестве конструктов теории решений.

Один из способов представления некоторых из объяснительных фактов, относящихся к поведению в ситуации выбора и выявляемых теорией решений, состоит в том, чтобы присвоить числовые значения, скажем, субъективным ценно-

стям результатов, полученным конкретным субъектом. Мы могли бы назначить числа 0, 1 и 2 как измерения ценности получения кем-то 0.00 $, 5.00 $ и 11.00 $ соответственно. Опрометчивому исследователю это говорило бы о том, что для этого субъекта 11.00 $ вдвое более ценно, чем 5.00 $. Только при изучении основной теории выяснялась бы истина, состоящая в том, что назначение чисел для измерения полезности было уникально до линейного преобразования, но не после него. Числа 2, 4 и 6 могли бы точно так же послужить для регистрации фактов, но 6 не является числом, вдвое большим 4. Теория придает смысл сравнению различий, но не сравнению абсолютных величин. Когда мы представляем факты предпочтения, полезности и субъективной вероятности, присваивая числа, то лишь некоторые из свойств чисел используются, чтобы ухватить эмпирически обоснованный образец. Другие свойства используемых чисел могут поэтому быть выбраны произвольно, подобно нулевой отметке и единице в измерении полезности или температуры.

Одни и те же факты могут быть представлены совершенно разными присваиваниями чисел. При интерпретации речи представление таких предполагаемых сущностей, как суждения, значениями предложений или объектами мнений может ошибочно привести нас к уверенности в том, что свидетельства обосновывают или должны обосновывать своего рода единственность, чего на самом деле не происходит. В теории решений мы можем точно устанавливать, какие свойства чисел релевантны для измерения полезности, а какие — для измерения вероятности. Поскольку суждения намного неопределеннее, чем числа, то неясно, до какой степени они перепроектированы для своей работы.

Между теорией решения и теорией интерпретации существует не только аналогия, но и связь. Со стороны теории решений это то, что Уорд Эдвардс когда-то назвал «проблемой представления» для эмпирических применений теории решений. Чтобы изучать предпочтения субъекта — в частности, в случае сложных азартных игр — необходимо описать варианты выбора словами. Но откуда экспериментатор мо-

жет знать, что эти слова означают для предмета? И это не просто теоретическая проблема: хорошо известно, что два описания того, что экспериментатор принимает за один и тот же вариант выбора, могут вызвать у субъекта различные реакции. Мы сталкиваемся здесь с проблемой, которую мы только что обсуждали в связи с интерпретацией: нет причин предполагать, что мы можем интерпретировать речевое поведение без подробной информации о мнениях и намерениях. При этом нет причин воображать, что мы можем обосновать приписывание предпочтения среди сложных вариантов выбора, если мы не можем интерпретировать речевое поведение. Радикальная теория решений должна включать в себя теорию интерпретации и не может требовать ее в качестве предварительного условия.

Со стороны теории интерпретации существует очевидная трудность различения ситуации, когда человек принимает предложение за истинное. Теория решений и идеи здравого смысла, которые стоят за ней, помогают привести доводы в пользу взгляда, согласно которому мнения лучше всего могут быть поняты по их роли в рационализации выбора или предпочтения. Здесь мы рассматриваем только один специальный вид мнения — мнения о том, что предложение истинно. Все же даже в этом случае было бы лучше, если мы могли добраться через мнения до предпочтений, которые могли бы проявляться при выборе. Сейчас у меня нет подробного предложения, как бы это могло или должно быть осуществлено. Первый важный шаг был сделан Ричардом Джеффри[3]. Он устраняет некоторую создающую проблемы путаницу в теории Рамсея, сводя довольно темную онтологию этой теории, которая имела дело с событиями, выборами и суждениями к онтологии только суждений. Предпочтения между суждениями, принимающие их истинность, становятся тогда базой эмпирических свидетельств — так, чтобы пересмотренная теория позволила нам говорить о степенях убежденности в истинности суждений и об относительной силе желания того, чтобы суждения были истинными. Как указывает Джеффри, в целях его теории объек-

тами этих различных установок могли бы также приниматься предложения. Если эта замена произведена, мы можем объединить предмет теории решения и теории интерпретации. Конечно, Джеффри предполагает, что предложения понимаются субъектом и создателями теории одинаково. Но эти две теории могут быть объединены и без такого предположения. Теория, за которую мы должны в конечном счете бороться, — это такая теория, которая принимает за базу свидетельств предпочтения среди предложений — предпочтения, чтобы одно предложение было истинным скорее, чем другое. Теория тогда объясняла бы индивидуальные предпочтения этого вида, приписывая мнения и ценности субъекту и значения его словам[4].

В этой статье я не буду продолжать размышления о возможностях объединения теорий решений и интерпретации; я возвращаюсь к проблеме интерпретации высказанного на основе информации о том, когда и при каких внешних обстоятельствах предложения, примером которых является то, что было высказано, считаются истинными. Центральные идеи того, что я сказал до сих пор, могут быть резюмированы следующим образом: поведенческие или диспозициональные факты, которые могут быть описаны способами, не предполагающими интерпретации, но на которых может быть основана теория интерпретации, с необходимостью будут вектором значения и мнения. Один из результатов состоит в том, что для интерпретации конкретного высказывания необходимо строить всеобъемлющую теорию для интерпретации потенциальной бесконечности высказываний. Свидетельство для интерпретации конкретного высказывания должно поэтому быть эмпирическим свидетельством для интерпретации всего высказанного говорящим или сообществом. Наконец, если такие сущности, как значения, суждения и объекты мнений, имеют законное место в объяснении речевого поведения, то только потому, что можно показать, что они играют полезную роль в построении адекватной теории. Нет никаких причин полагать заранее, что эти сущности окажут какую-либо помощь, и поэтому идентификация

значений выражений или объектов мнений не может быть независимой целью теории или анализа.

Понимание этих идей, которыми мы в значительной степени обязаны Куайну, представляет одно из немногих реальных крупных достижений в изучении языка. Я сформулировал эти вопросы своим собственным способом, но я думаю, что различия между нами скорее в оттенках, чем по существу. Многое из того, что написал Куайн, по понятным причинам сосредотачивается на разрушении неуместной уверенности в полноценности или ясности таких понятий, как аналитичность, синонимия и значение. Я попытался подчеркнуть положительные стороны. Куайн, как и все остальные, хочет построить теорию интерпретации. Его критика значения нацелена на противодействие ложным начинаниям, но аргументы в поддержку резкой критики предоставляют основания для приемлемой теории.

Я принял то, что я считаю преимущественно куайновой картиной проблемы интерпретации, и та стратегия для ее решения, которую я хочу предложить, очевидно, во многом восходит к нему. Также имеются некоторые различия. Одно различие касается формы, которую должна принимать теория. С точки зрения Куайна, мы должны создать руководство по переводу (рекурсивно задаваемая функция), которое выдает предложение на языке переводчика для каждого предложения носителя языка (или больше чем одно предложение в случае двусмысленности). Чтобы интерпретировать конкретное высказывание, надо показать перевод предложения и определить руководство по переводу. Кроме того, необходимо точно знать, какая информация была сохранена в руководстве по переводу, которое отвечает эмпирическим ограничениям: что передается инвариантным, если можно так выразиться, от одного приемлемого руководства по переводу к другому.

Я предлагаю строить теорию как явно семантическую по характеру — фактически, теория должна принимать форму теории истины в духе Тарского[5]. В духе Тарского, но с модификациями, позволяющими решить существующие пробле-

мы. Во-первых, нам нужна *теория* истины, тогда как Тарский заинтересован в эксплицитном определении. Эту модификацию я не буду сейчас обсуждать: это главным образом касается вопроса о том, насколько богатая онтология доступна в том языке, на котором строится теория. Во-вторых, чтобы согласовать присутствие указательных местоимений в естественном языке, необходимо релятивизировать теорию истины ко времени и к субъекту (и, возможно, к некоторым другим вещам). Третья модификация более серьезна и при обсуждении оказывается в самом центре проблемы. Конвенция Т Тарского требует от теории истины, чтобы та выражала условия некоторым предикатом, скажем, «является истинным», таким, что все предложения определенной формы вызваны им. Это предложения знакомой формы «„Снег бел" истинно, если и только если снег бел». В случае с формальными языками, о которых говорит Тарский, Т-предложения (как мы можем назвать эти теоремы) узнаваемы по своему синтаксису, и это верно, даже если объектный язык и метаязык — различные языки, и даже если кавычки мы заменяем на что-то более поддающееся управлению. Но при радикальной интерпретации синтаксическая проверка истинности Т-предложений была бы бесполезна, поскольку такая проверка предполагает понимание объектного языка, которого мы еще надеемся достичь. Причина проста: синтаксическая проверка, как подразумевается, всего лишь формализует отношение синонимии или перевода, и в работах Тарского по истине это отношение принимается как не вызывающее вопросов. Наш подход представляет собой инверсию подхода Тарского: мы хотим достичь понимания значения или перевода, предполагая предшествующее схватывание понятия истины. Поэтому нам требуется такой способ оценки приемлемости Т-предложений, который не являлся бы синтаксическим и не использовал бы понятия перевода, значения или синонимии, но такой, что приемлемые Т-предложения фактически влекли бы за собой интерпретации.

Теория истины будет материально адекватна, то есть будет правильно определять экстенсионал истинностного пре-

диката, если будет производить для каждого предложения *s* объектного языка теорему формы «*s* истинно, если и только если *p*», где «*s*» заменяется описанием *s*, а «*p*» заменяется предложением, которое является истинным, если и только если *s*. Для целей интерпретации, однако, истинности Т-предложений недостаточно. Теория истины повлечет за собой интерпретации только в том случае, если ее Т-предложения заявляют условия истинности в терминах, которые могут трактоваться как «задающие значения» предложений объектного языка. Наша задача состоит в том, чтобы найти для этой теории достаточно сильные ограничения, гарантирующие, что она может использоваться для интерпретации.

Есть ограничения формального характера, которые вытекают из требования, чтобы теория была конечно аксиоматизированной и чтобы она удовлетворяла конвенции Т (модифицированной соответственным образом)[6]. Если метаязык рассматривается как содержащий обычную теорию квантификации, то будет трудно, если не вообще невозможно, обнаружить в объектном языке что-либо иное, чем стандартные структуры квантификации. Это не подразумевает, что мы вообще можем истолковывать что-либо в объектном языке, просто допуская его наличие в метаязыке, например, присутствие модальных операторов в метаязыке не обязательно ведет к теории истины для модального объектного языка.

Теория, опирающаяся на понятие выполнимости, не может, как представляется, исходить из стандартных квантификационных структур или их обычной семантики. Мы должны ожидать, что теория будет опираться на нечто подобное рекурсивной характеристике выполнимости того вида, который показал Тарский, и опишет предложения объектного языка в терминах знакомых образцов, созданных квантификацией и перекрестной референцией, предикацией, истинностно-функциональными связями и так далее. Отношение между этими семантически податливыми образцами и поверхностной грамматикой предложений может, конечно, быть очень сложным.

Таким образом, результат применения формальных ограничений заключается в приспособлении объектного языка в целом к узким рамкам теории квантификации. Хотя это, без сомнения, может быть сделано многими способами, если таковые вообще имеются, маловероятно, что приемлемые теории будут различаться в своей логической форме. Идентификация семантических признаков предложения будет тогда в основном инвариантна: правильные теории в целом придут к согласию по поводу квантификационной структуры, приписываемой данному предложению.

Вопросы об установлении логической формы, логических константах, теории квантификации (включая идентичность) будут с необходимостью обнаружены в объектном языке (скрытые, вероятно, глубоко под поверхностью). Остается интерпретировать исходные выражения. Главная проблема состоит в том, чтобы найти систематический способ, которым можно ставить предикаты метаязыка в соответствие исходным предикатам объектного языка, чтобы произвести приемлемые Т-предложения. Если предикаты метаязыка переводят предикаты объектного языка, то все наверняка выйдет правильно; если они обладают теми же экстенсионалами, то этого могло бы быть достаточно. Но использование этих понятий в установлении ограничений чуждо нашей программе: ограничения должны иметь дело только с предложениями и истиной. Однако легко увидеть, как Т-предложения резко ограничивают выбор интерпретации предикатов для предложений с указательными признаками; например, Т-предложение для «Das ist weiss» должно иметь форму примерно следующего вида: «Для всех говорящих по-немецки *x* и во всякое время *t* „Das ist weiss“ является истинным, когда сказано *x* в *t*, если и только если объект, демонстрируемый *x* в *t*, бел». Как указал Куайн при обсуждении онтологической относительности, здесь может оставаться место для альтернативных онтологий и для альтернативных систем интерпретации предикатов объектного языка. Я полагаю, что диапазон приемлемых теорий истины может быть сведен к точке, где все приемлемые теории дадут Т-предложения, кото-

рые мы можем трактовать как выдающие правильные интерпретации путем применения дополнительных, разумных и не вызывающих вопросов ограничений. Но оставим подробности для другого случая.

Гораздо больше, очевидно, следует сказать об эмпирических ограничениях на теорию — условиях, при которых Т-предложение может быть принято как правильное. Мы условились, что для теории базу свидетельств будут составлять факты, относящиеся к обстоятельствам, при которых носители языка считают предложения своего языка истинными. Такие свидетельства, как я уже говорил, нейтральны и находятся как бы между значением и мнением, не предполагая ни то, ни другое. Теперь требуется показать, что такие данные могут обеспечивать проверку Т-предложений на приемлемость.

Я предлагаю взять тот факт, что носители языка считают предложение истинным (при уже рассмотренных обстоятельствах) как *prima facie* свидетельство того, что предложение является истинным при этих обстоятельствах. Например, положительные реализации предложения «Говорящие (по-немецки) считают „Es schneit" истинным тогда и только тогда, когда идет снег» должны приниматься как подтверждающие не только обобщение, но также и Т-предложение «„Es schneit" истинно (по-немецки) для субъекта x во время t, если и только если идет снег в t (и около x)».

Не от всех свидетельств можно ожидать, что они будут указывать на одно и то же. Существуют различия между носителями языка и различия в позиции одного и того же субъекта в разные периоды, с учетом обстоятельств, при которых предложение считается истинным. Общая политика, однако, состоит в том, чтобы выбрать такие условия истинности, которые наилучшим из возможных образом позволяют субъектам считать предложения истинными, когда (согласно теории и взгляду на факты создателя теории) эти предложения истинны. Это — общая политика, которая может быть изменена различными способами. Можно допустить, что субъекты различаются более часто и более радикально от-

носительно одних предложений, чем относительно других, и нет никаких причин не принимать во внимание наблюдаемые или выводимые индивидуальные различия, которые могут быть помыслены как вызывающие аномалии (с точки зрения теории)[7].

Построение теории не может быть вопросом выбора соответствующего Т-предложения для одного предложения объектного языка за раз; должен быть создан образец, который сохраняет формальные ограничения, обсужденные выше, и удовлетворяет требованиям эмпирических свидетельств, насколько это возможно. И, конечно, тот факт, что теория не делает носителей языка универсальными хранителями истин, не представляет неадекватность теории; ее цель — не абсурдная цель уничтожения разногласий и ошибок. Суть скорее в том, что всеобщее согласие — это единственно возможный фон, на котором могут интерпретироваться споры и ошибки. Придание смысла высказываниям и поведению других людей, даже их наиболее девиантному поведению, требует, чтобы мы обнаружили в них большое количество рациональности и истины. Видеть слишком много неразумности со стороны других значит просто разрушать нашу способность понять то, по поводу чего они настолько неразумны. Если значительная степень согласия по простым вопросам, которая предполагается при коммуникации, ускользает от внимания, то это потому, что разделяемых истин слишком много и они слишком скучны, чтобы заслуживать упоминания. Мы обычно хотим говорить о том, что ново, удивительно или спорно.

Мы можем быть уверены, что теория, предназначенная интерпретировать высказывания одного субъекта и основанная только на его установках по отношению к предложениям, имела бы множество похожих конкурентов, поскольку различия в интерпретации могли быть компенсированы соответствующими различиями в приписанных мнениях. Однако, когда дано сообщество носителей языка с одним и тем же лингвистическим репертуаром, теоретик будет бороться за единую теорию интерпретации: это очень сузит его прак-

тический выбор предварительных теорий для каждого отдельного субъекта. (В длительном диалоге мы с необходимостью приходим к теории, применимой в социальной области, и совершенствуем ее по мере того, как становятся доступными свидетельства, принадлежащие другому субъекту.)

Социальную теорию интерпретации делает возможной то, что мы можем строить множество разнообразных индивидуальных структур мнений: мнение построено, чтобы заполнить разрыв между предложениями, считаемыми истинными отдельными индивидуумами, и предложениями, истинными (или ложными) по общественным стандартам. Для мнения характерно не его доступность лишь одному человеку, но возможность быть уникальным. Приписывания мнения так же поддаются публичной проверке, как и интерпретации, будучи основаны на тех же самых свидетельствах: если мы можем понимать то, что человек говорит, мы можем знать то, чему он верит.

Если взглянуть на интерпретации с предложенной мной точки зрения, то маловероятно, что только одна теория окажется подходящей. Вытекающая отсюда неопределенность интерпретации является семантическим дубликатом неопределенности перевода Куайна. При моем подходе степень неопределенности, как я думаю, будет меньше, чем рассматривает Куайн — частично потому, что я защищаю принятие принципа доверия на всеобщих основаниях, и частично потому, что уникальность квантификационной структуры обеспечена в явном виде, если выполнены требования конвенции Т. Но в любом случае вопрос о неопределенности не является самой важной темой этой статьи. Неопределенность значения или перевода не представляет неспособность схватывания существенных различий; она отмечает тот факт, что некоторые очевидные различия не являются существенными. Если присутствует неопределенность, то потому, что даже когда в наличии все свидетельства, тем не менее, все еще остаются открытыми альтернативные пути установления фактов. Мы уже упоминали аналогию из теории решений: если числа 1, 2, и 3 схватывают содержательные отно-

шения между тремя альтернативами по субъективной ценности, то так делают и числа −17, −2, +13. Неопределенность такого вида не может нас всерьез интересовать.

Важно здесь то, что если значение и мнение взаимозависимы, как я предположил, то идея о том, что у каждого мнения есть свой определенный объект, и идея о том, что каждое слово и предложение имеют определенное значение, не могут быть использованы в описании цели успешной теории. Ведь даже если, вопреки рациональным ожиданиям, никакой неопределенности вообще не было бы, то такие сущности, как значения и объекты мнений, не представляли бы самостоятельного интереса. Мы могли бы, конечно, с чистой совестью изобретать такие сущности, если бы были уверены, что нет никаких равновероятных альтернативных теорий. Но если бы мы знали это, мы знали бы и то, как сформулировать наши теории, не упоминая об этих сущностях.

Теориям мнения и значения могут не требоваться никакие экзотические сущности, но эти теории используют понятия, которые отделяют такие теории от физических и других непсихологических наук: такие понятия, как значение и мнение, никоим образом не сводимы к физическим, неврологическим или даже бихевиористским понятиям. Эта несводимость, однако, не вызвана неопределенностью значения или перевода, поскольку, если я прав, неопределенность важна только для привлечения внимания к тому, как интерпретация речи связана с интерпретацией действия вообще, а также с приписыванием желаний и мнений. Несводимость основных понятий к этим теориям обусловлена скорее теми методами, которые мы должны использовать при создании теорий мнения и значения. Каждая интерпретация и приписывание установки представляет собой ход в пределах холистической теории — теории, по определению руководствующейся стремлением к непротиворечивости и общей когерентности с истиной, и именно это отделяет эти теории от тех, которые описывают лишенные сознания (mindless) объекты или описывают носителей языка как лишенных сознания[8].

11. МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ

Какова связь между мышлением и языком? Зависимость речи от мышления очевидна, так как говорить — это выражать мысли. Эта зависимость проявляется бесконечным числом способов. Если кто-либо произносит предложение «Свеча погасла» как предложение русского языка[1], то он должен намереваться произнести слова, которые являются истинными, если и только если указанная свеча на момент высказывания действительно погасла, и должен быть убежден, что, издавая эти звуки, он произносит слова, которые являются истинными только при указанных обстоятельствах. Эти намерения и мнения столь естественны, что субъект, свободно владеющий языком, не акцентирует на них своего внимания. Однако хотя они могут и не привлекать внимания, их отсутствия было бы достаточно, чтобы показать, что он не говорил по-русски, а полное отсутствие каких-либо аналогичных мыслей показало бы, что он не говорил вообще.

Вопрос заключается в другом: может ли существовать мышление без речи? Первая и естественная реакция — да. У нас есть хорошо известный, надоедливый опыт неспособности подобрать слова для выражения имеющихся у нас идей. При случае кто-то может решить, например, что редактор выразил его мысль лучше, чем смог бы он сам. И известен пример Нормана Малкольма с собакой, которая, загнав белку в лес, лаяла не на то дерево[2]. Нетрудно приписать собаке мнение, что белка находится именно на том дереве, на которое она лает.

Менее очевидная, но не менее определенная интуиция подсказывает другой путь. Можно задаться вопросом: обладает ли субъект, который не может подобрать правильные слова, отчетливой мыслью? Приписывание намерений и мнений собаке отдает антропоморфизмом. Примитивный бихевиоризм, подрываемый индивидуальным, частным ха-

рактером невысказанных мыслей, может подкрепляться представлением, что мышление в действительности есть «разговор с самим собой» — молчаливая речь.

Под поверхностью этих противоположных тенденций находятся мощные (если не помпезные) течения, которые, возможно, помогут объяснить, почему философы главным образом предпочитают просто занимать ту или иную позицию по этому вопросу, нежели аргументировать ее. Какова бы ни была на то причина, вопрос об отношении между мыслью и речью, кажется, редко задавался сам по себе, в чистом виде. Общепринятое допущение состоит в том, что то или иное, речь или мысль, легко понять, сопоставляя с другим, поэтому одно, более трудное (что бы это ни было, язык или мышление), может быть проанализировано и прояснено в терминах другого.

На мой взгляд, это допущение ложно: ни язык, ни мышление нельзя полностью объяснить друг через друга, и ни то, ни другое не является приоритетным с концептуальной точки зрения. Оба они действительно связаны в том смысле, что нуждаются друг в друге для того, чтобы быть понятыми; но эта связь не настолько полна, чтобы можно было полностью объяснить одно через другое, даже когда она достаточно подкреплена доводами. Чтобы прояснить это утверждение, необходимо прежде всего показать, каким именно образом мысль зависит от речи. Это и есть тезис, который я хочу раскрыть и затем привести доводы в его пользу.

Мы приписываем мысль субъекту всякий раз, когда используем утвердительное предложение, основной глагол которого — психологический (в русском это — «убежден», «знает», «надеется», «желает», «думает», «боится» и т. д.), следом за которым идет предложение и который предваряется именем или описанием субъекта. (За глаголом может произвольно или с необходимостью следовать «что».) Некоторые из таких предложений описывают состояния, другие сообщают о событиях или процессах: «убежден», «считает, что» и «хочет» сообщают о состоянии, в то время как «пришел ко мнению», «забыл», «заключил», «заметил», «подтверждает» — о

событиях или процессах. В предложениях, которые могут использоваться для приписывания мыслей, проявляется то, что часто называют семантической интенсиональностью (или анализируют как таковую). Это означает, что приписывание может быть изменено с истинного на ложное или с ложного на истинное при помощи таких подстановок в участвующих в нем предложениях, которые не повлияли бы на истинностное значение предложения, рассмотренного в отдельности.

Я не считаю само собой разумеющимся предположение о том, что если у субъекта есть мысль, то мы можем, располагая лишь вышеуказанными критериями, корректно приписывать ему эту мысль. Но мысли, которые можно приписать субъекту таким образом, по крайней мере дают хороший образец всей совокупности мыслей.

Сомнительно, что различные виды мыслей могут быть редуцированы к одной или даже к нескольким: такие важные случаи как желание, знание, мнение, страх, интерес, вероятно, являются логически независимыми до такой степени, что ни один из них не может быть определен посредством других, даже наряду с привлечением таких дополнительных понятий как истина и причина. Однако среди всех видов мысли центральным является мнение (belief). Если кто-то доволен, или замечает, или помнит, или знает, что пистолет заряжен, то он должен располагать мнением о том, что пистолет заряжен. Даже чтобы задаться вопросом, заряжен ли пистолет, или размышлять о возможности того, что пистолет заряжен, требуется мнение, например, что пистолет — оружие, что это — более или менее прочный материальный объект, и так далее. Имеются хорошие основания для того, чтобы не настаивать на каком-то конкретном списке мнений, которые необходимы для того, чтобы субъект мог задаться вопросом, заряжен ли пистолет. Тем не менее, необходимо, чтобы существовало бесконечное число взаимосвязанных мнений. Система таких мнений идентифицирует мысль, локализуя ее в логическом и эпистемическом пространстве.

Наличие мыслей требует существования фона, состояще-

го из разнообразных мнений, но наличие конкретной мысли не зависит от состояния мнений относительно этой отдельной мысли. Если я рассматриваю возможность сходить на концерт, то я знаю, что до некоторой степени буду вынужден совершить определенные хлопотные действия и понести материальные издержки, и у меня есть более сложные мнения относительно удовольствия, которое я получу. Я с удовольствием прослушаю, скажем, Grosse Fuge Бетховена, но только в том случае, если исполнение пройдет на приемлемом уровне, а я буду в состоянии не отвлекаться на всем его протяжении. Таким образом, у меня есть мысль сходить на концерт, но до тех пор, пока я не решу, идти или нет, у меня нет устойчивого мнения о том, что я пойду, до этого времени я просто лелею свою мысль.

Мы можем сказать, резюмируя последние два абзаца, что мысль определена системой мнений, но сама по себе автономна по отношению к мнению.

Обычно мы думаем, что владение языком по большей части заключается в способности говорить, а то, что следует после произнесения высказываний, относится к делу лишь косвенно. Существенным для моего аргумента является идея переводчика (interpreter), кого-то, кто понимает высказывания другого. Выдвигаемые соображения подразумевают, как я думаю, что носитель языка должен сам интерпретировать других, но я не буду пытаться показать, что переводчик должен быть также и носителем языка, хотя могут иметься веские основания, чтобы так считать. Возможно, стоит указать, что само понятие языка, или двух людей, говорящих на одном и том же языке, здесь не является необходимым. Два субъекта вполне могли бы интерпретировать высказывания друг друга без общего (в любом обычном смысле) языка. (Я не отрицаю, что в других контекстах понятие общего, разделяемого несколькими субъектами языка может быть очень важно.)

Главный тезис этой статьи — субъект не может иметь мыслей, если он не переводит речь другого. Этот тезис не подразумевает возможность редукции, бихевиористской или

какой либо еще, мысли к речи. Он не подразумевает приоритета языка, эпистемологического или концептуального. Наше заявление также отличается от других подобных заявлений в следующем: оно допускает возможность существования мыслей, для которых субъект не может найти соответствующих слов или для которых не существует никаких слов.

Тот, кто в состоянии интерпретировать акт высказывания русского предложения «Пистолет заряжен», должен иметь множество мнений, а они должны быть во многом подобны мнениям, которые имели бы место, если бы он только занимал себя мыслью о том, что пистолет заряжен. Переводчик должен, как мы можем предположить, быть убежденным в том, что пистолет — оружие и что он является более или менее прочным материальным объектом. Вероятно, не существует никакого строго очерченного списка вещей, относительно которых нужно иметь сложившееся мнение для понимания предложения «Пистолет заряжен», но для этого необходимо обладать бесконечным количеством взаимосвязанных мнений.

Переводчик знает условия, при которых высказывания являются истинными, и часто знает, что если некоторые предложения истинны, то истинны и другие. Например, переводчик с русского языка знает, что если предложение «Пистолет заряжен, и дверь закрыта» истинно, то предложение «Дверь закрыта» также истинно. Предложения языка располагаются в логическом пространстве, образованном структурой отношений такого рода. Очевидно, структура отношений между предложениями во многом подобна структуре отношений между мыслями. Этот факт способствовал распространению представления о том, что было бы избыточно принимать обе модели за основные. Если мышление более фундаментально, то у языка, как представляется, нет иных целей, кроме выражения или передачи мыслей; в то же время, если считать первичной речь, то возникает искушение анализировать мысли как речевые диспозиции: как пишет Селларс, «...мышление на отчетливо человеческом уровне... представляет собой, в сущности, вербальную деятельность»[3].

Однако ясно, что параллель между структурой мышления и структурой предложений не предоставляет доводов в пользу первичности любой из них, а лишь предположение об их взаимозависимости.

До сих пор мы свободно говорили о мыслях, мнениях, значениях и интерпретациях, или скорее, свободно использовали предложения, содержащие эти слова. Но, конечно, остается неясным, какие объекты или виды объектов должны иметься в наличии, чтобы придать систематический смысл таким предложениям. Тем не менее, эксплицитное обсуждение мыслей и высказываний характерно для обычного способа объяснения человеческого поведения и должно расцениваться как организованная часть здравого смысла, которая может быть также названа теорией. Один из способов исследования отношений между мышлением и языком состоит в анализе теории, имплицитной для такого рода объяснения.

Часть теории имеет дело с телеологическим объяснением действия. Мы задумываемся: почему человек поднял руку? Объяснением могло бы быть то, что он хотел привлечь внимание своего друга. Это объяснение потерпело бы неудачу, если бы этот человек не считал, что он привлечет внимание друга, подняв руку. Тогда полным или, во всяком случае, более полным объяснением его действия было бы то, что он хотел привлечь внимание своего друга и надеялся, что, поднимая руку, он сможет это сделать. Объяснение такого привычного вида имеет некоторые характерные признаки, которые следует подчеркнуть. Оно объясняет то, что относительно очевидно — поднятие руки — обращением к факторам гораздо более проблематичным: желаниям и мнениям. Но если бы мы потребовали подтверждения правильности этого объяснения, то это подтверждение, в конечном счете, содержало бы дополнительные данные о самом типе объясняемого события, а именно о дальнейшем поведении, объясненном через постулированные мнения и желания. Таким образом, обращение к мнениям и желаниям для объяснения действия является способом представить действие как часть структуры поведения, которую теория связывает в единое

целое. Это не означает, конечно, что мнения — всего лишь структуры поведения или что соответствующие структуры могут быть определены без использования понятий мнения и желания. Тем не менее, существует ясный смысл, в котором приписывания мнений и желаний и, тем самым, телеологические объяснения мнений и желаний нередуктивно следуют (supervenient) из более широкого описания поведения.

Особенностью телеологического объяснения, не обязательно свойственной объяснению вообще, является характер обращения к понятию *причины*. Мнение и желание, объясняющие действие, должны быть таковы, что любой, обладающий теми же мнением и желанием, будет иметь причину действовать точно так же. Более того, описание, которое мы даем желанию и мнению, в телеологическом объяснении должно выявить рациональность действия в контексте содержания мнения и объекта желания.

Убедительность телеологического объяснения основывается, как было отмечено, на его способности обнаружить связную структуру в поведении субъекта. Связность (когерентность) здесь включает идею рациональности в двух смыслах: действие должно быть объяснено причинно в контексте соответствующих желаний и мнений, а кроме того, указанные желания и мнения должны соотноситься друг с другом. Методологическая презумпция рациональности не отрицает возможность приписывания иррациональных мыслей и действий субъекту, но налагает ограничения на такие приписывания. Мы ослабляем интеллегибельность приписывания мыслей любого вида до такой степени, что уже не можем раскрыть непротиворечивую структуру мнений, а следовательно, и действий, так как только на фоне такой структуры мы можем идентифицировать мысли. Если мы видим человека, тянущего за оба конца веревки, мы можем решить, что он борется сам с собой или что он хочет переместить веревку в противоположных направлениях. Такое объяснение требовало бы сложной аргументации. Проблем не возникает, если объяснение заключается в том, что он хочет порвать веревку.

С точки зрения кого-то, дающего телеологические объяснения действиям другого, явно не имеет смысла обозначать приоритет желания или мнения. Оба существенны для объяснения поведения, и ни одно из них не представляется более прямо доступным для наблюдения, чем другое. Это создает проблему, поскольку означает, что поведение — наиболее очевидное основание для приписывания мнений и желаний — рассматривается как результат двух сил, менее доступных непосредственному наблюдению. Так, где одна совокупность мнений и желаний приводит к какому-либо рациональному действию, всегда можно найти другую, отличающуюся от нее совокупность, которая приведет к тому же конечному действию. Даже большому набору действий угрожает неприемлемо большое количество альтернативных объяснений.

К счастью, мы располагаем более совершенной теорией, твердо основывающейся на здравом смысле: теорией предпочтения, или принятия решений в условиях неопределённости. Впервые она была отчетливо сформулирована Фрэнком Рамсеем, хотя он представил ее скорее в виде подведения теоретического основания под понятие вероятности, чем как работу по философской психологии[4]. Теория Рамсея работает путем измерения силы предпочтения и степени убежденности во мнении, опираясь на вполне естественную мысль, что при выборе линии действия мы принимаем в расчет не только желательность возможных результатов, но также и то, насколько возможно, придерживаясь доступных нам линий поведения, прийти к желаемому результату. Теория не предполагает, что мы можем напрямую судить о степени убежденности или делать численные сравнения ценностей. Скорее она постулирует разумные структуры предпочтений между возможными линиями действия и показывает, как построить систему квантифицированных убеждений и желаний, объясняющую выбор. При наличии идеализированных условий, постулированных теорией, метод Рамсея делает возможным идентифицировать релевантные мнения и желания единственным образом. Вместо того, чтобы говорить

о постулировании, мы можем представить вопрос следующим образом: в той мере, в какой мы можем видеть за действиями субъекта непротиворечивую (рациональную) структуру некоторого вида, мы можем объяснять его действия в терминах системы квантифицированных мнений и желаний.

Мы еще вернемся к теории решений; теперь пришло время обратиться к вопросу о том, как интерпретируется речь. Непосредственная цель теории интерпретации — дать значение произвольных высказываний членов языкового сообщества. Центральной для интерпретации, как я показал, является теория истины, удовлетворяющая конвенции Т Тарского (и модифицированная таким образом, чтобы ее можно было применить к естественному языку). Такая теория может быть принята в качестве интерпретирующей любое предложение, которое может произнести носитель языка. Чтобы принадлежать речевому сообществу — то есть интерпретировать речь других — субъект действительно нуждается в знании такой теории и в знании того, что это теория правильного типа[5].

Теория интерпретации, подобно теории действия, позволяет нам воспроизводить некоторые свершившиеся события. Подобно тому, как теория действия может ответить на вопрос, что делает субъект, подняв руку, повторно описывая это действие как попытку привлечь внимание друга, метод интерпретации может привести к повторному описанию произведения определенных звуков как акта высказывания о том, что снег бел. Однако, в этой точке аналогия прерывается, поскольку теория решений также может объяснять действия, в то время как совсем не ясно, каким образом теория интерпретации может объяснить произнесение субъектом слов «Снег бел». Но этого, в конце концов, и следовало ожидать, так как произнесение слов является действием, и поэтому телеологическое объяснение и здесь основывается на мнениях и желаниях. Интерпретация важна для телеологического объяснения речи, так как чтобы объяснить, почему кто-то сказал что-то, мы среди прочего должны знать его собственную интерпретацию сказанного, а именно, что по его

мнению означают его собственные слова в тех обстоятельствах, в которых он их произнес. Естественно, это включает некоторые его мнения о том, как его слова проинтерпретируют другие люди.

Взаимосвязь теории действия с интерпретацией проявится иначе, если мы зададимся вопросом о том, как может быть проверен метод интерпретации. В конце концов, ответ может состоять в том, что интерпретация помогает упорядочить наше понимание поведения. Но на промежуточной стадии мы можем видеть, что установка «считать истинным» или «принимать за истину», направленная на предложения, должна играть центральную роль в формировании теории. С одной стороны, большинство случаев использования языка сообщает нам, прямо или косвенно, считает ли носитель языка то или иное предложение истинным. Если цель носителя языка состоит в том, чтобы сообщить информацию или сделать искреннее утверждение, то обычно субъект убежден, что в данных обстоятельствах он произносит истинное предложение. Когда произносится приказ, обычно мы можем предположить, что субъект считает определенное предложение (близко связанное с произнесенным предложением) ложным; аналогично для многих случаев обмана. Когда задается вопрос, обычно это указывает на то, что вопрошающий не знает, является ли некоторое предложение истинным, и так далее. Чтобы на основании подобных свидетельств заключить, что носитель языка считает предложение истинным, мы должны знать многое о его желаниях и мнениях, но нам не обязательно знать, что означают его слова.

С другой стороны, знание обстоятельств, при которых кто-то считает предложение истинным, является самым важным для интерпретации. Мы видели на примере мыслей, что, хотя большинство мыслей — не мнения, именно структура мнений позволяет нам идентифицировать любую мысль. Аналогичным образом в случае языка, хотя большинство высказываний не связаны с истиной, именно структура предложений, полагаемых истинными, придает предложениям их значение.

Установка считать предложение истинным (при определенных условиях) фундаментальным образом связывает мнение и интерпретацию. Мы можем знать, что носитель языка считает предложение истинным, не зная, что он подразумевает под ним или какое мнение он им выражает. Но если мы знаем, что он считает предложение истинным, и знаем, как его интерпретировать, то мы можем корректно приписать ему определенные мнения. И, соответственно, если мы знаем, какое умение выражается предложением, считающимся истинным, мы знаем, как его проинтерпретировать. Методологическая проблема интерпретации состоит в том, чтобы, если даны предложения, которые человек принимает за истинные при данных обстоятельствах, выявить, в чем состоят его мнения и что означают его слова. Эта ситуация подобна ситуации в теории решений, где, зная предпочтения человека между альтернативными линиями действия, мы можем различать и его мнения, и его желания. Конечно, нельзя думать, что теория интерпретации окажется изолированной, поскольку, как было замечено, нет никаких шансов выявить, когда предложение считается истинным, без возможности приписывания желаний и возможности описания действий как обладания сложными намерениями. Это наблюдение не лишает теорию интерпретации собственного интереса, но определяет ей место в пределах более всесторонней теории действия и мышления[6].

Вопрос, который мы поставили перед собой, — требуется ли интерпретация для теории действия? — все еще не прояснен. Достоверно, однако, что все стандартные способы проверки теорий решений или предпочтений в условиях неопределенности опираются на использование языка. Относительно просто устранить необходимость устных реакций со стороны субъекта: он может выразить предпочтение действием, прямо достигая своей цели, не говоря, чего он хочет. Но это не снимает вопроса о том, что он выбрал. Человек, выбирающий скорее яблоко, чем грушу, когда ему предлагают и то, и другое, может тем самым выражать предпочтение тому, что находится от него слева, а не справа, тому, что является крас-

ным, а не желтым, тому, что он видит первым или считает более дорогим. Повторные проверки могут сделать одни толкования его действий более правдоподобными, чем другие, но останется проблема, как определить, когда он считает два объекта выбора идентичными. Тесты, включающие неопределенные события — выбор между играми, — еще труднее представить без использования слов. Психолог, скептически относящийся к своей возможности удостовериться в том, как субъект интерпретирует его инструкции, должен добавить теорию речевой интерпретации к проверяемой теории. Если мы представим все акты выбора как проявление предпочтения, заключающегося в том, что истинным будет одно предложение, а не другое, то получающаяся в конечном итоге общая теория должна обеспечить интерпретацию предложений и в то же самое время приписывать мнения и желания, понимаемые как связывающие субъекта с предложениями или высказываниями. Эта комплексная теория объясняла бы все поведение, вербальное и прочее.

Все вышесказанное предполагает, что приписывание желаний и мнений (а также других мыслей) должно производиться параллельно с интерпретацией речи. Ни теория решений, ни теория интерпретации не могут успешно разрабатываться друг без друга. Но все еще необходимо более убедительно и детально показать, почему приписывание мысли зависит от интерпретации речи. Общая и не слишком информативная причина этого состоит в том, что без речи мы не можем проводить точные различения между мыслями, являющиеся существенными для объяснений, которые мы в некоторых случаях можем уверенно дать. Наш способ приписывания установок гарантирует, что вся выразительная мощь языка может использоваться для проведения таких различий. Можно считать, что Скотт — не автор «Уэверли», в то же время не сомневаясь, что Скотт является Скоттом; можно желать открыть существо с сердцем, не желая обнаружить существо с почками. Можно намереваться откусить от того яблока, которое у нас в руках, одновременно не намереваясь откусить от червивого яблока; и т. д. Интенсио-

нальность, которую мы так хорошо понимаем при приписывании мыслей, очень трудно уловить, когда речь отсутствует. Собака, говорим мы, знает, что ее хозяин дома. Но знает ли она, что г-н Смит (ее хозяин) или что президент банка (тот же самый хозяин) дома? У нас нет никакого представления о том, как решить эти вопросы или придать им смысл. Не рассматривая речь, намного тяжелее сказать, как отличить общие мысли от конъюнкций мыслей или как приписать условные мысли или мысли с, так сказать, смешанной квантификацией («Он надеется, что каждого кто-то любит»).

Эти соображения, вероятно, покажутся менее убедительными любителям собак, чем другим, но в любом случае они не представляют собой убедительного довода. В лучшем случае мы показали, или выдвинули требование, что в случае отсутствия поведения, которое могло бы быть проинтерпретировано как речь, наших свидетельств будет недостаточно для адекватного обоснования тонких различий, которые мы обычно проводим, приписывая другим людям те или иные мысли. Если мы упорствуем в приписывании желаний, мнений или других установок при этих условиях, то наши приписывания и последующие объяснения действий будут недостаточно определены в том отношении, что многие альтернативные системы приписывания, многие альтернативные объяснения будут одинаково обоснованы имеющимися данными. Возможно, это все, что мы можем сказать против приписывания мыслей немым созданиям, но я так не думаю.

Прежде чем продолжить, я хотел бы рассмотреть возможное возражение против общей линии рассуждения, которой я следовал. Предположим, что применение всего имеющегося у нас аппарата по приписыванию мыслей действительно с необходимостью предполагает очень сложное поведение, в реальности не наблюдаемое ни у детей, ни у животных. Однако можно сказать, что наш набросок механизма интерпретации не свидетельствует о том, что эта сложность должна считаться связанной с языком. Причина этого состоит в том, что этот набросок слишком многое ставит в зависимость от особой установки — быть помысленным как ис-

тинное. Наиболее прямой довод в пользу существования этой установки — правдивое утверждение. Но тогда, как представляется, мы можем рассматривать как речь поведение существ, которые никогда не использовали язык ни для чего, кроме честных утверждений. Некоторые философы мечтают о таких унылых племенах; но были бы мы вправе говорить, что у них есть язык? Здесь утрачено то, что может быть названо *автономностью значения.* Как только предложение понято, его высказывание вслух может служить почти любой экстралингвистической цели. Инструменту, который мог бы использоваться только одним способом, недоставало бы автономности значения, это свидетельствует в пользу того, что он не мог бы считаться языком. Таким образом, сложность поведения, необходимая для полномасштабного приписывания мыслей, в конце концов, не обязательно совпадает с той сложностью, которая допускает интерпретацию в качестве языка или требует ее.

Я согласен с гипотетическим оппонентом в том, что автономность значения чрезвычайно важна для языка. Действительно, это в значительной степени объясняет, почему лингвистическое значение не может быть определено или проанализировано на основании экстралингвистических намерений и мнений. Однако оппоненту не удается отличить язык, который *мог бы* использоваться только для одной цели, от языка, который *действительно* используется только для одной цели. Инструмент, который мог бы использоваться только для одной цели, не был бы языком. Однако само по себе правдивое утверждение могло бы повлечь за собой некоторую теорию интерпретации и, соответственно, язык, которые, хотя и были бы способны на большее, никогда не использовались бы в других целях. (Такое невозможно представить на практике. Тот, кто знает при каких условиях его предложения являются истинными в его сообществе, не может не понимать и не использовать возможности нечестного утверждения — или шутки, рассказывания историй, подстрекания, преувеличения, оскорбления и тому подобного.)

Метод интерпретации сообщает нам, что для носителей русского языка высказывание «Идет дождь», произведенное субъектом *x* во время *t*, истинно, если и только если идет дождь (около *x*) во время *t*. Обладать этой информацией и знать, что другие знают то же самое, значит понимать значение высказывания независимо от знания целей, которым оно служит. Автономия значения также помогает объяснить, как можно приписывать мысли, используя язык. Предположим, что кто-то утвердительно произносит предложение «Снег бел». Зная условия, при которых такое высказывание является истинным, я могу, при желании, добавить «Я тоже убежден в этом», приписывая, таким образом, это мнение самому себе. В этом случае мы оба утверждали, что снег бел, однако тождество убедительности не является необходимым для приписывания себе мнения. Некто вполне может произнести «Снег бел» с иронией, выражая недоверие, в то время как я вновь приписываю себе такое мнение, говоря: «Но *я* убежден в этом». Это может проявиться и другим способом. Если я могу приписывать себе мнения, воспользовавшись высказыванием другого человека, то я могу использовать свои собственные высказывания, чтобы приписать мнение кому-то еще. Сначала я произношу предложение, например, «Снег бел», затем добавляю: «Он убежден в этом». Первое высказывание может быть или не быть утверждением, в любом случае, оно не приписывает мнение кому-либо (хотя, если это — утверждение, то я *репрезентирую* себя как обладающего мнением о том, что снег является белым). Но если мое замечание «Он убежден в этом» является утверждением, то тем самым я приписал мнение другому. Наконец, нет никаких препятствий к моему приписыванию мнения непосредственно самому себе, сначала произнеся «Снег бел», а затем добавив «Я убежден в этом».

Во всех этих примерах слово «это» (или «что» — *that*) употребляется для демонстративной референции к производимому высказыванию, будь то высказывание того, кто произносит «это», или какого-либо другого субъекта. «Это» не может указывать на предложение — и потому, как указывает

Чёрч в подобных случаях, референция тогда должна была бы быть релятивизирована к языку, поскольку предложение может иметь различные значения в разных языках[7]; и более очевидно, потому что одно и то же предложение может иметь разные истинностные значения в одном и том же языке.

Демонстративная референция к высказываниям может выполнять ту же функцию, что и в упомянутых случаях, тогда, когда поверхностная структура изменена, например – «Я убежден в том, что снег бел» или «Он убежден в том, что снег бел». В таких случаях я также считаю, что мы должны рассматривать «что» как указательное местоимение, относящееся к высказыванию. Таким образом, логическая форма стандартных приписываний установок состоит из двух паратаксически[8] соединенных высказываний. Нет никакой связки, хотя первое произнесенное высказывание содержит референцию к второму. (Подобные же замечания относятся, конечно, и к написанию предложений.)

Я разбирал этот анализ вербальных приписываний установок в другом месте, и нет никакой нужды повторять здесь аргументацию и объяснения[9]. В этом анализе есть и свои трудности, особенно когда дело касается анализа квантификации предложения, но я думаю, что эти трудности могут быть преодолены с сохранением привлекательных черт основной идеи. Здесь я хочу остановиться на том, что связывает параксический анализ приписываний установок с обсуждаемой нами темой. Предложенный анализ прямо соотносит автономность значения с нашей способностью описывать и приписывать мысли, так как только благодаря тому, что интерпретация предложения не зависит от его использования, высказывание вслух предложения может служить для описания установок других людей. Если мой анализ правилен, то мы можем исключить нежелательное (хотя и общепринятое) представление о том, что подчиненное предложение, вводимое через «что», требует абсолютно иной интерпретации, чем если бы оно появилось в иных контекстах. Поскольку в обычных контекстах предложения не являются именами или

дескрипциями, мы можем, в частности, отбросить допущение о том, что у установок есть такие объекты как суждения, которые могли бы быть поименованы или описаны с помощью подчиненных предложений, вводимых через «что». У нас не должно быть искушения назвать то высказывание, к которому, согласно паратаксическому анализу, осуществляется референция, объектом приписываемой установки.

Здесь напрашивается простое решение нашей проблемы о соотношении мышления и речи. Один из способов рассматривать паратаксический анализ, предложенный Куайном в «Слове и объекте», состоит в следующем: когда субъект приписывает кому-то некоторую установку, он подражает фактическому или возможному речевому акту этого человека[10]. Лучший пример этого — косвенная речь, а еще один хороший пример — утверждение. Предположим, я говорю: «Геродот утверждал, что Нил стекает с лунных гор». Высказывание, составляющее вторую часть этого предложения, — «Нил стекает с лунных гор» — должно, если мое приписывание его Геродоту верно, содержать некоторое отношение к высказыванию Геродота: оно должно, в определенном смысле, быть его переводом. Поскольку мы продолжаем предполагать, что это приписывание верно, то Геродот и я *говорим одно и то же*, а мое высказывание имитирует его высказывание. Не относительно [иллокутивной] силы, конечно, так как я не утверждал чего-либо о Ниле. Идентичность относится к содержанию наших высказываний. Если обратиться к другим установкам, то ситуация осложняется, так как обычно у нас нет такого высказывания, которому можно было бы подражать. Если я утверждаю: «Джонс убежден, что снег бел», то мое высказывание «снег бел» может не воспроизводить некоторое фактическое высказывание Джонса. Однако мы можем придерживаться точки зрения, что я подтверждаю факт, если бы Джонс честно высказал свое мнение, то он произнес бы предложение, являющееся переводом моего. Учитывая некоторые тонкие допущения об условиях, при которых такое условное высказывание в сослагательном наклонении является истинным, мы могли бы заключить, что только кто-

то владеющий языком может мыслить, так как обладать мыслью — это иметь диспозицию к высказыванию вслух определенных предложений с соответствующей силой при данных обстоятельствах.

Мы могли бы придерживаться этой точки зрения, но, к сожалению, у нас нет, как представляется, очевидной причины, почему мы должны ее принять. Мы намеревались найти аргумент в пользу того, что только существа, обладающие речью, имеют мысли. То, что было приведено выше, — не аргумент, а предположение, а предположение мы принимать не обязаны. Паратаксический анализ логической формы приписываний установок может обойтись и без подражательной теории высказываний. Когда я говорю «Джонс убежден, что снег бел», я непосредственно описываю состояние сознания Джонса: это — действительно состояние сознания того, кто мог бы честно утверждать, говоря по-русски, — «Снег бел». Но, вполне возможно, что это же состояние также может иметь существо, не обладающее языком.

Чтобы перейти к последнему из моих основных замечаний, я должен возвратиться к аспекту интерпретации, которым до сих пор пренебрегали. Я отметил, что установка считать истинным, направленная на предложения при определенных обстоятельствах, — это основание для интерпретации, но я не говорил о том, как она может выполнять эту функцию. Не следует забывать о трудности, которая заключается в том, что предложение считается истинным из-за двух факторов: в чем субъект полагает значение предложения и каково его мнение. Чтобы разобраться с этой ситуацией, необходим метод, благодаря которому мы можем считать один фактор устойчивым, в то время как мы исследуем другой.

Принадлежность к языковому сообществу зависит от способности интерпретировать высказывания членов группы, и мы получаем требуемый метод, если располагаем (и осознаем это) теорией, которая указывает условия истинности, более или менее в духе Тарского для всех предложений (эти условия релятивизированы, как всегда, относительно време-

ни и субъекта). Теория верна постольку, поскольку из нее следуют, при помощи, конечно, определенных средств теоремы знакомой нам формы: «„Идет дождь“ является истинным для субъекта *x* во время *t*, если и только если идет дождь (около *x*) в *t*». Базис эмпирических свидетельств для того, чтобы такая теория относилась к предложениям, считающимся истинными, — это факты, подобные следующему: «„Идет дождь“ считалось истинным Смитом в 8 утра 26 августа, и около Смита в это время шел дождь». Существует возможность построения правильной теории при простом рассмотрении предложений как истинных тогда, когда они считаются истинными, если (1) у нас была бы теория, которая удовлетворяла бы формальным ограничениям и не противоречила бы при этом свидетельствам, и (2), все носители языка считали бы некоторое предложение истинным именно тогда, когда это предложение истинно — то есть при том, что все мнения, по крайней мере, насколько они могли бы быть выражены, были бы правильными.

Но, конечно, невозможно допустить, что у субъектов никогда не бывает ложных мнений. Именно возможность ошибки и придает мнению смысл. Мы можем, однако, принять как данное, что *большинство* мнений правильно. Причина этого состоит в том, что мнение определяется своим местоположением в общей структуре мнений; именно эта структура определяет предмет мнения — о чем оно говорит. Прежде чем некоторый объект в мире или аспект мира может стать частью объекта мнения (истинного или ложного), должно иметься бесконечное количество истинных мнений об этом объекте. Ложные мнения стремятся подорвать определение объекта и тем самым подорвать законность описания мнения как убеждения об этом объекте. И таким образом, в свою очередь, ложные мнения подрывают требование, что связанные с ними мнения являются ложными. Например, насколько нам ясно, древние — по крайней мере, некоторые из них — верили, что земля плоская? *Эта* земля? Но эта наша земля — часть солнечной системы, то есть системы, частично определенной тем фактом, что она является множеством боль-

ших холодных твердых тел, кружащихся вокруг очень большой горячей звезды. Если кто-то не верит *ничему* из этого о земле, можем ли мы быть уверены, что он думает об этой земле? Ответа не требуется. Суть этого замечания в том, могут ли подобные рассмотрения связанных между собой мнений поколебать чью-либо уверенность в том, что древние полагали, что земля плоская. Суть не в том, что любое ложное мнение обязательно уничтожает нашу способность идентифицировать все прочие мнения, но в том, что ясность таких идентификаций должна зависеть от фоновых, по большей части не упоминаемых и не подвергавшихся сомнению истинных мнений. Иными словами, чем больше у кого-либо правильных мнений, тем более грубы его ошибки. Слишком много ошибок просто размывают изображение.

Таким образом, факт, делающий интерпретацию возможной, заключается в том, что мы можем априорно отклонить вероятность массовой ошибки. Корректная теория интерпретации не может заставлять человека соглашаться с большим количеством ложных предложений: в принципе предложение должно быть истинно, когда носитель языка считает его таковым. Постольку, поскольку это выполняется, именно в пользу метода интерпретации говорит то обстоятельство, что в нем предложение считается истинным, когда носители языка считают его истинным. Но, конечно, носитель языка может быть неправ, и переводчик — тоже. Поэтому, в конце концов, в пользу метода интерпретации должно свидетельствовать то, что он приводит переводчика в общее согласие с носителем языка: согласно этому методу, носитель языка считает предложение истинным при указанных условиях, и эти условия выполняются по мнению переводчика именно тогда, когда носитель языка считает предложение истинным.

Никакая простая теория не может привести носителя языка и переводчика в совершенное согласие, поэтому осуществимая теория должна предполагать время от времени ошибку со стороны одного или другого. Поэтому основное методологическое предписание состоит в том, что хорошая

теория интерпретации максимизирует согласие. Или, учитывая тот факт, что число предложений бесконечно, и учитывая дополнительные соображения, лучшим словом могло бы быть — *оптимизирует*.

Некоторые разногласия более губительны для понимания, чем другие, и тонкая теория должна, естественно, принимать это во внимание. Разногласие по теоретическим вопросам может (в некоторых случаях) быть более приемлемым, чем разногласие по поводу того, что является более очевидным. Разногласие по поводу того, как вещи выглядят или являются, менее приемлемо, чем разногласие по поводу того, что они представляют собой. Разногласие по поводу истинности приписывания некоторых установок субъекту самим этим субъектом может быть вообще неприемлемо или едва приемлемо. Невозможно упростить относящиеся к этому вопросу соображения, поскольку все, что мы знаем или полагаем о том, как свидетельства поддерживают мнение, может быть использовано для вынесения решения о наименее чувствительном к ошибке месте теории и о том, какие ошибки наименее разрушительны для понимания. Методология интерпретации в этом отношении представляет собой всего лишь эпистемологию, увиденную в зеркале значения.

Переводчик, допускающий, что его метод может быть поставлен на службу всему языковому сообществу, будет требовать теории, которая оптимизирует согласие в пределах всего сообщества. Поскольку легкость коммуникации имеет непреходящую ценность, он может ожидать, что для использования в пределах сообщества лучше всего подойдут простые и общие теории интерпретации.

Если эта теория радикальной интерпретации правильна, по крайней мере в общем плане, то мы должны признать, что в контексте интерпретации с необходимостью появляются понятия объективной истины и ошибки. Различие между предложением, считающимся истинным, и предложением, являющимся фактически истинным, чрезвычайно важно для существования межличностной системы общения, и, когда в индивидуальных случаях появляется различие, оно долж-

но считаться ошибкой. Поскольку установка считать истинным остается той же вне зависимости от того, является ли предложение истинным или нет, она непосредственно соответствует мнению. Понятие мнения, таким образом, пригодно для того, чтобы заполнить брешь между объективной истиной и тем, что считается истинным, именно так мы приходим к его пониманию.

Мы располагаем самим понятием мнения, только исходя из роли мнения в интерпретации языка, поскольку как отдельная установка оно интеллигибельно только как приспособление к общественной норме, предоставляемой языком. Из этого следует, что для того, чтобы иметь понятие мнения, надо быть членом речевого сообщества. Учитывая зависимость других установок от мнений, мы можем говорить, в общем смысле, что только существо, которое может интерпретировать речь, может иметь понятие мысли.

Может ли кто-то иметь мнение, если он не обладает понятием мнения? Как мне кажется, не может — по следующей причине. Невозможно иметь мнения, не понимая возможности ошибки, а это требует понимания различия между истиной и ошибкой — истинным мнением и ложным мнением. Но это различие, как я доказывал, может появляться только в контексте интерпретации, которая сама приводит нас к идее объективной, публичной истины.

Часто неправильно считается, что семантическое понятие истины избыточно, что нет никакого различия между утверждением, что предложение *s* является истинным, и использованием *s* для вынесения суждения. Правильной здесь может быть скорее теория избыточности мнения: быть убежденным, что *p*, не должно отличаться от мнения, что *p* истинно. Это понятие истины — не семантическое понятие: язык здесь не выступает непосредственно. Но он находится поблизости, он составляет общую картину. Ведь понятие истинного мнения зависит от понятия истинного высказывания, а этого, в свою очередь, не может быть без общего языка. Как выразился Улисс у Шекспира:

...человек не управляет
Своими совершенствами, пока
Их не применит на других...
Не знает вовсе он себе цены,
Пока его другие не оценят
Достойной похвалой.

(«Троил и Крессида», акт 3,
сцена 3, 115–20[11])

12. ОТВЕТ ФОСТЕРУ

В статье мистера Фостера содержится многое, с чем я согласен, и еще больше того, что вызывает мое восхищение. Я разделяю его пристрастное отношение к экстенсиональным языкам первого порядка, я рад составить ему компанию в поисках эксплицитно семантической теории, которая бы рекурсивно объясняла значения предложений в терминах их структур, и я счастлив от его согласия считать, что об адекватности теории можно судить на основании холистских требований. Я в особенности благодарен Фостеру за то, мимо чего он прошел: думаю, так же, как *Лир* черпает силу в отсутствии Корделии, исследования языка процветают, когда обходятся без некритического озвучивания понятий конвенции, лингвистического правила, лингвистической практики или языковых игр.

Позитивно и то, что, я думаю, Фостер прав, когда спрашивает, утверждает ли предлагаемая теория нечто эксплицитно, знание чего было бы достаточным для интерпретации высказываний носителей языка, к которому она применяется. (Я избегаю слова «владение» и упоминания особой компетенции носителя языка, если таковая есть, по причинам, которые, я полагаю, не влияют на наше обсуждение.) Я не торопился с признанием важности этого способа формулировки общей цели теорий значения, хотя элементы этой идеи появлялись в некоторых моих ранних работах[1]. Я благодарен нескольким моим оксфордским друзьям за предложение попытаться прояснить мои взгляды по этому вопросу. Поэтому я должен отдельно упомянуть Майкла Даммита, Гарета Эванса, Джона Макдауэлла и Джона Фостера.

В докладе, впервые прочитанном в Биле, Швейцария, в мае 1972, я критиковал свои прежние взгляды по поводу отношения между теорией истины и теорией значения, и тогда я постарался исправить свои старые ошибки[2]. Я снова про-

читал этот доклад в Виндзоре (в ноябре 1973), и он стал основой обширной дискуссии на семинаре, который Майкл Даммит и я вели в Оксфорде в летний семестр 1974 года. Критика, которой я тогда подверг мою раннюю формулировку, в общем, повторяет сказанное Фостером во второй части рассматриваемой статьи, а моя попытка по улучшению формулировки содержится среди взглядов, которые он атакует в третьей части.

Я в целом согласен с Фостером в том, что мне еще предстоит дать полностью удовлетворительную формулировку того, что, с моей точки зрения, достаточно знать, чтобы быть способным интерпретировать высказывания носителя языка. С другой стороны, я надеюсь, что не настолько далек от истины, как он считает, и его аргументы не убедили меня в том, что мой «великий проект рухнул». В самом деле, мне по прежнему кажется правильным взгляд, согласно которому некто способен интерпретировать высказывания носителей языка L, если он располагает определенным знанием, следующим из теории истины для L, — теории, отвечающей определенным эмпирическим и формальным условиям, — и знает, что это знание следует из такой теории.

Тарский говорит — и этого почти достаточно для наших целей, — что теория истины для языка L опирается на понятие выполнимости, если из нее следует (благодаря конечному множеству нелогических аксиом и стандартной логике) для каждого предложения s языка L теорема такой формы:

s истинно в L, если и только если p

где «s» заменяется стандартизованной дескрипцией s, а «p» — переводом s на язык теории. Если бы мы знали такую теорию и что это — теория такого вида, то могли бы перевести каждое предложение языка L и знали бы, что это — перевод. Мы знали бы еще больше, так как мы знали бы досконально, как истинностные значения предложений L обусловлены их структурой, и почему некоторые предложения следуют из других, и как слова выполняют свои функции с помощью отношений к объектам в мире.

Так как Тарского интересовало определение истины, и он работал с искусственными языками, где заданием условий можно заменить их прояснение, он мог принять понятие перевода за само собой разумеющееся. Но в случае *радикальной* интерпретации это как раз неприемлемо. Поэтому я предложил вместо этого определенные эмпирические ограничения для принятия теории истины, которые можно сформулировать без использования таких понятий, как понятия значения, перевода или синонимии, хотя не без некоторого понимания понятия истинности. По ходу рассуждения я постарался показать, что если теория отвечает этим ограничениям, то Т-предложения, вытекающие из этой теории, действительно будут иметь переводы *s*, заменяющие «*p*».

Принятие этого изменения перспективы означает не отказ от веры в конвенцию Т, а только принятие ее нового прочтения. Подобно Тарскому, я хочу получить теорию, отвечающую конвенции Т, но, тогда как он принимает понятие перевода, чтобы пролить свет на понятие истинности, я хочу прояснить понятие перевода, принимая частичное понимание понятия истинности.

Уже когда я писал «Истину и значение», мне было ясно, что эмпирические ограничения должны быть добавлены к формальным в случае, если от приемлемых теорий истины требуется, чтобы они включали только те, что способны служить целям интерпретации. Моя ошибка заключалась не в том, что, как, похоже, утверждает Фостер, я полагал, что *любая* теория, правильно устанавливающая условия истинности, пригодна для интерпретации; моя ошибка состояла в том, что я не заметил того факта, что кто-то может знать достаточно уникальную теорию без знания о ее уникальности. Мне было легко игнорировать это различие, поскольку я представлял себе знание теории кем-то, кто сконструировал ее на основании эмпирических свидетельств, а такой субъект не может не понимать, что его теория удовлетворяет наложенным на нее ограничениям.

Фостер отмечает различие между двумя вопросами, которые можно было бы задать относительно моего предложе-

ния. Один вопрос: равнозначны ли ограничения, которые я наложил на приемлемую теорию, гарантии удовлетворения ею конвенции Т, то есть гарантии, что в ее Т-предложениях правая сторона предложения, образованного биусловной связкой, действительно переводит предложение, которому оно приписывает истинностное значение. Другой вопрос: сумел ли я показать, что знает компетентный переводчик (или что ему достаточно знать). Фостера интересует только второй вопрос, он готов для краткости допустить, что ограничения адекватны их задаче.

В этом свете мы должны понимать обсуждение Фостером теорий истины, правильно определяющих объем истинностного предиката — теорий, все Т-предложения которых истинны — но не удовлетворяющих конвенции Т. Так, Фостер так же, как и я (сейчас), полагает, что мои критерии не позволяют, чтобы в теории имелись Т-предложения такого типа:

> «*a* есть часть *b*» истинно, если и только если *a* есть часть *b* и Земля движется.

Позиция Фостера, скорее, состоит в том, что, хотя мой переводчик имеет теорию, удовлетворяющую конвенции Т, ничто в самой теории ему об этом не говорит.

То же самое следует из утверждения Фостера, что «согласно распространенному пониманию, сформулировать условия истинности предложения значит сказать, что... необходимо и достаточно для его истинности очертить в границах совокупного диапазона возможных обстоятельств то подмножество, с которым согласуется предложение. Но это — не тот смысл, в котором *Т-предложение* устанавливает условия истинности. Т-предложение не утверждает, что такой-то и такой-то структурный тип *был бы* истинным... во всех и только тех обстоятельствах, в которых *соблюдалось бы* то-то и то-то, но только — что, если дела обстоят так, как они обстоят, этот структурный тип *истинен*, если и только если...».

Теория, которая проходит проверки опытом, такова, что действительно может проецироваться на не наблюдавшие-

ся и контрфактические случаи. Это ясно всякому, кто знает, что представляет собой свидетельство и как его использовать для поддержки теории. Проблема состоит в том, что теория не утверждает, что имеет тот характер, который она имеет.

Точную параллель дает нам вопрос о том, что надо знать, чтобы быть физиком. Первое из того, что приходит в голову, — законы физики. Но Фостер сказал бы, и я бы согласился, что этого недостаточно. Физик должен также знать (и здесь я говорю за себя), что эти законы *являются* законами, то есть что они подтверждаются своими примерами и подкрепляют контрфактические и сослагательные утверждения. Чтобы понять это, вообразите, что подающему надежды ученому сказали, что масса тела не влияет на длительность прохождения им определенного расстояния в вакууме. Потом его спрашивают: «Допустим, Галилей уронил со шпиля Эмпайр Стэйт Билдинг перо и пушечное ядро, и что у земли нет атмосферы. Что достигло бы поверхности земли скорее — перо или пушечное ядро?» Мудрое дитя отвечает: «Понятия не имею. Вы сказали мне только, что *происходит*, если вещи таковы, какие они есть; вы не сказали, что произошло бы, если бы вещи были не такими, какие они есть».

В качестве тезиса, который, как думает Фостер, я мог «пытаться выразить», но не сумел сделать это правильно, он предлагает следующее: «Для овладения языком L нам нужно знать как факты, которые утверждаются [теорией истины для этого языка (a T-theory)], так и то, что эти факты, будучи известны нам, относятся к теории истины (T-theoretical)». Затем он все упрощает: нужно знать, что некая теория истины для L утверждает, что... (и здесь на место точек следует поставить теорию истины). Я рад принять эту версию, поскольку она эквивалентна моей собственной. (Насколько я знаю, я никогда не придерживался взгляда, который он мне приписывает, в рамках которого знание о том, что утверждает теория истинности, и знание о том, что эта теория есть теория истины, остаются несвязанными.)

Теперь рассмотрим взгляд, которого, как считает Фостер,

я должен придерживаться, и это действительно так. Нельзя сказать, что с этой точки зрения знание языка сводится к знанию о том, как переводить его на другой язык. Переводчик действительно знает, что его знание состоит из утверждений теории истины, являющейся теорией перевода (удовлетворяющей конвенции Т). Но нет оснований полагать, что переводчик может выразить свое знание в какой-либо особого рода лингвистической форме, тем более, на каком-либо конкретном языке.

Возможно, следует настаивать на том, что теория есть предложение или набор предложений некоего языка. Но для того, чтобы знать теорию, не необходимо и недостаточно знать, что эти предложения истинны. Этого не достаточно, так как это может знать некто, не имеющий ни малейшего понятия о значениях этих предложений, и это не необходимо, поскольку достаточно знать об истинности предложений, выражающих теорию, а это не требует знания языка теории.

Кто-то, способный понимать английский, знает, например, что высказывание предложения «Snow is white» («Снег бел») истинно, если и только если снег бел; вдобавок он знает, что этот факт следует из теории перевода — что это не случайный факт о данном английском предложении, но факт, *интерпретирующий* это предложение. Если это ясно, я не вижу никакого вреда в том, чтобы перефразировать конкретное знание переводчика в более знакомом виде: он знает, что «Snow is white» по-английски *значит, что* снег бел.

Теперь становится ясно, что мой подход не делает способность понимать язык зависящей от способности переводить этот язык на знакомый язык. Возможно, уместно будет усилить эту позицию, связав ее с вопросом, до сих пор здесь не обсуждавшимся. В естественных языках индексальные элементы, такие, как указательные местоимения и время, означают, что условия истинности для многих предложений должны быть установлены относительно обстоятельств их высказывания. Когда это сделано, тогда правая сторона биусловного Т-предложения не будет переводом предложения, для

которого она устанавливает условия истинности. Вообще, адекватная теория истинности не использует индексальный аппарат, а поэтому не может содержать переводов очень большого числа различных предложений. В отношении этих предложений нет даже иллюзии того, что понимание зависит от способности переводить. (Идиома «значит, что» здесь не достигает лучшего результата.)

Фостер думает, что мой великий план рухнул, потому что, пытаясь обуздать требование соответствия теории истинности (T-theoreticity) для блага интерпретации, я должен использовать такое интенсиональное понятие, как «утверждает» в «Интерпретатор знает, что некая теория истины утверждает, что...». Но здесь он приписывает мне цель, которой я никогда перед собой не ставил. Для моего способа описания языка и значения использование таких понятий, как мнения и намерения, имеет огромное значение, и я не верю в возможность редукции этих понятий к чему-либо более научному или бихевиористскому. Я постарался дать описание значения (понимания), не использующего необъясненных *лингвистических* понятий. (Даже это — несколько более строгая позиция, чем та, которую я считаю возможной.) Никакие мои проекты не рухнут от того, что в описании знания интерпретатора необходимо использовать так называемое интенсиональное понятие — соответствующее мнению, намерению и тому подобному.

Конечно, мой проект требует, чтобы теория истины распространялась на все предложения естественного языка, а, следовательно, если интенсиональные идиомы сопротивляются этому, то мой план находится под угрозой. Кажется, дела обстоят так, что теория истины, удовлетворяющая чему-либо подобному конвенции T, не может допускать интенсиональной семантики, хотя этот вопрос не так прост или ясен; это подвигло меня на попытку показать, как экстенсиональная семантика может справиться со спецификой предложений, выражающих мнения, косвенной речью и другими предложениями такого типа. Фостер считает, что мой анализ недостаточен, но сложно понять, как это относится к нашему

обсуждению. Если его тезис состоит в том, что *никакая* теория истины не может предоставить удовлетворительной семантики для предложений, приписывающих [ментальные] установки, то всякое обсуждение того, как точно надо описывать компетентность носителя языка, просто не релевантно проблеме. Но если хоть какой-то анализ возможен, мой или чей-либо еще, тогда анализ, успешно работающий с косвенной речью и предложениями о мнениях и намерениях, предположительно справится также и с отношениями «утверждения», которые беспокоят Фостера.

Фостер, конечно, прав в том, что выражение «теория истины утверждает, что» представляет собой то, что в обычном случае назвали бы не истинностно-функциональным сентенциальным оператором, так как, если за ним следуют материально эквивалентные предложения, оно может давать результаты с изменяющимися истинностными значениями. Это ставит перед нами две проблемы (которые Фостер, возможно, недостаточно различает). Первая состоит в том, что, возможно, паратактический анализ косвенной речи не может быть правильно применен в данном случае; вторая — в том, что моему описанию радикальной интерпретации может угрожать содержание в релевантном понятии утверждения (какова бы ни была его семантика) неанализированной лингвистической концепции. Первую проблему, предположительно, наше обсуждение непосредственно не затрагивает, тогда как вторая занимает, очевидно, центральное место. Однако я бы хотел сказать кое-что по поводу обеих, так как пока не показана несостоятельность паратактического анализа, я буду предлагать именно эту семантику для «утверждает, что».

Описание косвенной речи в терминах паратактической семантики предписывает нам рассмотрение высказывания «Галилей сказал, что Земля вертится» как состоящее из высказывания двух предложений: «Галилей сказал это» и «Земля вертится». «Это» указывает на второе высказывание, а первое высказывание истинно, если и только если высказывание Галилея было по содержанию таким же, как («перево-

дит») высказывание, на которое указывает «это». (Фостер ошибочно утверждает, что мой анализ предложения «Галилей сказал, что» представляет собой следующее: «Некое высказывание Галилея и мое последнее высказывание делают Галилея и меня говорящими одно и то же». Это — не анализ, а перефразирование, призванное дать читателю почувствовать семантику, демонстративный и эвристический инструмент.)

Фостер старается доказать, что мой семантический анализ ложен, показывая, что он не проходит тест на перевод. Этот тест требует, чтобы перевод высказывания (в проанализированном виде) утверждал тот же факт или то же суждение (я использую слова Фостера), как и исходное высказывание. Затем он указывает, что перевод «Галилей сказал, что» на французский язык, сохраняющий референцию «что» (согласно моему анализу), не сможет передать французской аудитории ничего о содержании утверждения Галилея. Он считает, что это показывает, что мой анализ не позволяет такому предложению, как «Галилей сказал, что Земля вертится», утверждать то, что сказал Галилей; и, таким образом, параллельный анализ выражения «сказал, что», в котором нуждается моя теория интерпретации, будет подвержен той же ошибке.

Но в чем состоит это отношение между высказываниями — отношение утверждения того же факта или той же пропозиции, которое Фостер имеет в виду? Все, что он говорит — референция должна быть сохранена. Этого, однако, недостаточно, так как если любые два высказывания утверждают один и тот же факт, не касаясь при этом референции, то очень трудно блокировать знакомое доказательство того, что все истинные высказывания утверждают один и тот же факт. Использование слова «суждение» предполагает, что значение может быть сохранено так же, как и референция. Но если и референция, и значение должны сохраняться, легко увидеть, что очень немногие пары высказываний могут утверждать один и тот же факт в случае, если высказывания содержат индексальные выражения. Не касаясь вопроса о двуязычных

индивидах, ни одно французское высказывание не может утверждать факт, который я утверждаю, используя слово «я», а я не могу дважды утверждать один и тот же факт, сказав дважды «мне тепло». Осудить мой анализ как ошибочный по этим стандартам значит просто утверждать его ошибочность вследствие свойственного ему предположения, что косвенная речь включает индексальный элемент. Препятствуя дальнейшей аргументации, этот вывод бросает тень сомнения на стандарты, а не на анализ.

Как и Фостер, я, конечно, признаю, что переводчик будет переводить английскую косвенную речь на французский язык обычным способом. С моей точки зрения он будет делать это, указывая на новое высказывание, которое ему придется предоставить. (То же самое происходит, если я произношу «Галилей сказал, что Земля вертится» дважды.) Признать это не значит «трактовать паратактическую версию oratio obliqua как вариант записи интенсиональной версии», как уверяет Фостер. Форма записи ничего общего с этим не имеет; и приверженец семантики возможных миров, и я принимаем одну и ту же символику. Нас различает семантический анализ. Существо вопроса состоит в том, что переводчик утверждает тот же факт не в смысле Фостера, но в каком-то более обычном смысле, который часто позволяет или даже требует, чтобы перевод изменял референцию, если эта референция, говоря словами Рейхенбаха, рефлексивна по отношению к маркеру.

Возвращаясь снова к перспективам паратактического анализа этого проблематичного «утверждает», мы сначала должны отметить, что немного более уместным словом было бы «имеет своим следствием» («entails»). Нам нужна семантика высказываний таких предложений, как «Теория Т имеет своим следствием, что „Snow is white“, „Снег бел“, истинно в английском языке, если и только если снег белый». И тезис должен звучать так: высказывание этого предложения следует относительно задач семантической теории рассматривать как высказывание двух предложений, первое из которых заканчивается указательным местоимением, указывающим на

второе высказывание. Следование этого вида (entailment), таким образом, приспособлено к тому, чтобы быть отношением между теорией и высказыванием носителя языка, утверждающего это следование. Что представляет собой это отношение? Разумное предложение состоит в том, что это — релятивный продукт отношения логического следования между предложениями и отношения синонимии между предложениями и высказываниями (возможно, другого языка). Если теория Т имеет своим следствием, что «Snow is white», «Снег бел», истинно в английском языке, если и только если снег бел, то логическим следствием Т является предложение, синонимичное моему высказыванию «„Snow is white", „Снег бел", истинно в английском языке, если и только если снег бел».

Не приводит ли второй компонент к обращению к специфически лингвистическому понятию синонимии? Конечно: это то же самое понятие перевода, которое мы пытались прояснить, накладывая условия на теорию истины. Это не делает описание движущимся по кругу, поскольку эти условия формулировались, согласно нашему допущению, не вызывающим сомнений способом без обращения к лингвистическим понятиям того вида, который мы хотим объяснить. Таким образом, идея синонимии или перевода, заключенная в понятии следования, может использоваться, не создавая круга в описании, в случае, если мы установили, что знает переводчик. В самом деле, приписывая переводчику идею теории перевода, мы уже сделали это допущение.

Относительно важности замечаний Фостера я думаю, что он прав. Даже если все, что я сказал в защиту моей формулировки того, что достаточно для интерпретации, истинно, остается фактом, что в строгом смысле ничто не конституирует теорию значения. Теория истины, неважно, насколько хорошо отобранная, не является теорией значения, а утверждение, что теория перевода имеет своими следствиями определенные факты, не является теорией в формальном смысле, вследствие составляющих ее и неустранимых индексаль-

ных элементов. Тем не менее, это не делает невозможным описание того, что знает переводчик, и, следовательно, можно дать удовлетворительный ответ на один из центральных вопросов философии языка.

ЯЗЫК И РЕАЛЬНОСТЬ

13. ОБ ИДЕЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Философы многих направлений склонны рассуждать о концептуальных схемах. Считается, что концептуальные схемы являются способами организации опыта, их рассматривают как системы категорий, придающих форму чувственным данным, они также уподобляются точкам зрения индивидов, культур и эпох на происходящие события. И если перевода из одной схемы в другую вообще не существует, то тогда два человека, принадлежащих к различным концептуальным схемам, не смогут поставить в истинное соответствие свои мнения, желания, надежды и фрагменты знания. Даже сама реальность относительна к схеме: то, что считается реальным в одной системе, может не считаться таковым в другой.

Некоторые мыслители не сомневаются в том, что существует только одна концептуальная схема, однако и они находятся под влиянием понятия схемы, ведь и монотеисты имеют религию. И когда кто-нибудь пытается описать «нашу концептуальную схему», то, если быть точным, его собственная задача предполагает возможность наличия соперничающих систем.

Я считаю концептуальный релятивизм опьяняющей и экзотической концепцией, но прежде чем спешить ее принимать, необходимо тщательно прояснить смысл этой концепции. Но, как это часто бывает в философии, трудно достичь ясного понимания, пока вокруг проблемы кипят страсти. Во всяком случае, именно это я и хочу показать.

Обычно нам предлагают считать, что мы понимаем сильные концептуальные изменения или глубокие контрасты, если признаем некоторые хорошо известные примеры. Иногда какая-нибудь идея — типа идеи одновременности в теории относительности — приобретает такое большое значение, что с ее появлением целая область науки начинает рассматриваться с совершенно новой точки зрения. Быва-

ет, что пересмотр списка предложений, ранее считавшихся истинными в некоторой дисциплине, является настолько существенным, что входящие в них термины изменяют свое значение. Языки, которые развивались вдалеке друг от друга и в разные времена, могут сильно различаться в способах обращения с тем или иным уровнем явлений. Что легко входит в один язык, может с трудом войти в другой, и это различие отзывается несходством стилей и ценностей.

Подобные примеры, хотя и выразительны, не более удивительны, чем то, что концептуальные изменения и контрасты объясняются и описываются средствами одного языка. Уорф, желая продемонстрировать, что язык хопи заключает в себе метафизику, настолько для нас чуждую, что не может «быть сверен»[1] с английским, использует последний для передачи содержания предложений языка хопи. Кун великолепен, когда говорит о том, что происходило до научной революции, используя — как вы думаете, что? — нашу постреволюционную манеру выражаться[2]. Куайн дает нам чувство «доиндивидуализированной фазы эволюции нашей концептуальной схемы»[3], а Бергсон сообщает нам о том, где мы можем получить вид горы, не искаженной той или иной местной перспективой.

Доминирующая метафора концептуального релятивизма независимо от специфики имеющихся подходов становится жертвой лежащего в ее основании парадокса. Различие точек зрения имеет смысл, если есть общая система координат, которую они должны разделять, однако само существование этой системы противоречит идее их абсолютной несоизмеримости, а значит, мы нуждаемся в положениях, устанавливающих предел для концептуальных контрастов. Существуют экстремальные случаи, в основе которых лежат противоречия и парадоксы, но ведь есть и более умеренные примеры, в понимании которых мы не испытываем затруднений. Что же определяет наш переход от всего лишь странного и непривычного к абсурдному?

Мы можем согласиться с подходом, который сводит воедино владение языком и обладание концептуальной схемой.

Их отношения представляются таким образом, что когда концептуальные схемы различаются, то различаются и языки. Носители разных языков могут разделять одну и ту же концептуальную схему при условии наличия способа перевода с одного языка на другой, поэтому изучение критериев перевода представляется способом рассмотрения критериев идентичности концептуальных схем. Если же концептуальная схема не связывается с языком данным образом, то исходная проблема без надобности дублируется, поскольку мы должны будем вообразить сознание, обладающее обычными категориями и оперирующее языком, который имеет *свою собственную структуру*. В этих обстоятельствах нам, конечно, хотелось бы узнать, какие именно структуры будут иметь приоритет.

Может быть предложена также альтернативная идея, заключающаяся в том, что любой язык будто бы искажает реальность, но ведь это подразумевает, что только сознание, не обладающее языком, способно постигать вещи так, как они реально существуют. Такое понимание языка как инертного посредника (хотя и вносящего «искажения»), независимого от человеческой деятельности, нам не следует поддерживать. Кроме того, если само сознание может без искажений соприкоснуться с реальностью, то оно не должно иметь категории и понятия, а эта бескачественность нам хорошо известна из теорий, расположенных на совершенно другой части философского ландшафта. Среди них, например, есть теории, предполагающие, что свобода состоит из решения, принятого независимо от всех желаний, привычек и склонностей человека. К ним следует также отнести теории знания, в которых считается, что сознание может обозревать все свои восприятия и идеи целиком. В обоих случаях понимание сознания в отрыве от конституирующих его черт является следствием определенного способа рассуждений, но такого способа, который сам побуждает нас отвергнуть его предпосылки.

Мы можем отождествить концептуальные схемы с языками, а это предполагает (учитывая, что несколько языков мо-

гут выражать одну и ту же схему) взаимопереводимость языков. Не следует мыслить языки отделимыми от сознания, поскольку владение языком не является тем психологическим свойством, которое человек может утратить, сохраняя при этом способность мыслить. Поэтому нет никакой возможности занять нейтральную позицию для сравнения концептуальных схем, временно отбрасывая свою собственную. Можем ли мы тогда сказать, что два человека имеют различные концептуальные схемы, если они говорят на языках, которые не поддаются взаимному переводу?

Я хочу рассмотреть две ситуации, которых следует ожидать. Неудача перевода может быть либо полной, если ни один имеющий значение ряд предложений данного языка нельзя перевести на другой язык, либо частичной, если переводимость одного ряда предложений дополняется непереводимостью другого (в данном случае я пренебрег возможной асимметрией). Моя стратегия заключается в том, чтобы показать невозможность осмысленного утверждения полной неудачи перевода. Затем я более кратко рассмотрю второй случай.

Поскольку прежде всего речь пойдет о возможной полной неудаче перевода, то было бы заманчиво избрать самый короткий путь, заявив: если некоторые формы деятельности не могут быть проинтерпретированы в нашем языке, то они не являются речевым поведением. Представлять дело таким образом — недостаточно, поскольку это превращает переводимость на известный нам язык в критерий бытия языком. Данному тезису явно не хватает самоочевидности, и если он истинен, а я думаю, что это так, то он должен быть выводом, сделанным на основе доказательства.

Доверие к моей позиции усилится, если поразмышлять о близких отношениях между языком и приписыванием носителю языка таких установок, как мнение, желание и намерение. С одной стороны, ясно, что речь требует множества точно распознаваемых намерений и мнений. Человек, утверждающий, что настойчивость приносит славу, должен считать себя верящим в то, что настойчивость приносит славу, и дол-

жен намереваться рассматривать себя как верящего в это. С другой же стороны, мало вероятно, что можно обоснованно произвести приписывание субъекту комплекса установок до тех пор, пока мы не способны перевести его слова. Отношения между способностью переводить чей-то язык и приписывать ему установки, без сомнения, очень близки, но пока мы не скажем, *что* это за отношения, доводы против непереводимости языков остаются неясными.

Иногда полагают, что переводимость на знакомый язык, скажем, на английский, не может служить критерием наличия языка на том основании, что отношение переводимости не является транзитивным. Дело заключается в том, что некоторый язык, например, сатурнианский, может переводиться на английский, а другой язык, типа плутонианского, хотя и переводится на сатурнианский, тем не менее, не переводим на английский. Вполне переводимые различия могут, таким образом, складываться в различие совершенно непереводимое. Вообразив последовательность языков, каждый из которых достаточно близок к предыдущему, чтобы быть на него переводимым, мы может представить себе язык настолько отличающийся от английского, что его перевод на последний невозможен. Этому столь далекому от нас языку будет соответствовать полностью для нас чуждая система понятий.

Этот мысленный эксперимент, я думаю, не вносит каких-либо новых элементов в обсуждение проблемы, поскольку следует задать вопрос, на каком основании мы признаем то, что делает сатурнианин, *переводом* языка плутонианина. Сатурнианин мог бы нам рассказать о том, что он делает, или, скорее, мы могли бы представить себе то, о чем он говорит. Но тогда нам хочется узнать, был ли наш перевод языка сатурнианина правильным.

Согласно Куну, ученые, действующие в различных научных традициях (внутри различных «парадигм»), «проводят свои исследования в различных мирах»[4]. «Границы смысла» Стросона начинаются с замечания о том, что «можно вообразить типы миров, отличных от того мира, который мы знаем»[5].

Поскольку существует все же только один мир, эта множественность является или метафорической, или воображаемой. Но мы здесь имеем дело не с одной и той же метафорой. Стросон предлагает нам вообразить возможные, недействительные миры, которые могут быть описаны средствами нашего языка с помощью перераспределения истинностных значений предложений различными семантическими способами. Ясность контрастов между мирами зависит от нашей предполагаемой системы понятий, от наших описательных ресурсов, которые остаются фиксированными. Кун же, напротив, хочет, чтобы мы думали о двух различных наблюдателях одного и того же мира, которые подходят к нему с несоизмеримыми системами понятий. Стросоновское множество воображаемых миров рассматривается, прослушивается или описывается с одной и той же точки зрения, а единственный мир Куна изучается с различных точек зрения. Нам следует рассмотреть вторую метафору.

Первая метафора требует различения в языке понятия и содержания: используя фиксированную систему понятий (слов с фиксированным значением), мы описываем альтернативные универсумы. Некоторые предложения должны быть истинными просто из-за включаемых в них понятий и значений, другие же истинны благодаря тому, что происходит в мире. При описании возможных миров мы используем только предложения второго типа.

Вторая метафора предлагает вместо дуализма указанного вида дуализм целостной схемы (языка) и неинтерпретированного содержания. Приверженность ко второму виду дуализма может стимулироваться критикой первого. Покажем, как это происходит.

Отказ от различения аналитического и синтетического как основы для понимания языка означает отбрасывание идеи возможности ясного различения теории и языка. «Значение», если использовать это слово широко, пронизано теорией — тем, что, как мы считаем, должно быть истинным. Фейерабенд выразил это следующим образом: «Наш аргумент против инвариантности значения прост и ясен. Он ис-

ходит из того факта, что некоторые принципы, детерминирующие значение старых теорий или точек зрения, обычно несовместимы с новыми и лучшими теориями. Он указывает на то, что данное противоречие естественно решать путем устранения вызывающих беспокойство и неудовлетворительных старых принципов и замены их принципами или теоремами новой, лучшей теории. В заключение наш аргумент показывает, что такая процедура приводит также к устранению старых значений и, таким образом, к нарушению инвариантности значения»[6].

Здесь нам может показаться, что мы имеем формулу для порождения различных концептуальных схем. Мы получаем новую схему из старой тогда, когда носитель языка начинает считать истинными ряд предложений, которые до этого рассматривались им как ложные. Мы не должны описывать это изменение просто как процесс перехода к оценке как истинного того, что было ложным, так как истина представляется через суждение, и то, что субъект принимает, начиная считать предложения истинными, не является тем же самым, что он отрицал, когда считал предложения ложными. Изменение потому захватывает значение предложения, что оно теперь принадлежит новому языку.

Представление о том, как новая и, возможно, лучшая схема порождается из новой науки, во многом создается философами науки типа Патнэма и Фейерабенда или историками науки типа Куна. Сходные идеи возникают у некоторых других философов, надеющихся на облегчение нашей концептуальной участи путем приведения нашего языка в соответствие с современной наукой. Так, и Куайн, и Смарт, правда, несколько различными способами, с сожалением признавали, что наш язык делает невозможной серьезную науку о поведении (Витгенштейн и Райл говорили нечто подобное, но без всякого сожаления). Куайн и Смарт видели лекарство в изменении того, как мы говорим. Смарт защищал и предсказывал это изменение для того, чтобы поставить нас на надежный путь научного материализма, а Куайн больше занимался выяснением возможности чисто экстенсионально-

го языка. (Я должен, вероятно, прибавить, что наша реальная схема и язык лучше всего понимаются как экстенсиональные и материалистические.)

Я не думаю, что, если мы последуем их совету, это будет служить развитию науки, хотя, возможно, будет полезно для морали. Вопрос ведь заключается в том, что если бы такие изменения имели место, то следовало ли бы тогда считать их сменой базисного концептуального аппарата? Данную трудность легко показать на следующем примере. Предположим, что в моем «министерстве научного языка» планируется человек, который не использует слова, указывающие, скажем, на эмоции, мысли, чувства и интенции, а говорит вместо того о физиологических состояниях, которые предположительно более или менее идентичны ментальным состояниям. Таким образом, мы узнаем, что наш эксперимент удался, если этот человек начинает говорить на новом языке. Насколько я знаю, его новые фразы, хотя они и позаимствованы из прежнего языка, в котором они указывали на физиологические процессы, могут играть роль ментальных понятий.

Ключевая фраза здесь следующая: «Насколько я знаю». Ясно, что сохранение части или всего старого словаря само по себе не обеспечивает оснований для утверждения, будто новая схема должна быть той же самой или отличной от старой. Таким образом, то, что прежде звучало подобно сенсационному открытию — истина относительна к концептуальной схеме — оказалось не более чем скучным и хорошо известным фактом, что истина предложения относительна к включающему в себя данное предложение языку. Вместо того чтобы жить в различных мирах, куновские ученые, подобно тем, кто нуждается в словаре Вебстера, разделены только словами.

Отказ от различия между аналитическим и синтетическим не может оказать нам помощи в осмыслении концептуального релятивизма. Сама аналитическо-синтетическая дистинкция объяснима в терминах идеи эмпирического содержания, которая служит опорой концептуального релятивизма. Дуализм синтетического и аналитического является дуализ-

мом предложений, которые истинны (ложны) вследствие как своего значения, так и эмпирического содержания, и предложений, истинных (ложных) единственно благодаря значению и не имеющих никакого эмпирического содержания. Если мы отбрасываем дуализм, то отказываемся и от связанной с ним концепции значения. Однако мы не должны отказываться от идеи эмпирического содержания, так как можем считать, что все предложения имеют эмпирическое содержание, которое объясняется через референцию к фактам, миру, опыту, ощущениям, совокупности сенсорных стимулов или чему-то еще. Понятие значения давало нам возможность говорить о категориях, организующих структурах языка и т. д., но, как мы уже видели, отбросив «значение» и «аналитичность», мы можем в то же время сохранить идею языка, воплощающего концептуальную схему. Таким образом, вместо дуализма аналитического и синтетического мы получаем дуализм концептуальной схемы и эмпирического содержания. Новый дуализм является основанием эмпиризма, который свободен от непоследовательных догм аналитико-синтетической дистинкции и редукционизма, то есть от бесполезной идеи, будто мы можем единственным путем — предложение за предложением — локализовать эмпирическое содержание.

Я настаиваю на том, что этот дуализм схемы и содержания, то есть организующей схемы и того, что ожидает организации, не может быть представлен в рациональной форме. Он сам есть догма эмпиризма — третья догма. Третья и, возможно, последняя, поскольку если мы ее отбросим, то вообще станет сомнительно, сохранится ли нечто, называемое эмпиризмом.

Дуализм схемы и содержания был сформулирован многими способами. Приведу некоторые примеры. Первый принадлежит Уорфу, развивающему тему Сепира. Уорф утверждает, что «...язык производит организацию опыта. Мы склонны думать о языке просто как о технике выражения и не понимаем, что язык прежде всего есть классификация и обработка потока чувственного опыта, результатом чего явля-

ется некоторый мировой порядок... Другими словами, язык делает более грубо... то же самое, что делает наука... Мы, таким образом, ввели новый принцип релятивности, который предполагает, что наблюдатели не руководствуются одинаковыми физическими данными для того, чтобы прийти к одной и той же картине универсума, до тех пор, пока их лингвистические основания не являются сходными или не могут некоторым образом быть выверены»[7].

Здесь мы имеем все требуемые элементы: язык как организующая сила не может быть ясно отличим от науки; то, что организуется, указывается как «опыт», «поток чувственных данных», «физические данные», а в результате — невозможность взаимопереводимости. Неудача перевода есть необходимое условие для различия концептуальных схем. Общее отношение к опыту или к эмпирическим свидетельствам способствует принятию нами утверждения, что в случае неудачи перевода рассматриваются именно языки или схемы. Для данной идеи существенно предположение о чем-то нейтральном и общем как лежащем за пределами всех схем. Это общее «нечто» не может, конечно, быть *предметным содержанием* контрастирующих языков, поскольку тогда перевод был бы возможен. Так, Кун недавно писал: «Философы теперь отказались от надежды на отыскание языка чистых чувственных данных... но многие из них продолжают предполагать, что теории могут сравниваться с помощью базисного словаря, полностью состоящего из слов, которые связаны с природой способами, которые не могут быть подвержены сомнению и до некоторой степени необходимы и независимы от теории. Фейерабенд и я во всех подробностях показали, что такого словаря вообще не существует. При переходе от одной теории к другой слова неуловимым образом изменяют свои значения или условия применимости. Хотя большая часть тех же самых знаков используется как до, так и после научной революции (например: сила, масса, элемент, состав, клетка), способ, которым они связываются с природой, изменился. Таким образом, следующие друг за другом теории, как мы утверждали, несоизмеримы»[8].

«Несоизмеримость» есть, разумеется, то слово, которое Кун и Фейерабенд используют для обозначения «невозможности взаимного перевода». А нейтральное содержание, ожидающее организованного оформления, обеспечивается природой.

Фейерабенд предполагает, что мы можем сравнить контрастирующие схемы с помощью «выбора точки зрения за пределами системы или языка», потому что «все же есть человеческий опыт как актуально существующий процесс»[9], независимый от любых схем.

Те же самые или сходные мысли выражены Куайном во многих его утверждениях: «Целостность нашего так называемого знания или мнения... есть созданное человеком сооружение, которое соприкасается с опытом только по краям»[10], «...вся наука подобна силовому полю, пограничные условия которого являются опытом»[11], «как эмпирист, я думаю о концептуальной схеме науки в качестве инструмента для предсказания будущего опыта в свете прошлого...»[12]. И снова: «Мы упорствуем в разделении реальности на многообразие различимых и идентифицируемых объектов... Мы так уверенно говорим об объектах, что утверждать, что именно так мы и делаем, значит не сказать ничего, поскольку как же еще можно говорить. Трудно понять, как следует говорить, не потому, что наша объективирующая система является неизменной чертой человеческой природы, а потому, что мы ограничены в приспособлении чужих схем к нашей собственной на протяжении всего процесса понимания или перевода предложений чужого языка»[13].

Способом обнаружения различия остается фиксация неудачи или трудности перевода: «...Говорить об этом дальнем посреднике как радикально отличном от нашего собственного значит сказать не больше, чем то, что перевод не может проходить гладко»[14]. Вдобавок, погрешность может быть настолько большой, что иностранец будет иметь «невообразимую до сих пор систему, лежащую за пределами индивидуации»[15].

Идея, следовательно, заключается в том, что нечто явля-

ется языком и объединяется с концептуальной схемой независимо от того, можем ли мы это нечто перевести, если оно стоит в определенном отношении (предсказания, организации, согласования) к опыту (природе, реальности, чувственным данным). Проблема состоит в выяснении того, что это за отношение и что за объекты находятся в этом отношении.

Образы и метафоры разделяются на две группы: концептуальные схемы (языки) либо нечто *организуют*, либо *согласовывают* с чем-либо (например, «он исказил свое научное наследие для согласования его с чувственными данными»[16]). Первая группа метафор также включает в себя: *предсказание, разделение* (потока опыта); ко второй части дополнительно относятся: *предсказание, объяснение* (соответствия опыту). Как для упорядочиваемых объектов, так и для тех, которые схема должна согласовывать с чем-либо, я думаю, мы можем принять две главные идеи: либо это реальность (универсум, мир, природа), либо опыт (данные, чувственные данные, внешние раздражения, чувственные воздействия, преходящая видимость).

Мы не можем связать ясное значение с понятием организации единичного объекта (мира, природы и т. п.) до тех пор, пока этот объект не будет понят как состоящий из других объектов. Тот, кто собирается навести порядок в шкафу, размещает в нем вещи. Если же вас просят не привести в порядок платья и туфли, а организовать сам шкаф, то вы будете поставлены в тупик. Как можете вы организовать Тихий океан? Выпрямив его берега, переместив его острова или уничтожив в нем рыбу.

Язык может содержать простые предикаты, объему которых в некотором ином языке не соответствует ни один простой предикат, ни какой-либо предикат вообще. Наличие общей для двух языков онтологии, содержащей понятия, которые индивидуализируют одни и те же объекты, дает нам право применять это положение в отдельных случаях. Мы можем уяснить неудачу перевода, если она невелика, поскольку основа для успешного в целом перевода обеспечивает фиксацию самой этой неудачи. Но мы поставили более сложную

проблему: мы хотели рассмотреть осмысленность положения о существовании языка, который мы не могли бы перевести вообще. Или, другими словами, мы искали критерий бытия языком, который не зависит от переводимости в знакомую идиому. Я полагаю, что образ «наведения порядка в шкафу природы» не обеспечивает нам такого критерия.

Как тогда относиться к другим типам объектов или опыта? Можем ли мы мыслить организующий *их* язык? Возникает целый ряд подобных трудных вопросов. Понятие организации применимо только к множественности. Но какую бы заключающуюся в опыте множественность мы ни приняли, события типа потери пуговицы, удара ногой, ощущения тепла или слушания гобоя должны индивидуализироваться в соответствии с хорошо знакомыми принципами. Язык, который организует *такие* сущности, должен быть языком, очень похожим на наш собственный.

Опыт (ощущения, чувственные данные, поверхностные раздражения) создает и другие, более очевидные трудности для идеи организации. Ибо как можно считать языком то, что организует *только* опыт, ощущения, поверхностные раздражения или чувственные данные? Ведь ножи и вилки, железные дороги и горы, королевства и капуста также нуждаются в организации.

Когда мы переходим от разговора об организации к разговору о согласовании, мы обращаем наше внимание не на референтный аппарат языка (предикаты, кванторы, переменные, единичные термины), а на предложение в целом. Именно предложение в целом предсказывает (или используется, чтобы предсказывать), именно предложение имеет дело с вещами, которые согласовывают наши чувственные возбуждения для того, чтобы их можно было сравнить или противопоставить данным. Именно предложения стоят перед трибуналом опыта, но они, конечно, должны стоять перед ним все вместе — как все предложения языка.

Дело не в том, что опыт, чувственные данные, внешние воздействия составляют единственное предметное содержание языка. Есть, правда, теории, в которых утверждается,

что речь о кирпичных домах на Элм-стрит должна быть, в конце концов, построена таким образом, чтобы быть речью только о чувственных данных или восприятиях. Такие редукционистские мнения являются лишь экстремальными и неправдоподобными версиями общей позиции, которую мы рассматриваем. Данная позиция заключается в том, что чувственный опыт *свидетельствует* в пользу признания предложений истинными (где предложения могут включать в себя целые теории). Предложение или теория согласовывают наши чувственные данные, успешно предстают перед трибуналом опыта, предсказывают будущий опыт или имеют дело с системами внешних воздействий при условии, что они подтверждаются эмпирическими свидетельствами.

Достаточно обычной является ситуация, когда теория может подтверждаться наличными свидетельствами и все-таки быть ложной. Но здесь рассматриваются не только актуально наличные свидетельства, а совокупность чувственных свидетельств прошлого, настоящего и будущего. Нам не нужна пауза, чтобы обдумывать, что все это может значить. Основное положение заключается в следующем: поскольку теория согласована с целостностью возможных свидетельств чувств, постольку эта теория должна быть истинной. Но если теория квантифицирует физические объекты, числа и множества, то как можно сказать, что утверждения об этих объектах истинны, даже если теория в целом согласуется со свидетельствами чувств? Можно назвать такие объекты постулатами, но такое название оправданно, если названное может контрастировать с тем, что так не может быть названо. По крайней мере, идея заключается в том, что эти сущности не являются чувственными данными.

Затруднение состоит в том, что понятие согласования опыта, как и понятие согласования фактов или истинности относительно фактов, не прибавляет ничего осмысленного к простому понятию истины. Речь о чувственном опыте, а не свидетельствах или просто фактах, выражает мнение по поводу источников или природы свидетельств, но это не прибавляет новой сущности к универсуму, на фоне которого про-

веряется концептуальная схема. Целостность свидетельств чувств является тем, что может (при условии, что это все свидетельства) сделать наши предложения или теорию истинными. Однако ничто, ни один *предмет* не сделает нашу теорию и ее предложения истинными — ни опыт, ни внешние воздействия, ни сам мир. То, что опыт приобретает определенное направление, то, что наша кожа прокалывается или нагревается, то, что универсум конечен — все эти факты, если мы хотим так говорить, делают предложения истинными. Но эти предложения следует утверждать вообще без упоминания фактов. Предложение «моя кожа теплая» истинно, если и только если моя кожа теплая. Здесь нет указания ни на факт, ни на опыт, ни на какие-либо иные свидетельства[17].

Наша попытка охарактеризовать язык или концептуальные схемы в терминах соответствия некоторому объекту привели к простой мысли, что концептуальная схема приемлема, если она истинна. Возможно, лучше сказать «в значительной степени истинна», для того чтобы позволить тем, кто разделяет эту схему, расходиться в деталях. А критерий концептуальной схемы, отличающейся от нашей собственной, теперь становится таким: «в значительной мере истинна, но непереводима». Вопрос о полезности такого критерия есть вопрос о том, насколько хорошо мы понимаем относящееся к языку понятие истины, не зависящее от понятия перевода. Ответ, я думаю, заключается в том, что мы вообще не можем понимать истину вне всякой зависимости.

Мы признаем, что предложения типа «„Снег бел“ истинно, если и только если снег бел» должны быть тривиально истинными. Совокупность всех таких предложений данного языка единственным образом определяет объем понятия истины для носителя данного языка. Тарский обобщил это наблюдение и сделал его проверкой теории истины. В соответствии с конвенцией Т Тарского, теория истины для языка L, использующая понятие выполнимости, должна полагать, что для каждого предложения s из L существует теорема формы «s истинно, если и только если p», где «s» заменяется описанием s, а «p» заменяется самим s, если L яв-

ляется таким-то языком, и переводом *s* на такой-то, если *L* таковым не является. Конечно, это не определение истины, и здесь не говорится, что существует единственное определение или теория, которая применима ко всем языкам в целом[18]. Тем не менее конвенция Т предполагает, хотя мы и не можем это сформулировать. важное свойство, общее для всех специализированных понятий истины. Это связано с важностью использования понятия перевода на язык, который мы знаем. Поскольку конвенция Т воплощает нашу интуицию о том, как должно использоваться понятие истины, то не следует надеяться обнаружить радикальное отличие концептуальной схемы, если критерии этого зависят от допущения того, что мы можем разделить понятие истины и понятие перевода.

Ни фиксированный запас значений, ни нейтральная по отношению к теории реальность не могут обеспечить основание для сравнения концептуальных схем. Было бы ошибкой продолжать заниматься поисками такого основания, если под этим подразумевается нечто общее для несоизмеримых схем. Отказываясь от этих поисков, мы отказываемся от попыток сделать осмысленной метафору единственного пространства, внутри которого каждая схема имеет свое место, задающее точку зрения.

Теперь я возвращаюсь к более умеренному подходу — к идее частичной, а не полной неудачи перевода. Эта идея предполагает возможность понимания изменений и контрастов в концептуальных схемах через обращение к некоторой общей части. То, что нам требуется, есть теория перевода, или интерпретации, которая вообще не делает допущений по поводу разделяемых переводчиком и носителем языка значений, понятий и мнений.

Взаимозависимость мнения и значения проистекает из взаимозависимости двух аспектов интерпретации речевого поведения: приписывания носителю языка мнений и интерпретации предложений. Ранее мы заметили, что можем объединить концептуальные схемы с языками вследствие их зависимости друг от друга. Теперь мы можем сформулировать

это положение более строгим образом. Будем считать, что речь человека может интерпретироваться только тем, кто хорошо знает мнения носителя языка (или того, чего тот хочет, намеревается сделать). Тонкие различения между мнениями невозможно произвести без понимания речи. Но как в таком случае нам следует интерпретировать речь или производить приписывание мнений и других установок? Ясно, что мы должны иметь теорию, которая одновременно объясняет установки и интерпретирует речь.

Следуя Куайну, я считаю, что мы можем, не впадая в порочный круг и не делая нежелательных допущений, принять некоторые общие установки по поводу предложений как базисных оснований для теории радикальной интерпретации. Учитывая цели нашего обсуждения, мы зависим, по крайней мере, от установки на признание предложения истинным. (Более полнокровная теория будет заинтересована и в других установках по поводу предложений, таких как желание знать, истинно ли нечто, намерение считать истинным и т. д.) Относительно рассматриваемой установки вывод напрашивается сам: если мы знаем только, что кто-то считает предложение истинным, то мы не знаем ни того, что человек подразумевает под своими предложениями, ни каково его мнение для принятия их за истинные в данном случае.

То, что некоторые предложения кем-то считаются истинными, есть, таким образом, вектор двух сил: проблема интерпретации должна суммировать имеющуюся в наличии рабочую теорию значения и приемлемую теорию мнения.

Способ решения этих проблем можно хорошо представить себе на следующем примере: если вы видите плывущий мимо двухмачтовый парусник, а ваш спутник говорит: «Посмотри, какой красивый ял», то вы поставлены перед проблемой интерпретации. Естественно предположить, что ваш друг ошибся, приняв парусник за ял, вследствие чего у него сформировалось ошибочное мнение. Но если у него хорошее зрение и подходящая точка обзора, то более вероятным будет то, что он употребляет слово «ял» не так, как вы его употребляете, и поэтому он вообще не сделал никакой ошиб-

ки по поводу наличия выносной бизани на проходящей яхте. Мы постоянно должны стремиться выводить интерпретацию из-под удара, сохраняя разумную теорию мнений. Как философы, мы особенно терпимы к систематической словесной путанице и стремимся к тому, чтобы интерпретация давала результаты. Этот процесс заключается в конструировании жизнеспособной теории мнений и значений из предложений, которые считаются истинными.

В этих примерах делается ударение на интерпретации аномальных деталей на фоне общих мнений и действующего метода перевода. Но и в менее тривиальных случаях принципы будут теми же самыми. Дело в том, что если мы знаем только то, какие предложения носитель языка считает истинными, и не можем допустить, что его язык является нашим собственным, тогда мы не сделаем даже первого шага к интерпретации, не предположив многое из того, в чем убежден рассматриваемый субъект. Поскольку знание о мнениях приходит только вместе со способностью интерпретировать слова, то в самом начале интерпретации единственной возможностью для понимания является принятие общего соглашения по поводу мнений носителя языка и переводчика. Мы достигаем первого приближения к окончательной теории, если приписываем предложениям субъекта условия истинности, которые реально, по нашему собственному мнению, выполняются, когда субъект считает эти предложения истинными. Основная линия заключается в том, чтобы делать это, насколько возможно руководствуясь соображениями простоты, учитывая следствия социального влияния и, конечно, научного или обыденного знания эксплицируемой ошибки.

Наш метод задуман не для того, чтобы исключить разногласия, да он и не может этого сделать. Его цель — сделать возможным осмысленное разногласие, а это полностью зависит от наличия *некоторого* основания в согласии. Согласие либо принимает форму совпадения во мнениях по поводу истинности предложений носителей «одного и того же языка», либо будет в большой степени опосредствовано теори-

ей истины, принимаемой на другом языке переводчиком для субъекта.

Поскольку доверие (charity) является не просто свободным выбором, а условием для того, чтобы иметь работоспособную теорию, бессмысленно полагать, будто одобряя его, мы делаем серьезную ошибку. До тех пор, пока мы не имеем систематической корреляции предложений, истинных для носителя языка, с предложениями, истинными для переводчика, мы вообще не делаем никакой ошибки. Доверие воздействует на нас, хотим мы этого или нет, и если мы стремимся понимать других, мы должны считать их в основном правыми. Создав теорию, согласующую доверие и формальные условия для теории, мы сделаем все, что может быть сделано для обеспечения коммуникации. Большее невозможно, да ничего большего и не нужно.

Мы придаем максимум смысла словам и мыслям других, когда интерпретируем их способом, оптимизирующим согласие, которое предусматривает место и для эксплицируемой ошибки, то есть разницы во мнениях. Остается ли тогда место для концептуального релятивизма? Ответ, я думаю, заключается в том, что нам следует сказать по поводу различия в концептуальных схемах то же самое, что уже было сказано о различиях во мнениях: мы проясняем различие схем или мнений, если разделяем базис переводимого языка или одинаковых мнений, между которыми нельзя провести четкой границы. Если мы собираемся переводить некоторые предложения с помощью предложений, к которым мы привержены на основе принадлежности к сообществу, то можем склоняться к тому, чтобы называть это различием в схеме; если же мы решили согласовывать свидетельства другим способом, то более естественно говорить о различии во мнениях. Но когда другие мыслят отлично от нас, то ни общий принцип, ни обращение к свидетельствам не могут нас вынудить решить, что различие лежит скорее в наших мнениях, а не в наших понятиях.

Мы должны, я думаю, сделать вывод о том, что стремление придавать серьезное значение идее концептуального

релятивизма, и, следовательно, идее концептуальной схемы, не более состоятельно при допущении частичной неудачи перевода, чем при допущении полной неудачи. По рассмотрении лежащей в основе интерпретации методологии становится ясно, что мы не можем оказаться в положении, в котором мы были бы способны решить, что другие обладают понятиями или мнениями, радикально отличающимися от наших собственных.

Было бы ошибкой суммировать вышеизложенное, утверждая, что мы показали возможность коммуникации между людьми, обладающими различными концептуальными схемами, для которой не требуется того, чего не может быть, а именно: нейтрального основания или общей системы координат. Ибо мы вообще не нашли осмысленного основания для того, чтобы можно было сказать, что эти схемы являются различными. Не следует также объявлять об удивительной сенсации, будто все человечество (по крайней мере, все обладающее языком человечество) разделяет общую схему и онтологию. Поскольку мы не можем обоснованно утверждать, что схемы различны, постольку мы не можем считать, что схема является одной и той же.

Отбрасывая свою зависимость от понятия неинтерпретируемой реальности как чего-то находящегося вне всех схем и науки, мы не отказываемся от понятия объективной истины. Напротив, как раз приняв догму дуализма схемы и реальности, мы получаем концептуальный релятивизм и относительность истины к схеме. Без этой догмы релятивизм остается в стороне. Конечно, истина предложений является относительной к языку, но она объективна, насколько это возможно. Отказываясь от дуализма схемы и реальности, мы не отбрасываем мир, а восстанавливаем непосредственный доступ к знакомым объектам, чьи «гримасы» делают наши предложения и мнения истинными или ложными.

14. МЕТОД ИСТИНЫ В МЕТАФИЗИКЕ

Когда мы совместно пользуемся некоторым языком, а это необходимо в целях коммуникации, мы принимаем также картину мира, которая в своих общих чертах должна быть истинной. Отсюда следует, что, выявляя общие особенности нашего языка, мы выявляем общие особенности реальности. Поэтому один из способов разработки метафизики заключается в изучении общей структуры нашего языка. Конечно, это не единственный истинный метод метафизики, такого просто не существует. Однако это метод, которым пользовались такие философы, как Платон, Аристотель, Юм, Кант, Рассел, Фреге, Витгенштейн, Карнап, Куайн и Стросон, далекие друг от друга по времени и по своим взглядам. Перечисленные философы не были согласны друг с другом относительно того, каковы важнейшие свойства языка и каким образом их лучше всего изучать и описывать, они приходили к различным метафизическим выводам.

Описываемый и рекомендуемый мной метод не нов, каждую из важнейших особенностей этого метода можно обнаружить у того или иного философа, его основная идея неявно содержится в лучших работах по философии языка. Новым является явная формулировка самого подхода и обоснование его философской значимости. Я начинаю с обоснования, затем перехожу к описанию самого метода и в заключение даю набросок некоторых его применений.

I

Почему наш язык, впрочем, любой язык, должен зависеть от общего, в значительной мере верного представления о том, чем являются вещи? Рассмотрим сначала, почему тот, кто способен понять речь другого человека, должен принять его представление о мире независимо от того, правильно оно

или нет. Причина состоит в том, что мы искажаем понимание слов другого человека, если в процессе понимания считаем, что он явно ошибается. Конечно, различия вполне могут существовать, но только на основе единства во мнениях. Об этих общих мнениях вряд ли стоит говорить, они известны и тривиальны. Однако без широкой общей основы нет места для споров и дискуссий. Мы не можем соглашаться или не соглашаться с кем-то, если нет почвы для взаимопонимания. По-видимому, это вполне очевидно.

Мнения идентифицируются и описываются только в рамках жесткой структуры мнений. Я могу верить в то, что облако закрывает солнце, но только потому, что я верю в то, что существует солнце, что облака состоят из водяного пара, что вода способна существовать в жидкой и газообразной формах и так далее. Дабы придать содержание моему мнению, что облако закрывает солнце, не требуется какого-то конкретного набора других мнений, однако должно существовать некоторое подходящее множество связанных с ним мнений. Если я предполагаю наличие у вас мнения, что облако закрывает солнце, то я предполагаю наличие у вас некоторой структуры мнений, поддерживающих данное мнение. Я допускаю, что эти мнения должны быть в достаточной мере похожи на мои мнения, чтобы оправдать описание вашего мнения именно как мнения, что облако закрывает солнце. Если я прав, приписывая вам данное мнение, то структура ваших мнений должна быть похожей на мою. Поэтому неудивительно, что я могу правильно интерпретировать ваши слова только в пределах сходства наших мнений.

Может показаться, что приведенный аргумент показывает лишь, что хорошая интерпретация порождает согласие, оставляя совершенно открытым вопрос о том, является ли то, относительно чего достигнуто согласие, истинным. А ведь согласие, сколь бы широко оно ни было, вовсе не гарантирует истинности. Однако данное замечание проходит мимо главного пункта моего доказательства. Основная идея заключается в том, что сходство во мнениях нужно как базис коммуникации и понимания. Более широкое утвержде-

ние говорит о том, что объективная ошибка может появиться только в структуре, в основном, истинных мнений. Согласие не создает истины, однако большая часть того, относительно чего достигнуто согласие, должна быть истинной, чтобы кое-что могло быть ложным. Слишком большое количество приписываемых ошибок способно лишить предмет его содержания, и точно так же слишком большое количество реальных ошибок лишают человека возможности правильно судить о вещах. Когда мы хотим дать интерпретацию, мы опираемся на то или иное предположение относительно общей структуры согласия. Мы предполагаем, что большая часть того, в чем мы согласны друг с другом, истинна, однако мы не можем, конечно, считать, что мы знаем, в чем заключена истина. Мы не можем давать интерпретации на основе знания истин не потому, что ничего не знаем, а потому, что мы не всегда знаем, как они выглядят. Для интерпретации нам не нужно всеведение, однако нет ничего абсурдного в мысли о всеведущем интерпретаторе. Он приписывает мнения другим людям и интерпретирует их высказывания, опираясь на свои собственные мнения, как делают это и все остальные. Поскольку в этом отношении он не отличается от всех остальных, он вынужден обеспечивать столько согласия, сколько нужно для придания смысла его приписываниям и интерпретациям, и в этом случае, конечно, то, относительно чего согласны, будет по предположению истинным. Но теперь становится ясно, почему ошибочность наших представлений о мире — если этих ошибок слишком много — просто не может быть осознана. Предполагать, что она может быть осознана, значит допускать, что мог бы существовать такой (всеведущий) интерпретатор, который корректно интерпретировал бы чьи-то взгляды как в основном ошибочные, а это, как мы показали, невозможно.

II

Успешная коммуникация доказывает существование общей и по большей части истинной картины мира. Однако требо-

вать общности воззрений на мир заставляет нас признание того факта, что принимаемые в качестве истинных предложения – представление мнений в языке – детерминируют значения входящих в них слов. Таким образом, общепринятая картина мира создает общий язык. Поэтому допустимо предполагать, что изучение наиболее общих аспектов языка будет изучением наиболее общих аспектов реальности. Остается лишь сказать о том, как можно выделить и описать эти аспекты.

Язык является инструментом коммуникации благодаря своим семантическим сторонам, благодаря возможности для его предложений быть истинными или ложными. Исследованием того, истинны ли те или иные конкретные предложения, занимаются различные науки, однако изучение условий истинности принадлежит семантике. Если мы хотим выявить наиболее общие особенности мира, то мы должны обратить внимание на то, что делает некоторое предложение языка истинным. Можно предположить, что если условия истинности предложений поместить в контекст универсальной теории, то получившаяся лингвистическая структура будет отображать общие особенности реальности.

Целью является построение теории истины для достаточно важной и значительной части естественного языка. Одним из факторов, которыми определяется значение любых метафизических результатов, является вопрос о границах данной теории – какая часть языка охватывается теорией и насколько она обоснована? Теория должна показать, каким образом каждое из потенциально бесконечного множества предложений можно рассматривать как построенное из конечного числа семантически значимых атомов (грубо говоря, слов) с помощью конечного числа применений конечного числа правил построения. Затем, опираясь на структуру предложений, нужно задать условия истинности каждого предложения (относительно обстоятельств его произнесения). Таким образом, теория должна объяснить условия истинности произнесения некоторого предложения, опираясь на роль слов в этом предложении.

Здесь мы большей частью обязаны Фреге. Именно Фреге осознал важность объяснения того, как истинность предложения зависит от семантических особенностей его частей, и он предложил подобное объяснение для значительных фрагментов естественного языка. Его метод получил широкое распространение: он вводил стандартную систему записи, синтаксис которой прямо отображал подразумеваемую интерпретацию, а затем доказывал, что новая система записи при такой интерпретации обладает теми же самыми выразительными возможностями, что и значительные части естественного языка. Лучше сказать, не вполне теми же самыми возможностями, поскольку Фреге полагал, что в некоторых отношениях естественный язык страдал недостатками, и рассматривал свой новый язык как его улучшение.

Фреге интересовался семантической структурой предложений и семантическими отношениями между ними в той мере, в какой это было связано с логическим выводом. Однако он не смог придти к идее универсальной формальной теории истины для языка в целом. Одной из причин этого было отсутствие у него интереса к семантическим парадоксам. Другой — очевидная готовность признать бесконечность значений (смыслов) и референтов для каждого обозначающего выражения языка.

Поскольку в качестве единственной семантической комбинации Фреге принял применение функции к аргументам, постольку он был вынужден трактовать предложения как имена особого рода — имена истинностных значений. Рассматриваемый просто как искусный прием задания условий истинности предложений, этот ход Фреге заслуживает восхищения. Однако поскольку предложения не функционируют в языке так, как имена, подход Фреге порождает сомнения в том, что онтология, с которой он имеет дело в своей семантике, непосредственно связана с онтологией, неявно предполагаемой естественным языком. Но тогда неясно, что можно узнать о метафизике из метода Фреге. (При этом я, конечно, не имею в виду, что из работ Фреге мы ничего не

можем узнать о метафизике, однако обоснование этого требует иных аргументов.)

Куайн внес существенный элемент в обсуждаемую концепцию, показав, каким образом холистский подход к проблеме понимания языка помогает решать вопросы эмпирического обоснования. Если метафизические следствия выводятся из теории истины так, как я предлагаю, то подход к языку должен быть холистским. Однако сам Куайн по некоторым причинам не придавал холизму непосредственного метафизического значения. Во-первых, у Куайна теория истины не занимала центрального положения ни как ключ к онтологии языка, ни как основа для проверки логической формы. Во-вторых, подобно Фреге, он рассматривал удовлетворительно структурированный язык скорее как улучшение естественного языка, а не как часть теории языка. По-видимому, в одном важном отношении Куайн идет даже дальше, чем Фреге, ибо если Фреге полагал, что его система записи улучшает язык, то Куайн считал, что система записи улучшает науку. В итоге Куайн связывает свою метафизику со своей канонической системой записи, а не с естественным языком. В частности, он пишет: «Поиск наиболее простого и ясного универсального образца канонической записи не следует отличать от поиска фундаментальных категорий, показывающих наиболее общие черты реальности»[1].

Формальные языки, которые мне нравятся, — первопорядковые языки со стандартной логикой — предпочитал и Куайн, однако мы выбираем их по разным причинам. Такие языки нравятся Куайну потому, что логика их проста и в них можно выразить интересные с точки зрения науки части естественного языка. С этим я согласен. Поскольку, однако, меня интересует не улучшение естественного языка, а его понимание, я вижу в формальных языках или канонических системах записи лишь средства исследования структуры естественного языка. Мы знаем, каким образом сформулировать теорию истины для формального языка, поэтому если бы мы также знали, как систематическим образом преобразовать предложения естественного языка в предложения

формального языка, то мы имели бы теорию истины для естественного языка. С этой точки зрения обычные формальные языки представляют собой вспомогательные средства, используемые нами для истолкования естественных языков как более сложных формальных языков.

Работа Тарского об определениях истины для формализованных языков вдохновляет на поиски теории истины для естественных языков[2]. Его метод заключается в том, чтобы сначала задать семантические свойства элементов конечного словаря, а затем на этой основе рекурсивно охарактеризовать истину для каждого бесконечного множества предложений. Истина определяется с помощью тонкого и плодотворного понятия (выполнимости), связывающего предложения и иные выражения с объектами мира. Важная особенность подхода Тарского состоит в том, что определение предиката «истинно» считается приемлемым только в том случае, если для каждого предложения языка *L* из него следует теорема вида «*x* истинно в *L* тогда и только тогда, когда...», где «*x*» представляет описание данного предложения, а вместо точек стоит перевод предложения в язык теории.

Ясно, что эти теоремы, которые мы можем назвать Т-предложениями, требуют предиката, справедливого именно для истинных предложений языка *L*. Из того факта, что условия истинности некоторого предложения являются переводом данного предложения (то есть с правой стороны от связки «тогда и только тогда, когда» в Т-предложении стоит перевод предложения, описание которого указано в левой стороне), можно заключить, что данная теория показывает, каким образом для каждого данного предложения можно определить понятие истины, не обращаясь к концептуальным средствам, которых нет в данном предложении.

Высказанные замечания лишь приблизительно корректны. Теория истины для естественного языка должна связать истинность предложения с обстоятельствами его произнесения, а если это сделано, то условия истинности, задаваемые Т-предложением, не будут больше переводом рассмат-

риваемого предложения, и нельзя уже будет избежать использования семантических понятий в формулировке условий истинности предложений с индексальными элементами. Еще более важно то, что понятие перевода, которое может быть сделано точным для искусственных языков с заранее заданной интерпретацией, для естественных языков не имеет точного и ясного смысла.

По этим и другим причинам важно подчеркнуть, что теория истины для естественного языка (как я ее себе представляю) по своим целям и задачам сильно отличается от определений истины Тарского. Здесь исчезает узкая направленность применения и вместе с этим теряется интерес к тому, что больше всего заботит логиков и математиков, например, к непротиворечивости. Тарский мог считать перевод синтаксически определенным и опираться на него при определении истины. Однако в применении к естественному языку имеет смысл принять частичное понимание истины и использовать теорию истины для освещения вопросов значения, интерпретации и перевода. Выполнение конвенции Тарского желательно для теории, но больше не может служить формальным критерием ее удовлетворительности.

Для естественного языка теория истины полезна тем, что помогает раскрыть его структуру. Рассматривая каждое предложение как составленное определенным образом из конечного числа слов, она делает эту структуру явной. Когда мы изучаем термины и предложения непосредственно, без помощи универсальной теории, мы должны приписать языку метафизику. Словам и предложениям мы приписываем некоторые роли в соответствии с категориями, которые мы постулируем, исходя из эпистемологических или метафизических оснований. Действуя таким образом, философы размышляют над вопросом о том, должны ли существовать объекты или универсалии, соответствующие предикатам, или несуществующие объекты, соответствующие необозначающим именам или дескрипциям; они пытаются обосновать, что предложения соответствуют или не соответствуют фактам или суждениям.

Все эти проблемы выглядят иначе, если взглянуть на них с точки зрения всеобъемлющей теории истины, так как такая теория неизбежно выдвигает свои требования.

III

Рассмотрим теперь некоторые приложения. Мы замечаем, что требование, заставляющее нас при задании условий истинности некоторого предложения использовать концептуальные средства только самого этого предложения, не вполне ясно в тех случаях, когда оно применимо, да и применимо оно далеко не везде. Исключения связаны с предложениями, содержащими указательные местоимения, но здесь разрешение трудности является относительно простым[3]. За исключением этих случаев, я думаю, что данное требование при всей своей неясности имеет большое значение.

Допустим, мы приняли правило, подобное этому, в качестве части теории истины: «Предложение, состоящее из единичного термина, перед которым стоит одноместный предикат, истинно тогда и только тогда, когда объект, именуемый единичным термином, принадлежит классу, заданному данным предикатом»[4]. Данное правило нарушает это требование, так как если принять такое правило, то для «Сократ мудр» Т-предложением было бы «„Сократ мудр“ истинно тогда и только тогда, когда объект, именуемый „Сократ“, принадлежит классу, заданному предикатом „мудр“». Здесь утверждение условий истинности включает в себя два семантических понятия (именования и детерминации класса), не принадлежащих к концептуальным средствам предложения «Сократ мудр».

Из упомянутого Т-предложения легко получить менее обязывающее и более приемлемое предложение «„Сократ мудр“ истинно тогда и только тогда, когда Сократ мудр», если теория в качестве постулатов содержит также утверждения о том, что объект, именуемый «Сократ», есть Сократ, а *x* принадлежит классу, задаваемому предикатом «мудрый», тогда и только тогда, когда *x* мудрый. Если таких постулатов доста-

точно для всех собственных имен и исходных предикатов, результат ясен. Во-первых, для всех обсуждаемых предложений можно было бы сформулировать Т-предложения, свободные от нежелательных семантических терминов, и дополнительные семантические термины стали бы необязательными. Для каждого имени и предиката должен был бы существовать свой постулат, а это возможно лишь в том случае, если список имен и исходных предикатов конечен. Но если этот список конечен, то существовало бы лишь конечное число предложений, содержащих имена и одноместные предикаты, и ничто не помешало бы нам задать условия истинности для всех таких предложений прямым путем, то есть принять сами Т-предложения в качестве аксиом.

Приведенный пример показывает, каким образом конечность словаря позволяет устранить семантические понятия и как стремление к подходящей теории приводит к онтологическим следствиям. Требовать, чтобы объекты соответствовали предикатам, уже не нужно, когда теория формулирует Т-предложения без дополнительного семантического багажа. В рассматриваемом случае теория вообще не нуждается в том, чтобы устанавливать явное соответствие между выражениями и объектами, и поэтому не предполагает никакой онтологии. Однако это объясняется тем, что множество предложений, для которых формулируются условия истинности, конечно.

Правда, бесконечное число предложений тоже не всегда требует какой-то онтологии. Если дано конечное множество предложений с неопределенными предикатами, то легко дойти до бесконечности, добавляя средства построения предложений из предложений типа отрицания, конъюнкции или подстановки. Если онтология была не нужна для формулировки условий истинности простейших предложений, то применение данных средств не изменяет этого положения.

В общем, однако, семантически релевантная структура часто требует онтологии. Рассмотрим, например, ту идею, что стоящие в кавычках выражения следует рассматривать как семантические атомы, аналогичные собственным име-

нам, лишенным внутренней структуры. Об этом способе рассмотрения выражений, стоящих в кавычках, Тарский говорит, что «по-видимому, это наиболее естественный и полностью соответствующий обычному употреблению способ использования кавычек»[5]. Он старается показать, что кавычки нельзя рассматривать как обычное функциональное выражение, так как взятие в кавычки не создает имени некоторой сущности, являющейся функцией того, что именуется выражением, взятым в кавычки. Относительно этого Тарский совершенно прав, однако отсюда вовсе не следует, что выражения, взятые в кавычки, похожи на собственные имена. Даже если теория истины в духе Тарского и может быть сформулирована для языка, содержащего кавычки, то это еще вовсе не говорит об их сходстве, ибо существует бесконечно много выражений, стоящих в кавычках.

Идею возможного решения можно извлечь из замечания Куайна относительно того, что взятие в кавычки можно заменить записью по буквам (почти то же самое говорил Тарский). Запись по буквам обладает структурой. Она представляет собой способ построения семантически четкого описания некоторого выражения посредством использования конечного числа выражений: соединительного знака, скобок и (собственных) имен букв. Следуя этим путем, мы могли бы представить выражение в кавычках, например, «кот», как имеющее форму «„к“ ⌢ „о“ ⌢ „т“» или, еще лучше, «((к ⌢ о) ⌢ т)». Идея оказывается полезной, по крайней мере, на этом уровне. Однако обратим внимание на ее следствия. Мы больше уже не рассматриваем выражение в кавычках «кот» как лишенное структуры, скорее мы видим в нем сокращенную форму некоторого сложного описания. Но не произвольное сокращение для данного конкретного случая, а *способ* сокращения, которое может быть механически развернуто в описание с более четкой структурой. На самом деле, разговор о сокращении является ошибкой, мы вполне могли бы сказать, что данная теория истолковывает выражения в кавычках как сложные описания.

Другое следствие состоит в том, что в заданной структуре

выражений в кавычках мы должны выделять повторяемые и независимые «слова»: имена конкретных букв и соединительный знак. Число этих «слов» конечно, что и требовалось, но они также раскрывают некоторый онтологический факт, который трудно заметить, если рассматривать выражения в кавычках как лишенные структуры имена, — обязательство по отношению к буквам. Мы получаем удобную теорию, рассматривая молекулы как состоящие из конечного числа видов атомов, но при этом мы получаем также атомы.

Более интересным примером того, каким образом постулирование нужной языковой структуры влечет за собой принятие некоторой онтологии, является семантика Фреге для косвенных контекстов, создаваемых предложениями с пропозициональными установками. По мнению Фреге, в предложении типа «Дэниел верит, что в логове есть лев» главным является двуместный предикат «верит», при котором на первом месте стоит единичный термин «Дэниел», а на втором месте стоит единичный термин, именующий некоторое суждение или «смысл». Такое истолкование не только требует от нас трактовать предложения как единичные термины, но еще и находить объекты, которые они именуют. Более того, место точек в выражении «Дэниел верит, что...» может занимать бесконечное множество предложений, поэтому при формулировке определения истины мы должны раскрыть семантическую структуру этих единичных терминов: нужно показать, каким образом их можно истолковать как описания суждений. Во избежание противоречий, которые неизбежно появляются, если сингулярные термины в предложении сохраняют свои обычные значения, Фреге утверждает, что они относятся к интенсиональным сущностям. Аналогичные изменения должны претерпеть семантические свойства предикатов, кванторов и пропозициональных связок. Таким образом, теория истины, которую нам нужно найти, способна справиться с данной ситуацией, но лишь за счет двусмысленного истолкования каждого слова языка: слова имеют одну интерпретацию в обычных контекстах и другую — в контекстах, содержащих выражения типа «верит, что». То, что

выглядит одним словом, с точки зрения данной теории должно считаться двумя словами. Фреге обратил на это внимание и счел двусмысленность порочным свойством естественного языка; в искусственных языках своей работы «Построение логики смысла и обозначение» Чёрч устранил двусмысленность за счет введения разных выражений, отличающихся написанием[6].

Фреге предполагал, что при добавлении глагола пропозициональной установки к обозначающему выражению это выражение начинает говорить об объекте более высокого семантического уровня. Отсюда вытекает, что каждое слово и предложение бесконечно двусмысленны; в теории же Чёрча должен существовать бесконечный базовый словарь. Ни в том, ни в другом случае нельзя сформулировать такую теорию истины, которая нам нужна.

Фреге ясно понимал, что при создании систематической теории нужно рассматривать истинностное значение каждого предложения как функцию семантических ролей его частей или аспектов — гораздо яснее, чем кто-либо до него, и яснее, чем многие после него. Чего Фреге не смог оценить, как показывает последний пример, так это тех дополнительных ограничений, в частности, требования конечности словаря, которые вытекают из универсальной теории истины. Фреге развил семантику до того пункта, в котором данное требование становится понятным и, может быть, даже выполнимым, однако ему не пришло в голову сформулировать это требование.

Посмотрим более внимательно на операцию, позволяющую нам выявить скрытую структуру с помощью характеристики предиката «истинно». Начальные шаги можно проиллюстрировать на примере такого простого предложения, как «Джек и Джилл поднимаются на холм». При каких условиях это предложение истинно? Проблема заключается в том, что в данном предложении присутствует повторяющееся средство — конъюнкция. Ясно, что после слова «Джилл» мы можем *до бесконечности* добавлять фразы типа «и Мэри». Поэтому любое утверждение об условиях истинности этого пред-

ложения должно иметь в виду бесконечность предложений, создаваемых тем же самым средством, а это требует истолкования. Для этого в теорию истины включается рекурсивная процедура, которая может использоваться столько раз, сколько нужно. Эта процедура, как известно, заключается в том, что сначала определяют истину для базового и конечного набора простейших предложений, таких как «Джек поднимается на холм» и «Джилл поднимается на холм», а затем условия истинности предложения «Джек и Джилл поднимаются на холм» делают зависимыми от условий истинности двух простых предложений. Таким образом, как следствие теории истины мы получаем:

> «Джек и Джилл поднимаются на холм» истинно тогда и только тогда, когда Джек поднимается на холм и Джилл поднимается на холм.

С левой стороны стоит предложение обыденного языка, структура которого ясна или не ясна; с правой стороны от связки «тогда и только тогда, когда» находится предложение того же самого языка, однако той его части, которая специально выделена как обладающая способностью выявлять — благодаря повторному применению тех же самых средств — фундаментальную семантическую структуру. Если для каждого предложения языка теория истины порождает такое очищенное от случайностей предложение, то части языка, используемой в правой части, может быть придана каноническая запись. В самом деле, подставим вместо некоторых слов символы и введем группировку с помощью скобок или эквивалентных средств, и тогда фрагмент языка, используемый для формулировки условий истинности всех предложений, станет не отличим от того, что часто именуют формализованным или искусственным языком. Однако было бы ошибочным предполагать, что такое каноническое подразделение языка существенно. Поскольку союз «и» в русском языке может встречаться между предложениями, мы легко преобразуем предложение «Джек и Джилл поднимаются на холм» в предложение «Джек поднимается на холм и Джилл

поднимается на холм», а затем задаем условия истинности последнего с помощью правила: конъюнкция предложений истинна тогда и только тогда, когда истинен каждый член конъюнкции. Но допустим, что союз «и» никогда не ставится между предложениями; его все-таки еще можно было бы признать в качестве пропозициональной связки и установить правило, что предложение, состоящее из конъюнктивного субъекта («Джек и Джилл») и предиката («поднимаются на холм»), истинно тогда и только тогда, когда предложение, состоящее из первой части субъекта и предиката, и предложение, состоящее из второй части субъекта и предиката, оба истинны. Данное правило менее ясно и нуждается в дополнении другими правилами, чтобы вполне заменить простое первоначальное правило. Однако суть дела остается прежней: каноническая запись представляет собой удобство, без которого можно обойтись. Оно полезно для выявления логической формы, но не является необходимым.

Точно так же было бы чрезвычайно легко истолковать отрицание, если бы все предложения, содержащие отрицание, мы могли бы преобразовать в предложения с тем же самым истинностным значением, но в которых отрицание всегда стоит перед предложением (как, например, «не случается так, что»). Однако даже если бы это было невозможно, отрицание все еще могло бы остаться пропозициональной связкой, если бы условия истинности предложения типа «Уголь не бел» формулировались со ссылкой на условия истинности предложения «Уголь бел» («Уголь не бел» истинно тогда и только тогда, когда «Уголь бел» не истинно).

Истоки онтологии выходят на поверхность только там, где теория обретает квантификационную структуру и объясняет истинностные зависимости с помощью систематического привязывания выражений к объектам. Поразительно, насколько ясно необходимость теории выражена в одной древней апории — в вопросе о том, каким образом можно доказать асимметрию субъекта и предиката. До тех пор, пока наше внимание направлено на отдельные простые предложения, мы можем недоумевать, почему при объяснении ис-

тины предикаты включаются в онтологию в меньшей степени, чем единичные термины. Класс мудрых объектов (или свойство мудрости) раскрывается как то, что может соответствовать предикату «мудрый» в предложении «Сократ мудр», подобно тому, как Сократ соответствует имени «Сократ». Как указано выше, для описания онтологии теория истины требует бесконечного числа таких предложений. Однако когда мы приходим к смешанной квантификации и предикатам любой степени сложности, картина изменяется. При сложной квантификационной структуре теория будет подбирать для выражений объекты. Но если используемая логика является логикой первого порядка, то нет необходимости вводить объекты, соответствующие предикатам. Признание этого факта не устранит, конечно, вопроса о том, существуют ли такие вещи, как универсалии или классы. Однако этот факт показывает, что между единичными терминами и предикатами существует различие: многие элементы языка, включая переменные, кванторы и единичные термины, должны вводиться как референциальные; с предикатами же дело обстоит не так.

Далеко не всегда ясно, какова квантификационная структура предложений естественного языка. То, что кажется единичным термином, иногда превращается в нечто менее онтологическое, когда начинают исследовать логические отношения данного предложения к другим предложениям. Теория же может требовать, чтобы логические свойства предложения были обусловлены его квантификационной структурой, внешне не очевидной. Здесь имеется известная иллюстрация. Какова онтология такого предложения:

«Джек упал раньше, чем Джек разбил свою корону»?

Джек и его корона кажутся единственными кандидатами в объекты, которые должны существовать, если данное предложение истинно. И если вместо «раньше, чем» мы поставим «и», такой ответ может показаться нам удовлетворительным по изложенным выше основаниям: способом, пригодным для бесконечного количества сходных случаев, мы

можем установить условия истинности всего предложения «Джек упал и Джек разбил свою корону» на основе истинностных значений составляющих его предложений и можем надеяться задать условия истинности этих предложений, ограничившись онтологией, которая включает в себя только Джека и его корону. Но предложение «Джек упал раньше, чем Джек разбил свою корону» нельзя истолковать таким образом, поскольку «раньше, чем» не может рассматриваться как истинностно-функциональная семантическая связка. Для того чтобы данное предложение было истинным, нужно, чтобы оба составляющих его предложения были истинными, однако этого еще недостаточно для его истинности, так как перестановка компонентов сделает все предложение ложным.

Фреге показал, как справиться с этим случаем. Условия истинности предложения «Джек упал раньше, чем Джек разбил свою корону» можно сформулировать следующим образом: это предложение истинно тогда и только тогда, когда существует момент времени *t* и существует момент времени *f*, такие, что Джек упал в момент *t*, Джек разбил свою корону в момент *f* и *t* предшествует *f*. Вот так мы вынуждены принимать существование моментов времени, если считаем истинным такого рода предложение. А если принять во внимание холистский характер определения истины, то обнаружение скрытой онтологии в предложениях, содержащих выражение «раньше, чем», следует распространить и на другие предложения: «Джек упал» истинно тогда и только тогда, когда существует момент времени *t*, такой, что Джек упал в момент *t*.

Теперь рассмотрим пример, намного более сбивающий с толку. Возьмем сначала предложение «Падение Джека причинно обусловило разбиение его короны». Здесь естественно принять «Падение Джека» и «разбиение его короны» в качестве единичных терминов, описывающих события, а «причинно обусловило» рассматривать как двуместный, или реляционный, предикат. Но в таком случае каким будет семантическое отношение между такими общими терминами,

как «падение» из выражения «Падение Джека», и таким глаголом, как «упал» из «Джек упал»? Как предложение «Падение Джека причинно обусловило разбитие его короны» по условиям истинности отличается от предложения «Джек упал, что причинно обусловило то, что Джек разбил свою корону», в котором фраза «что причинно обусловило то, что» выглядит как пропозициональная связка?

Корректная теория выражения «причинно обусловлено», о чем я говорил в других местах, параллельна теории Фреге для выражения «раньше, чем»[7]. Я полагаю, что предложение «Джек упал, что причинно обусловило разбиение его короны» истинно тогда и только тогда, когда существуют события *e* и *f* такие, что *e* есть падение Джека, *f* есть разбиение его короны и *e* причинно обусловило *f*. Согласно этому предикат «падение», говорящий о событии, становится первичным, а контексты, содержащие глагол, — производными. Таким образом, предложение «Джек упал» истинно тогда и только тогда, когда существует падение, в котором участвует Джек; «Джек прогуливается» истинно тогда и только тогда, когда существует прогулка, в которой участвует Джек, и так далее. При таком анализе существительное типа «Падение Джека» становится подлинным описанием, и оно описывает некоторое падение, в котором участвует Джек.

Одно соображение, помогающее нам примириться с онтологией отдельных событий, заключается в том, что теперь мы можем отказаться от абстрактной онтологии моментов времени, которую только что приняли, так как события являются столь же подходящими членами отношения «раньше, чем», как и моменты времени. Другое соображение говорит о том, что признание онтологии событий помогает нам найти путь к построению жизнеспособной семантики для глаголов и глагольных модификаций. Если не признавать событий, то встает проблема объяснения логических взаимоотношений между такими, например, предложениями: «Джонс порезал себе щеку, когда брился бритвой в ванной в субботу», «Джонс порезал себе щеку в ванной» и «Джонс порезал себе щеку». Кажется, что здесь действует какое-то повторя-

ющееся средство, однако каким, с семантической точки зрения, может быть это средство? Книги по логике об этом не говорят. Они рассматривают эти предложения как говорящие об отношениях с изменяющимся числом мест, которое зависит от числа глагольных модификаций. Однако такой анализ приводит к неприемлемому выводу, что существует бесконечный базовый словарь, и не способен объяснить очевидных отношений следования. Интерпретируя данные предложения как говорящие о событиях, мы получаем возможность разрешить эти проблемы. Тогда мы можем утверждать, что предложение «Джонс порезал себе щеку в ванной в субботу» истинно тогда и только тогда, когда существует событие пореза своей щеки Джонсом, *и* это событие имело место в ванной, *и* оно имело место в субботу. Теперь повторяющееся средство становится очевидным: это знакомое соединение конъюнкции с квантификацией, позволяющее нам оперировать с выражением «Некто упал и разбил свою корону».

Это средство действует, но как мы видели, оно заставляет нас принимать некоторую онтологию — онтологию, включающую людей для предложения «Некто упал и разбил свою корону» и (вдобавок) события для предложения «Джонс порезал себе щеку в ванной в субботу». Несколько смешным кажется то обстоятельство, что в современной философии стало модным пытаться *избегать* онтологических проблем, рассматривая определенные фразы как наречия. Полагают, что мы можем избежать обращения к чувственным данным, если предложение типа «Гора кажется Смиту голубой» перепишем в виде «Гора выглядит голубо для Смита». Другая сходная идея состоит в том, что мы можем обойтись без онтологии интенсиональных объектов, рассматривая предложения о пропозициональных установках как, по сути дела, конструкции с наречиями: предложение «Галилей сказал, что Земля вертится» тогда превращается в «Галилей говорил так-как-будто-Земля-вертится». Я думаю, мало шансов осуществить систематический семантический анализ таких конструкций, не впадая в онтологическую путаницу.

Имеется еще один, несколько иной путь, на котором теория истины приводит к метафизическим следствиям. Приноравливаясь к наличию в естественном языке указательных местоимений и указательных элементов типа грамматических времен, теория истины вынуждена истолковывать истинность как свойство высказывания вслух, которое зависит (помимо всего прочего) от произносимого предложения, субъекта и момента времени. Альтернативным образом можно было бы трактовать истину как отношение между субъектом, предложением и моментом времени. Тогда произнесение «Я имею рост пять футов» истинно, если осуществляется в некоторые периоды времени из жизни большинства людей, и истинно, если осуществляется в любой период времени в течение значительного промежутка из жизни немногих людей. Предложение «Ваше склонение фиксировано» может быть истинным, если произносится носителем языка в тот момент, когда он обращен лицом к западу, хотя оно не могло бы быть истинным, если бы он смотрел на север. Предложение «Хилари поднялся на Эверест» в течение долгого времени было ложным, а теперь навсегда будет истинным. Предложения без указательных местоимений не могут заменить предложений с таковыми, однако если у нас есть теория истины, мы должны иметь возможность сформулировать, не используя указательных местоимений, правило, говорящее о том, при каких условиях предложения с такими элементами будут истинны. Такое правило будет формулировать условия истинности предложений типа «Хилари поднялся на Эверест» только с помощью квантификации по высказываниям, субъектам и моментам времени или, быть может, по событиям.

Если при построении теории истины требуется явная ссылка на носителей языка и окружающие условия, то из предположения, что общие особенности языка отображают объективные особенности мира, мы должны заключить, что подходящая метафизика на центральное место поставит идею субъекта, локализованного в обыденном пространстве и времени.

Следует отметить, что «метод истины» в метафизике не устраняет обращения к более стандартным, часто вовсе не лингвистическим аргументам и решениям. Возможности теории истины, например, в значительной мере зависят от используемых ею логических средств, а этого вопроса сама теория решить не может. Данный метод также не предполагает, как мы видели, что сверх логических истин мы должны еще принимать какие-то истины как условие взаимопонимания. Теория истины лишь описывает образцы истин среди предложений, не говоря нам о том, когда эти образцы оказываются непригодными. Так, например, я утверждаю, что очень большое количество наших обычных суждений о мире не может быть истинным, если не существует событий. Однако теория истины, даже в предлагаемой мной форме, не могла бы сказать, какие именно события существуют. Если же, однако, я прав относительно логической формы предложений об изменениях, то без событий не существует широко распространенного вида истинных предложений об изменениях. А если не существует истинных предложений об изменениях, то не существует и истинных предложений об объектах, которые изменяются. Метафизика, нежелающего считать истинными такие предложения, как «Везувий извергался в марте 1944 г.» или «Цезарь перешел Рубикон», теория истины не будет принуждать соглашаться с существованием событий и даже, быть может, людей или гор. Если же он согласен с тем, что многие из таких предложений истинны (какими бы они ни были), то ясно, что он должен признавать существование людей и вулканов, а если я прав, то и существование таких событий, как извержения и переходы.

Достоинство метода истины заключается не в том, что он решает такие вопросы раз и навсегда или решает их без метафизических размышлений. Но этот метод уточняет смысл возможных альтернатив и выдвигает универсальную идею следствий того или иного решения. Метафизика стремится к общности как к своей цели; метод истины выражает это стремление, требуя построения теории, затрагивающей все основания. Таким образом, хотя проблемы метафизики не

решаются и не заменяются другими проблемами, они становятся проблемами всякой хорошей теории. Мы стремимся построить теорию простую и ясную, логический аппарат которой понятен и обоснован и которая объясняет, как функционирует наш язык. Что представляют собой факты функционирования языка, может оставаться до некоторой степени спорным, так же, как и варианты компромисса между простотой и ясностью. Я не сомневаюсь, что эти вопросы являются старыми вопросами метафизики, но в новом обличье. Однако этот новый их облик во многих отношениях кажется привлекательным.

15. РЕАЛЬНОСТЬ БЕЗ РЕФЕРЕНЦИИ

Трудно себе представить, как может надеяться на успех такая теория значения, которая не проясняет понятие референции и не наделяет его центральной ролью. С другой же стороны, имеются веские основания предполагать, что референцию невозможно объяснить или проанализировать в более простых терминах либо в терминах поведения. Позвольте мне полнее описать эту дилемму, а затем я скажу, как, на мой взгляд, в ее разрешении может помочь теория истины в духе Тарского.

«Теория значения» — не технический термин, но жест в сторону группы проблем (семейства проблем). Центральной среди этих проблем является задача объяснения языка и коммуникации путем обращения к более простым, или, во всяком случае, неязыковым понятиям. Естественно считать, что это возможно, поскольку языковые феномены явно следуют за неязыковыми. Я предлагаю называть теорией теорию значения для некоторого естественного языка L, если она такова, что (a) знание этой теории достаточно для понимания высказываний носителей языка L, и (b) эта теория может быть эмпирически применена путем обращения к свидетельствам, описанным без применения лингвистических понятий, или, по меньшей мере, без применения лингвистических понятий, характерных для предложений и слов на L. Первое условие указывает на природу вопроса; второе требует, чтобы его не задавали.

Под некоторой теорией истины я имею в виду такую теорию, которая удовлетворяет чему-то вроде конвенции Т Тарского: это теория, которая посредством рекурсивной характеристики истинностного предиката (скажем «является истинным в L») влечет за собой для любого предложения s в L некоторое металингвистическое предложение, полученное из формы «s истинно на L», если и только если «p», когда «s»

заменяется каноническим описанием некоторого предложения на *L*, а «р» — предложением метаязыка, задающим истинностные условия для описанного предложения. Такая теория должна соотноситься со временем, а субъект (как минимум) — пользоваться указательными выражениями. Тем не менее, я буду называть такие теории *абсолютными*, чтобы отличать их от теорий, которые (тоже) соотносят истину с некоторой интерпретацией, моделью, возможным миром, или предметной областью. В теории истины того типа, что я описываю, истинностный предикат не получает определение, но должен считаться базовым выражением.

Мы можем считать, что референция представляет собой отношение между именами собственными и тем, что они именуют, между составными единичными терминами и тем, что они обозначают, между предикатами и объектами, к которым они относятся. Указательные местоимения останутся за пределами нашего рассмотрения, но их референции, конечно же, следовало бы соотносить с субъектом и с неким временем (хотя бы).

Теперь вернемся к дилемме. Вот почему кажется, что мы не можем обойтись без понятия референции. Что бы ни включала в себя любая теория значения, в ней обязательно должно быть некоторое изложение истины — констатация условий, при каких произвольно взятое предложение на заданном языке является истинным. По известным причинам такая теория не может начинать с объяснения истинности для конечного количества простых предложений, а затем, на основе простых предложений задавать истинность для остальных. При объяснении необходимо, и в любом случае было бы желательным, анализировать предложения по их составным элементам — предикатам, именам, связкам, кванторам, функторам — и показывать, как истинное значение каждого предложения получается из свойств и расположения элементов предложения. Тогда истинность будет явно зависеть от семантических свойств элементов; а какие свойства, кроме референции, могут быть релевантными там, где элементы являются именами или предикатами? Объяснение

истинностных условий предложений типа «Сократ летает» должно сводиться к утверждению, что такое предложение истинно если и только если объект, имеющий референцию «Сократ», принадлежит к объектам, с которыми соотносится предикат «летает».

Теория истины вышеупомянутого типа на самом деле показывает, каким образом истинностные условия каждого предложения представляют собой функцию семантических свойств единиц основного конечного словаря. Но часто говорят, что такая теория не объясняет семантических свойств самого́ основного словаря. В каждой теории истины мы обнаруживаем такие известные нам рекурсивные части сложных предложений, которые определяют, например, что конъюнкция истинна, если и только если истинен каждый ее член; что дизъюнкция истинна, если и только если истинен как минимум один член дизъюнкции и т. д. (Фактически теория истины должна объяснять, как работают связки как в открытых, так и в закрытых предложениях, и поэтому рекурсивность применяется скорее к отношению *выполнимости*, нежели непосредственно к истине.)

Как мы знаем, Т-предложение следует из такой теории даже для простейших случаев, например:

> (Т) «Сократ летает» истинно, если и только если Сократ летает.

Если же о составных частях нельзя ничего сказать, то как теория трактует такие случаи? Одним из способов может быть такой. Базовый словарь должен быть конечным. В таком случае может быть, в частности, лишь конечное количество простых предикатов и конечное количество имен собственных (неструктурированных единичных терминов, не говоря уже о переменных). Поэтому возможно внести в список все предложения, состоящие из имени собственного и простого предиката. Отсюда следует, что каждая теория может рассматривать каждое предложение как (Т), считая каждое такое предложение за аксиому. Ясно, что этот метод избегает (пока) какого бы то ни было обращения

к понятию референции — и не проливает на нее никакого света.

Предикаты бывают любой степени сложности, так как их можно построить из связок и переменных, а константные единичные термины могут быть сложными. Поэтому метод, к исследованию которого мы только что приступили, вообще не будет работать. В случае предикатов метод Тарского, как нам известно, подразумевает обращение к понятию выполнимости, к отношению между предикатами и наборами из n элементов, которым соответствуют предикаты (фактически последовательности предикатов). Очевидно, что выполнимость для предикатов во многом подобна референции — по существу, мы могли бы определить референцию некоторого предиката как класс выполняющих ее объектов. Затруднение здесь в том, что абсолютные теории истины в действительности не проясняют отношения выполнимости. Например, когда теория переходит к определению выполнимости для предиката «*x* летает», то она попросту сообщает нам, что некоторый объект выполняется для сочетания «*x* летает», если и только если этот объект летает. Если же мы захотим получить дальнейшее объяснение или анализ этого отношения, мы будем разочарованы.

Тот факт, что с помощью некоторого абсолютного определения истины невозможно провести анализ понятия референции, можно установить, опираясь на то, что если мы представим себе некий новый предикат, добавленный в определенный язык, или если мы представим себе язык, ничем не отличающийся от прежнего, кроме добавления одного-единственного нового предиката, то уже данные описания истинности и выполнимости *не помогают рассмотрению новых случаев*. (Это примечание неприменимо к рекурсивным элементарным предложениям: они *обобщенно*, независимо от частей, объединенных конъюнкцией, сообщают об истинности конъюнкции.)

Тот факт, что выполнимость, о рекурсивной характеристике которой только шла речь, можно определить эксплицитно (методом Фреге-Дедекинда), не должен заставить нас

думать, будто мы уловили ее общее понятие. Ибо определение (как и служащая ему рекурсия) явным образом ограничивает применение выполнимости фиксированным конечным списком предикатов (и их сочетаний). Поэтому если некая теория (или определение) выполнимости применяется к заданному языку, а затем к ней добавляется некоторый новый предикат, например, «*x* летает», то отсюда следует, что «*x* летает» не выполняет ни один летающий объект — как и что-либо еще.

Аналогичные замечания применимы к константным единичным терминам. И действительно, если имеются составные единичные термины, то такое отношение, как референция, необходимо будет охарактеризовать с применением таких рекурсивных операторов, как «отец кого-либо» в сочетании с именем α, соотносящимся с отцом того, к чему относится α. Но соответствующие имена собственные будут опять-таки задаваться списком. А то, что означает для имени собственного соотноситься с неким объектом, анализироваться не будет.

Вопрос, который я только что исследовал, — имеется ясный смысл, по отношению к которому никакие абсолютные теории истины не проливают свет на семантические свойства основного словаря предикатов и имен — хорошо известен. На это часто сетуют, как и на то, что никакая теория истины в духе Тарского не помогает глубже проникнуть в понятие истины. Ничего страшного не случится, если мы согласимся с мыслью о том, что в той или иной теории истины выражение «истинно» (или то, что его заменяет) понимается независимо от всего остального. Причина, по которой конвенция Т является приемлемой в качестве критерия для теорий, состоит в том, что (1) ясно, что Т-предложения истинны (до анализа) — и распознать это мы можем только в том случае, если мы уже (отчасти) поняли предикат »истинно», и (2) совокупность Т-предложений фиксирует один лишь объем истинностного предиката. Важность теории истины, рассматриваемой в качестве эмпирической теории некоторого естественного языка, не в том, что она сообщает

нам, что есть истина в общем случае, но в том, что она раскрывает, каким образом истинность каждого предложения из конкретного *L* зависит от его структуры и составных частей.

Следовательно, нам нет нужды беспокоиться по поводу того факта, что какая-нибудь теория истины не полностью анализирует доаналитическое понятие истины. Это можно принять без доказательств, что не уменьшает важности разработки теории истины. (Я еще вернусь к этому.) Остается утверждение, которое я тоже принимаю: теории не объясняют и не анализируют понятие референции. А вот это уже кажется прискорбной неудачей из-за того, что не исполняются притязания теорий представить полное объяснение истинности предложений.

На это качество теории истины все более упорно указывают мне многочисленные критики. Так, Гильберт Харман приводит свое доказательство, чтобы усомниться в том, что теория истины — как утверждал я — может «исполнять обязанности» теории значения[1]. Фактически он пишет, что можно считать, что теория истины всего лишь наделяет значением логические константы — она задает логическую форму предложений, и только в этой степени их значение — но она не может облечь кости плотью. Хартри Филд развивает идеи, затронутые мной на предыдущих страницах, и делает вывод, что теория истины в духе Тарского является лишь частью некоторой общей теории[2]. Он полагает, что мы должны добавить сюда теорию референции для предикатов и имен собственных. (Я обрисовал его аргументы). Аналогичным образом критиковали меня Кэтрин Пайн Парсонс, Хилари Патнэм и Пол Бенасерраф[3].

Я говорил о том, отчего некоторым кажется, что мы не можем жить без понятия референции; теперь позвольте мне сказать, почему я думаю, что нам не понравится жить с таким понятием. Меня интересует то, что я — по меньшей мере, с исторической точки зрения — считаю центральной проблемой философии языка: она заключается в объяснении таких специфически лингвистических понятий, как истинность (предложений или высказываний), значение (языковое),

языковое правило или условность, именование, референция, утверждение (asserting) и т. д. — как анализировать некоторые из этих понятий или все эти понятия в терминах понятий иного порядка. В языке все может оказаться озадачивающим, и мы лучше бы поняли язык, если бы могли свести семантические понятия к другим. Или же если «сводить» и «анализировать» — слишком сильные выражения (а, по-моему, это так), то давайте скажем по возможности расплывчато: понять семантические понятия в свете других.

В данном контексте «жить с» понятием референции означает принимать его в качестве такого понятия, которому следует дать независимый анализ или интерпретацию в терминах нелингвистических понятий. Вопрос о том, является ли референция эксплицитно определимой в терминах других семантических понятий, таких как выполнимость, — или рекурсивно характеризуемой, или же не является ни тем, ни другим — не самый существенный; существенный вопрос заключается в том, существует ли *определенное* место, или хотя бы какое-нибудь место, где наличествует непосредственный контакт между лингвистической теорией и событиями, действиями или объектами, описанными не в лингвистических терминах.

Если бы мы могли провести желаемый анализ понятия референции или свести это понятие к чему-либо, то я предполагаю, что все «пошло бы как по маслу». Объяснив непосредственно семантические свойства имен собственных и простых предикатов, мы могли бы перейти к объяснению референции составных единичных терминов, затем охарактеризовать выполнимость (в качестве производного понятия) и, наконец, истину. Эта схема работы с семантикой (отвлекаясь от подробностей) стара и естественна. Часто ее называли «теорией строительных камней» (the building-block theory). Но все-таки она безнадежна.

Чтобы найти весьма ясные примеры «теории строительных камней», нам придется вернуться к ранним британским эмпирикам (Беркли, Юм, Милль). Амбициозные попытки бихевиористского анализа значения, предпринятые Огде-

ном и Ричардсом, а также Чарльзом Моррисом, не столь ясны, поскольку эти авторы стремились затушевать различия между словами и предложениями («Пожар!», «Плита!», «Камень!»[4]), и многое из сказанного ими на самом деле вразумительным образом применимо только к предложениям как к базовым единицам для анализа. Куайн в главе II *«Слова и объекта»* делает попытку бихевиористского анализа, но хотя самый знаменитый его пример («Гавагай») представляет собой одно-единственное слово, он явно разбирает его как предложение. Грайс, если я правильно понимаю его намерение, хочет объяснить языковое значение, в конечном счете, обращением к неязыковым интенциям — но в терминах чего-то неязыкового здесь опять-таки анализируются значения не слов, а *предложений.*

Историческая картина — сильно упрощенная — показывает, что по мере того, как проблемы становились все яснее, а методы все запутаннее, бихевиористы и прочие, кто стремился провести радикальный анализ языка и коммуникации, отказались от подхода «теории строительных камней» в пользу подхода, ставящего предложение в фокус эмпирической интерпретации.

И, разумеется, ожидали мы именно этого. У слов нет иной функции кроме той, что они играют некоторую роль в предложениях: их семантические свойства извлекаются из семантических свойств предложений подобно тому, как семантические свойства предложений извлекаются из роли, которую *они* играют, помогая людям добиваться целей или осуществлять намерения.

Если имя «Килиманджаро» относится к Килиманджаро, то нет сомнений, что имеется *некоторое* отношение между носителями английского языка (или суахили), словом и горой. Но невозможно себе представить, чтобы кто-нибудь был в состоянии объяснить это отношение, не объяснив сначала роли слова в предложениях; а если это так, то нет возможности объяснить референцию непосредственно в нелингвистических терминах.

Интересно, что Куайн в главе II *«Слова и объекта»* не пользу-

ется понятием референции и даже не пытается построить его. Куайн подчеркивает неопределенность перевода и референции. Он утверждает, что совокупность свидетельств, доступных слушателю, не обусловливает единственный способ перевода слов одного человека на слова другого; что она даже не устанавливает *аппарат* референции (единичные термины, кванторы и тождественность). Я полагаю, что Куайн высказывается по своей проблеме не до конца. Если верно, что эмпирические свидетельства, допускающие интерпретацию некоего языка, суммируются, когда мы знаем, что представляют собой приемлемые руководства по переводу с «его» языка на «наш», то эти свидетельства нерелевантны по отношению к вопросам референции и онтологии. Ведь руководство по переводу служит всего лишь неким методом перехода от предложений на одном языке к предложениям на другом языке, и из руководства мы ничего не можем вывести касательно отношений между словами и объектами. Конечно же, мы знаем или думаем, что знаем, к чему отсылают слова на нашем собственном языке, но этой информации нет ни в одном руководстве по переводу. Перевод — понятие чисто синтаксическое. Вопросы же референции в синтаксисе не возникают и в весьма малой степени «регулируются».

В таком случае парадокс референции вкратце звучит так: существуют два подхода к теории значения: метод «строительного камня», который начинает с простого и воздвигает здание предложений, и холистический метод, начинающий со сложного (как минимум, с предложений) и выделяющий части этого сложного. Первый метод был бы превосходен, если бы мы могли дать нелингвистическую характеристику референции, но такой возможности вроде бы нет. Второй метод начинает там (в предложениях), где мы можем надеяться связать язык с поведением, описанным в нелингвистических терминах. Но кажется, что он непригоден для исчерпывающего объяснения семантических свойств частей предложений, а без такого объяснения мы, очевидно, не можем объяснить истину.

Возвращаясь к основной дилемме: я полагаю, что разре-

шить ее можно следующим образом. Я предлагаю отстаивать одну из версий холистического подхода и настаиваю на том, что мы должны отказаться от понятия референции как основополагающего для эмпирических теорий языка. Вкратце обрисую, почему я полагаю, что мы можем позволить себе сделать это.

Аргументом против отказа от референции служила ее необходимость для полного объяснения истины. Я сделал допущение, что некоторая теория истины в духе Тарского не анализирует и не объясняет доаналитическое понятие истины, как и доаналитическое понятие референции: в лучшем случае она указывает на объем понятия истины для того или иного языка с фиксированным примитивным словарем. Но это не доказывает того, что ни одна из теорий абсолютной истины не может объяснить истинность отдельных предложений на основании их семантической структуры; это доказывает всего-навсего, что при интерпретации таких теорий нельзя брать за основу семантические свойства слов. Для разрешения же дилеммы референции необходимо именно различать между объяснением *в рамках* теории и объяснением *теории*. В рамках теории условия истинности предложений определяются обращением к заданной структуре и к семантическим понятиям, таким как выполнимость или референция. Но когда дело доходит до интерпретации теории как целого, то с человеческими целями и с человеческой деятельностью следует связывать именно понятие истины в применении к закрытым предложениям. Очевидна аналогия с физикой: мы объясняем макроскопические феномены, постулируя ненаблюдаемую микроструктуру. Но проверяются теории на макроскопическом уровне. Разумеется, иногда нам везет, и мы находим дополнительные (или более непосредственные) свидетельства для изначально постулированной структуры; но для нашего занятия это несущественно. Я предлагаю положить в основу реализации теории истины такие понятия, как слова, значения слов, референция и выполнимость. Они служат этой цели, не нуждаясь в независимом подтверждении или в эмпирическом базисе.

Теперь должно проясниться, почему в начальном абзаце я утверждал, что разрешить кажущуюся дилемму референции поможет правильная теория истины. Помощь приходит из того факта, что некоторая теория истины помогает нам ответить на разбираемый вопрос — как возможна коммуникация посредством языка: такая теория выполняет два требования, которые мы поставили для адекватного ответа (во втором абзаце). Эти два требования соотносятся непосредственно с только что проведенным различием между объяснением чего-либо в терминах определенной теории и объяснением, почему эта теория верна (то есть соотнесением ее с более фундаментальными фактами).

Сначала рассмотрим второе условие. Как некоторая теория абсолютной истины может получить эмпирическую интерпретацию? Что существенно в настоящем контексте, так это то, что теория должна быть соотнесена с поведением и установками, описанными в терминах, не специфичных для анализируемого языка или предложения. Теория истины в духе Тарского обнаруживает бесспорное место для установления такого отношения — Т-предложения. Если бы мы знали, что все они истинны, то теория, из которой они следовали, выполняла бы формальные требования конвенции Т и предоставила бы условия истинности для любого предложения. На практике же нам следует представить себе, что автор теории допускает, что некоторые Т-предложения истинны относительно свидетельств (какими бы они ни были), строя правдоподобную теорию и испытывая дальнейшие Т-предложения на предмет того, подтверждают ли они (или же дают ли они) основания для модификации заданной теории. Типичным Т-предложением, теперь релятивизированным по времени, могло бы быть:

> «Сократ летит» истинно (на языке Смита) во время *t*, если и только если Сократ летит во время *t*.

Говоря эмпирически, нам необходимо именно отношение именно между Смитом и предложением «Сократ летит», которое мы можем описать в терминах, заданных явным обра-

зом, и которое подтверждается, только если Сократ летит. Эта теория, разумеется, будет содержать рекурсию таких понятий, как выполнимость или референция. Но к упомянутым понятиям мы должны относиться как к теоретическим конструкциям, чья функция исчерпывается заданием истинностных условий для предложений. Аналогичным образом обстоит дело для всего рассматриваемого материала, для приписываемой предложениям логической формы и для всей совокупности терминов, предикатов, связок и кванторов. Ничто из указанного невозможно сопоставлять напрямую со свидетельствами. При таком подходе нет смысла сетовать, что время от времени теория соответствует правильным истинностным условиям, но имеет неверную логическую форму (или глубинную структуру). Точно так же мы должны рассматривать и референцию. Мы согласились с тем, что теории такого рода не объясняют референцию, по крайней мере, в этом смысле: они не придают напрямую эмпирическое содержание отношениям между именами или предикатами и объектами. Содержание этим отношениям придается *косвенно* в Т-предложениях.

В таком случае теория отказывается от референции в качестве части платы за эмпиричность. Однако же нельзя сказать, что теория отказалась от онтологии. Ибо она соотносит каждый единичный термин с тем или иным объектом и устанавливает, какие объекты выполнимы для каждого предиката. Обходясь без референции, мы отнюдь не обходимся без семантики или онтологии.

Я не сказал, чту следует считать свидетельством истинности Т-предложения[5]. Моя нынешняя задача исчерпывается демонстрацией того, как теория может быть поддержана соотнесением Т-предложений — и ничего, кроме них — со свидетельствами. Что ясно, так это то, что какими бы ни были эмпирические свидетельства, их невозможно описать в терминах, соотносящих его с каким-либо конкретным языком, а это наводит на мысль о том, что понятие истины, к которому мы обращаемся, настолько общее, что нельзя надеяться на объяснение его теорией.

И дело не в том, что понятие истины применительно к Т-предложениям можно эксплицитно определить в несемантических терминах или свести к более бихевиористическим понятиям. Как я отметил вначале, редукция и определение такого вида соответствуют завышенным ожиданиям. Отношения же между теорией и эмпирическими свидетельствами будут, конечно же, более свободными.

Теория подразумевает некоторое общее и доаналитическое понятие истины. И именно потому, что у нас есть это понятие, мы можем установить, что́ считается свидетельствами, доказывающими истинность Т-предложения. Но этого не требуется от понятий выполнимости и референции. Их роль является теоретической, и потому мы знаем все, что следует о них знать, когда нам известно, как они работают с характеристикой истины. Для построения некоторой адекватной теории нам не нужно *понятие* референции, обобщенное для всех случаев.

Понятие референции нам не нужно, как не нужна и сама референция, чем бы она ни была. Ведь если существует один способ поставить выражения в соответствие с некими объектами (способ определения «выполнимости»), что дает приемлемые результаты касательно истинностных условий предложений, то будет и бесконечное количество других столь же приемлемых способов. Значит, нет оснований называть какое-либо из таких семантических отношений «референцией» или »выполнимостью»[6].

И как же теория абсолютной истины может дать объяснение коммуникации или же может считаться теорией значения? Она не дает нам материалов для определения или анализа таких выражений, как «означает», «означает то же самое, что и», «служит переводом чего-либо» и т. д. Неправильно полагать, что мы можем *автоматически* строить Т-предложения как «задающие значение» предложений, если мы задаем им ровно столько ограничений, чтобы они оказались истинными.

Следует задать вопрос: может ли тот, кто знает теорию истины для языка L, обладать достаточной информацией,

чтобы интерпретировать то, что говорит носитель языка L? По-моему, верный способ исследования этого вопроса состоит в том, чтобы, в свою очередь, спросить, в достаточной ли степени ограничения, налагаемые на некоторую теорию истины, уменьшают количество приемлемых теорий. Предположим, к примеру, что *каждая* теория, удовлетворявшая предъявленным к ней требованиям, представила истинностные условия для «Сократ летает», как указано выше. Тогда знать теорию (и знать, *что* это теория, удовлетворяющая определенным ограничениям) означает знать, что истинностные условия для «Сократ летает» задаются *исключительно* в Т-предложениях. И это *и означает* знать достаточно много о роли теории в языке.

Я ни на секунду не воображаю, будто когда-нибудь возникнут такие исключительные условия. Но я все-таки думаю, что разумные эмпирические ограничения на интерпретацию Т-предложений (условия, при которых мы обнаруживаем истинность предложений) плюс ограничения формальные предоставят достаточное количество общих черт у теорий, чтобы мы были в состоянии сказать, что теория истины улавливает основную роль каждого предложения. Возможно, мою мысль прояснит грубое сравнение. Теория измерения температуры подразумевает соотнесение с объектами чисел, в которых измеряется их температура. Такие теории налагают формальные ограничения на придание числовых значений и потому эмпирически могут быть связаны с наблюдаемыми качественными феноменами. Задаваемые числа обусловливаются не только формальными ограничениями. Также здесь существенна *модель* придания числового значения (температуры по Фаренгейту и Цельсию представляют собой линейные преобразования друг друга; придание числового значения является единственным для данного линейного преобразования). Аналогичным образом я утверждаю, что общим для различных приемлемых теорий истины является значение. Значение (интерпретация) некоторого предложения устанавливается посредством назначения предложению семантического местоположения (location) в модели

предложений, соответствующих определенному языку. Различные теории истины могут задавать разные истинностные условия одному и тому же предложению (таков семантический аналог для неопределенности перевода Куайна), тогда как теории (почти в достаточной степени) согласны между собой по поводу роли предложений в языке.

Основная идея проста. Как «теория строительных камней», так и теории, пытающиеся наделить богатым содержанием каждое предложение непосредственно на основании несемантических данных (например, намерений, с которыми, как правило, высказывается то или иное предложение), движутся слишком быстро и уводят нас слишком далеко. Основная мысль данной статьи заключается, скорее, в ожидании обнаружить минимум информации касательно правильности определенной теории в каждой конкретной точке; вся разница состоит в потенциальной бесконечности таких точек. Сильная теория со слабой опорой, но опирающаяся на достаточное количество точек, может предоставить нам всю нужную информацию об атомах и молекулах — в данном случае, о словах и предложениях.

В двух словах: скудость свидетельств, касающихся значений отдельных предложений, мы компенсируем не стремлением раздобыть свидетельства значений слов, но анализом свидетельств для теории языка, к которому относится рассматриваемое предложение. Слова и тот или иной способ их связывания с объектами представляют собой конструкции, необходимые нам для внедрения теории в жизнь.

Эта концепция построения теории значения, по сути, принадлежит Куайну. К основным воззрениям Куайна я добавил лишь предложение наделить теорию формой теории абсолютной истины. Если ей удастся обрести такую форму, то мы сможем восстановить структуру предложений, которая состоит из единичных терминов, предикатов, связок и кванторов, — с обычными онтологическими выводами. Референция, однако же, отсюда выпадает. Она не играет существенной роли в объяснении отношений между языком и реальностью.

16. НЕПОСТИЖИМОСТЬ РЕФЕРЕНЦИИ

Тезис Куайна о непостижимости референции состоит в том, что не существует способов определить, к чему относятся единичные термины языка или по отношению к чему являются истинными его предикаты; это невозможно определить, по меньшей мере, из совокупности свидетельств поведения, как актуальных, так и потенциальных, а такие свидетельства — единственное, что важно для вопросов значения и коммуникации. Непостижимость референции следует из соображений, разъясненных в «Слове и объекте», но сам термин и упомянутый тезис становятся центральными лишь в «Онтологической относительности». Важность этого тезиса обусловлена тем, что непосредственно из него проистекает неопределенность перевода, а ясные основания для этого тезиса обнаружить легче, нежели для некоторых других форм неопределенности.

Ясные основания содержатся в примерах. Куайн и другие показали, как строить систематические примеры альтернативных схем референции — таких, что если одна из них согласуется со всеми возможными относящимися к делу свидетельствами, то другие также согласуются. Куайн утверждает, что этот факт должен заставить нас признать, что отношение референции между объектами и словами (или их высказыванием) соотносится с произвольным выбором схемы референции (или руководства по переводу) и фактически соотносится с еще одним базовым параметром. Этот аргумент в пользу релятивизма озадачивает меня, потому что приемлемую формулировку релятивизированного понятия референции я считаю невозможной. В данной статье я излагаю трудности, с которыми встретился, и предлагаю Куайну способ выхода из них. Разумеется, я надеюсь, что Куайн все время представлял себе мой выход. В таком случае мое упражнение не будет иметь смысла для него, но имело смысл для меня.

Чтобы с самого начала прояснить мою общую позицию, я скажу, что принимаю тезис Куайна о непостижимости референции и потому — о неопределенности перевода. И я полагаю, что принимаю и то и другое на основании аргументов, почерпнутых мной у Куайна. Но я не вижу, каким образом эти аргументы демонстрируют именно такие соотношения референции, которые постулирует Куайн; на самом деле, я считаю, что собственные взгляды Куайна подрывают идею о том, что онтологию можно релятивизировать.

Там, где Куайн, как правило, говорит об онтологической относительности, я пользуюсь термином «относительность референции». Моим основанием для этого сдвига стало то, что я хочу сконцентрироваться на особенно ясном и простом примере непостижимости референции. В примере этого типа предполагается, что общая онтология остается неизменной, но истинность предложений проясняется с помощью разнообразного подбора объектов к словам. Прежде, чем я начну распространяться по поводу таких примеров, позвольте мне подчеркнуть узость спектра проблем данной статьи посредством классификации различных типов обсуждаемой Куайном неопределенности, так как любой из них может сделать референцию непостижимой.

Во-первых, неопределенной может быть сама истина; может существовать руководство по переводу (или — что лучше соответствует целям этой статьи — теория истины) для некоего языка, который удовлетворяет всем релевантным эмпирическим ограничениям и способствует истинности некоторого предложения, и другая столь же приемлемая теория, которая не способствует истинности того же предложения (конечно же, должны существовать и другие различия). Впоследствии я кратко разберу такие случаи, но лишь мимоходом.

Во-вторых, неопределенной может быть логическая форма: две подходящие теории могут различаться в том, что они считают единичными терминами, кванторами или предикатами, или даже в отношении самой логики, лежащей у них в основе.

В-третьих, даже при неизменности логической формы и истины приемлемые теории могут различаться в отношении референций, определяемых ими для одних и тех же слов и фраз. И здесь мы можем ввести дальнейшее разделение на случаи, когда это вводит различие в общей онтологии, и случаи, когда общая онтология остается неизменной. Меня интересует почти исключительно второй пункт третьего вида неопределенности.

Я полагаю, что все эти виды неопределенности возможны, но во всех них, кроме последнего, того, который я буду разбирать, на мой взгляд, диапазон неопределенности, пожалуй, уже, чем считает Куайн. Первый тип неопределенности я бы сократил с помощью более широкого применения «принципа доверия», чем считает необходимым Куайн. Второй тип неопределенности автоматически попадает под больший контроль у того, кто, подобно мне, настаивает на том, что основой для приемлемого руководства по переводу должна служить теория истины в духе Тарского. А изменения в общей онтологии, по-моему, можно сделать понятными лишь в ограниченной степени; существует «обратный принцип доверия», оценивающий качество теории прямо пропорционально ее собственным ресурсам, которые она вкладывает в язык, теорией коего она является. Здесь я не буду обосновывать эти взгляды, но и не хочу ставить себя в зависимость от них.

Однако же о референции трудно говорить, не поместив ее в контекст какой-либо теории истины. Ибо концепция референции, основанная на понятии выполнимости, — та, что задает объем каждого из предикатов и единичных терминов языка, а это требует рекурсивного определения, работающего с кванторами и, возможно, функциями. Во всяком случае, если язык обладает ресурсами, которые мы с уверенностью приписываем естественному языку, то мы хотим ввести такое понятие, как «выполнимость», которое по смыслу шире, чем референция, и на основе которого можно определять истинность и референцию (по меньшей мере, для предикатов). В нижеследующем я буду считать, что отноше-

ние референции имеет место между именами и тем, что, как можно сказать, они именуют; между единичными терминами и тем, что, как можно сказать, они означают; и между n-местными предикатами и наборами из n элементов, относительно которых можно сказать, что все эти предикаты верны; все эти виды референции связываются воедино с помощью такого понятия, как «выполнимость», которое задает определение истинности для закрытых предложений. Все эти фразы типа «как можно сказать», разумеется, учитывают непостижимость референции.

Простейший и наименее сомнительный способ демонстрации того, что референция непостижима, зависит от идеи изменения вселенной (permutation of the universe), некоторого отображения (mapping) каждого объекта в другом «один к одному». Обозначим такое изменение через ϕ. Если мы имеем выполнимостную схему референции для языка, говорящего об этой вселенной, то мы можем получить другую схему референции с помощью этого изменения: всякий раз, когда по первой схеме некоторое имя относится к объекту x, по второй схеме оно относится к $\phi(x)$; всякий раз, когда по первой схеме предикат относится к каждой вещи x (воспроизводит каждую вещь x) как Fx, по второй схеме он относится к каждой вещи x как $x = \phi(y)$ и $F(y)$. Предположив, что референция в каждом случае зависит от подходящей характеристики такого отношения, как выполнимость, нетрудно понять, что условия истинности, задаваемые второй схемой некоторому предложению, в каждом случае будут эквивалентными условиям истинности, задаваемыми этому предложению первой схемой[1]. И действительно, как отмечает Уоллес, мы можем даже сделать так, чтобы наши теории истины и референции дали одинаковые условия истинности для всех предложений, если добавим к некоторой теории предположения, заставляющие нас считать, что ϕ есть изменение вселенной.

Наиболее ранние из известных мне примеров изменения вселенной, иллюстрирующие ускользающую природу референции, содержатся в обзоре Ричарда Джеффри[2]. Однако же

референция не является основным предметом его работы, и его примеры — не совсем то, что нам нужно. Дополнительные примеры можно найти в вышеупомянутых работах Джона Уоллеса и Хартри Филда. Вот простая иллюстрация: допустим, что каждый предмет имеет одну и только одну тень[3]. И тогда мы можем предположить, что ϕ выражается словами «тень того-то». По первой теории мы считаем, что имя «Уилт» относится к Уилту, а предикат «высок» относится к высоким объектам; по второй теории мы предполагаем, что имя «Уилт» относится к тени Уилта, а «высок» относится к теням высоких объектов. Первая теория утверждает, что предложение «Уилт высок» верно, если и только если Уилт высок; вторая теория утверждает, что «Уилт высок» верно, если и только если тень Уилта является тенью высокого объекта. Истинностные условия отчетливо эквивалентны. Если мы не делаем упор на изложении фактов, мы можем сказать, что один и тот же факт способствует истинности предложения в обоих случаях.

Я предполагаю, что существуют изменения реквизитов (permutations of the requisite kind), не требующие вымысла. Другое предположение, явно необходимое, если мы должны сделать вывод о непостижимости референции, состоит в том, что если некоторая теория истины (или перевода, или интерпретации) верна в свете всех релевантных данных (актуальных или потенциальных), то любая теория, порожденная из первой посредством изменения, будет также удовлетворительной в свете всех релевантных свидетельств. Конечно же, многие философы отвергают это предположение, но поскольку это вопрос, по которому я согласен с Куайном, я не буду выдвигать аргументы в его пользу. Основной пункт, по которому я согласен с Куайном, можно сформулировать так: все свидетельства за или против теории истины (интерпретации, перевода) мы получаем в форме фактов о том, что события или ситуации в мире заставляют или заставили бы носителей языка согласиться или не согласиться с каждым предложением из репертуара другого носителя языка. Возможно, по некоторым деталям у нас имеются разногласия.

Так, Куайн описывает события или ситуации в терминах моделей стимуляции (patterns of stimulation), тогда как я предпочитаю описания в терминах, более похожих на термины изучаемых предложений; Куайн больше, чем я, придает важность градации предложений в терминах наблюдаемости; а там, где ему импонируют согласие и несогласие, поскольку они напоминают бихевиористский тест, меня бихевиоризм приводит в отчаяние, и я принимаю откровенно интенсиональное отношение к предложениям, например, подтверждение истинности. Насколько я понимаю, ни одно из этих различий не имеет значения для аргументов о непостижимости референции. Имеет значение лишь то, что то, что вызывает ответ или некоторая установка носителя языка, представляет собой объективную ситуацию или объективное событие, и то, что ответ или установка направлены на предложение или на высказывание предложения. Пока мы будем этого придерживаться, не может быть релевантных свидетельств, позволяющих совершать выбор между теориями и их изменениями.

Поддерживает ли непроницаемость референции, понимаемая и отстаиваемая так, как в этом тексте, идею релятивизации референции? Разумеется, она наводит на мысль о ней. Ибо мы не можем оставить вывод, который позволит нам согласиться и с тем, что «Уилт» относится к Уилту, и с тем, что «Уилт» относится к тени Уилта. Без противоречия мы можем принять оба вывода лишь в том случае, если оба могут быть истинными, но ясно, что это не так.

Данную проблему можно решить и без релятивизации. Все, что нам необходимо, — это прояснить, что слово «относится» употребляется двумя способами. Подстрочные индексы исправят положение. «Уилт» относится к Уилту, а «Уилт» относится к тени Уилта; это конъюнкция, которая может быть верно̊й, и наличествует она при тех обстоятельствах, что мы обрисовали. Итак, никакой релятивизации, хотя использование одного и того же слова с разными подстрочными индексами намекает на некую общую черту, которую могла бы прояснить релятивизация. Еще одна причина для жела-

ния релятивизировать референцию заключается в том, что мы хотим сказать что-то вроде следующего: сообразно нашему первому способу работы, правильным ответом на вопрос, к чему относится «Уилт», будет Уилт; сообразно же второму способу, «Уилт» относится к тени Уилта. Поскольку же способы работы с сущностями не являются самыми лучшими объектами для квантификации, Куайн предлагает релятивизировать референцию до уровня руководств по переводу. Хартри Филд подчеркнул, что это не будет работать[4]. Ведь естественный способ изложить условия, при которых предложение «*x* относится к *y* относительно *TM*» подтверждается, таков: *TM* переводит *x* как «*y*». Эту гипотезу следует отвергнуть, поскольку вы не можете вводить кванторы в кавычки.

Я полагаю, что существует наиболее общая причина, по которой референцию невозможно релятивизировать так, как хочет Куайн, и поэтому бесполезно стараться совершенствовать только что отвергнутую нами формулировку. Когда я говорю «так, как хочет Куайн», я на самом деле отвергаю не любой *способ* релятивизации референции, поскольку в конце я предложу собственный способ. Что я отвергаю, так это идею того, что референцию можно релятивизировать, зафиксировав (to fix) онтологию. Вот онтологической относительности-то я и не понимаю. Допустим, мы могли бы зафиксировать онтологию термина «относится», релятивизировав ее. Тогда мы зафиксировали бы онтологию языка или того носителя языка, которого мы хотели описать, употребляя слово «относится». Можно сказать: но ведь фиксация зависит всего лишь от произвольного выбора. И выбор этот не продиктован никакими свидетельствами, относящимися к сути дела. Отсюда и непостижимость. Фиксация референции и онтологии для объектного языка производилась на основании произвольного выбора, но произвольный выбор позволяет успешно сделать это лишь в том случае, если релятивизированное «относится» из метаязыка каким-то образом закреплено. А это, как мы утверждали, невозможно сделать ни для одного языка.

Возможно, именно такие рассуждения заставляют Куайна

утверждать, что референция и онтология относительны к *двум* вещам: во-первых, к выбору руководства по переводу, и во-вторых, к некоторой фоновой теории или фоновому языку[5]. Поскольку релятивизирующая референция в метаязыке не может «пришпилить» референцию и онтологию к объектному языку, если основанный на релятивизированной референции предикат метаязыка не обладает непротиворечивой семантикой, Куайн вводит бесконечную иерархию теорий или языков, каждая из которых пытается (напрасно) стабилизировать схему референции языка, для которого она предоставляет теорию. Куайн сравнивает относительность референции с некоторой фоновой теорией с относительностью местонахождения в некоторой системе координат. Но это сравнение неверно. Случай с местонахождением ясен. Нет смысла просто спрашивать, где расположен объект, но есть смысл спросить, где объект соотносится с другими объектами — в системе координат (конечно, относительность можно не упоминать, поскольку некоторые рамки референции подразумеваются). Релятивизированный вопрос («Где дом Бронка в адресной системе Бронкса?» — «Where is Bronk's house in the address system of the Bronx?») ясен, и на него можно дать ответ, и ответ полный. В нем нет дополнительных скрытых параметров. Мы, конечно же, можем продолжать спрашивать, задав другой, похожий вопрос: «Где находится Бронкс?» И этот вопрос, в свою очередь, не имеет смысла, пока его не релятивизировать. Если же его релятивизировать, то он становится ясным, и на него можно дать ответ. За релятивизированным предикатом местонахождения не скрывается никаких предикатов с дополнительным местом.

Как же тогда возможно выразить относительность референции по отношению к фоновому языку? Куайн допускает, что «мы можем говорить и говорим осмысленно и отличая одно от другого о кроликах и частях, о числах и формулах», но только относительно нашего собственного языка[6]. Вероятно, это наводит на мысль, что в наш собственный язык можно вложить релятивизм. Однако же легко уразуметь, от-

чего это невозможно: если вопрос о референции в моем собственном языке не улажен, то попытка сказать что-нибудь на этом самом языке ради разрешения вопроса ничему не может помочь. Если вы меня понимаете, вы правильно истолкуете мое высказывание «Уилт высок». Если же есть какие-нибудь проблемы, то я могу помочь вам, добавив «на английском языке», поскольку те же проблемы могут заставить меня добавлять те же слова к каждому последовательно продолжаемому варианту моего предложения. Поэтому если референция соотносится с моим каркасом референции в том виде, как они уже представлены в моем родном языке, то все, что необходимо для того, чтобы снабдить мои слова референцией, достигается попросту тогда, когда я говорю на моем родном языке. То же самое должно быть верно относительно моего слова «референция» в применении к другому языку. Но как раз это Куайн опять-таки отрицает.

Куайн сравнивает относительность референции к фоновому языку с ситуацией, касающейся истины и выполнимости; он напоминает нам, что и там возможен бесконечный регресс. Мы можем определить истину для L в M, но не в L, истину для M в M', но не в M и т. д. То же самое касается референции.

Представляется, что эта аналогия ошибочна. То, чего мы не можем определить в L, не становится определимым с помощью дополнительного параметра. И истина в L в том виде, как она определена в M, никак не соотносится с истиной в M, как она определена в M'. Предикат «истинно в L», встречающийся в M, все-таки имеет смысл, который мы можем, если захотим, определить еще в каком-нибудь языке. Но получается ли отсюда истинность в L, соотносящаяся с этим третьим языком — или хотя бы с M?

Утверждение Куайна о том, что референцию, истину и онтологию следует релятивизировать по отношению к некоторой фоновой теории или к фоновому языку, как кажется, основано на какой-то концепции концептуального релятивизма. Когда он говорит, что мы можем говорить и говорим осмысленно и отличая одно от другого о кроликах и частях,

но лишь по отношению к нашему каркасу референции, то это утверждение на самом деле можно истолковать так: мы говорим, следовательно, мы должны говорить на языке, который мы знаем. Однако это является само собой разумеющимся и не приводит к эксплицитному определению того, с чем соотносятся наши замечания. Как настаивает Куайн, мы можем констатировать относительность, если опираемся на другой язык; но если мы пользуемся этой тактикой однажды, то пользуемся ею и каждый раз: бесконечный регресс. Если ситуация такова, то онтология не просто «абсолютно непостижима»[7], но и при любом количестве релятивизаций референции любое заявление, касающееся референции, будет столь же бессмысленно, как «Сократ выше, чем».

Куайну, конечно же, известен парадокс культурного релятивизма: в другой своей работе он пишет, что никто «не может провозглашать культурный релятивизм, не возвысившись над ним, а возвыситься над ним он может не иначе, как отбросив его»[8]. То же самое я бы сказал об онтологическом релятивизме и о релятивизме референции, соотнесенной с некоторой фоновой теорией или с фоновым языком. В только что процитированной мной статье Куайн опять-таки не дает определённого решения по поводу релятивизма. Он вдается в длинноты, пытаясь убедить нас, что могут существовать такие две теории, которые включали бы в себя все истинные предложения наблюдения и только их, что они могут быть одинаково простыми и все-таки логически несовместимыми[9]. Итак, истина очевидным образом относительна к некоторой теории. Но, в конечном счете, Куайн разрешает вопрос в пользу «откровенного дуализма», где отличающиеся друг от друга знаки используются для формулирования теорий. Теории же оказываются несводимыми друг к другу. И никакого релятивизма не остается.

Урок здесь, по-моему, в том, что мы не можем уяснить себе смысл истины, референции или онтологии, релятивизированных к некоторой фоновой теории или языку. Проблема не в том, что нам придется отступать до бесконечности. Проблема в том, что мы не понимаем первого шага. Позвольте

мне изложить мой обобщенный аргумент в пользу этого еще раз, но немного иначе. Предположим, что *B* своими собственными словами излагает две теории истины для носителя языка *A*. Одна из этих теорий влечет за собой, или определяет, что «Уилт» относится к Уилту, другая — что «Уилт» относится к тени Уилта. И вот, с этим соглашается *C* и пытается разработать теорию для интерпретации того, что говорит *B*. Естественно, он очень скоро обнаруживает, что слову «относится» следует дать две интерпретации. *C* бормочет про себя, что *B*, наверное, употребил два разных слова или же как-то релятивизировал предикат. Так или иначе, если *C* должен понять *B*, он обязан дать два разных истинностных условия для двух предложений *B* о произнесенном *A* слове «Уилт» независимо от того, хочет ли *B* употребить два слова или же эксплицитно упомянуть еще один параметр. Но может ли *C* не по собственному произволу задать объем предикатов *B* независимо от того, снабжены ли они индексами и релятивизированы? Нет, поскольку всякая теория, которая у него есть для того, чтобы понять *B*, может быть преобразована в бесконечное количество таких же теорий. И *ничто, что говорит B*, не может изменить ситуацию. *A* может говорить осмысленно и отличая одно от другого о Уилте и о тенях. *B* может говорить осмысленно и отличая одно от другого о двух различных типах отношений между произнесенными *A* словами и объектами. Но ни в одной точке ни один из них не был способен определить объекты, относительно которых предикат является истинным, независимо от степени конвенциональности и относительности.

Возможно, кто-нибудь (не Куайн) поддастся искушению сказать: «Но уж хотя бы носитель языка знает, к чему относятся его слова». Эту мысль следует решительно отвергнуть. Семантические свойства языка обладают публичным характером. То, что никто не может, исходя из природы вещей, вычленить из совокупности релевантных свидетельств, не может быть частью значения. А поскольку каждый носитель языка должен знать об этом, по меньшей мере, хоть как-то смутно, он не может даже иметь намерение пользоваться

собственными словами с одной-единственной референцией, так как ему известно, что не существует способа для того, чтобы передать в его словах эту референцию другому субъекту.

Повторим: аргумент в пользу непостижимости референции состоит из двух частей. На первом этапе мы признаем равнозначность с эмпирической точки зрения альтернативных схем референции. На втором этапе мы показываем, что хотя переводчик автора схемы может проводить различия между схемами этого автора, но существование эквивалентных альтернативных схем для интерпретации автора схем не дает интерпретатору соотнести единственным образом референцию предикатов автора схем с чем-то одним, в особенности – его предикат «относится» (независимо от наличия индекса и релятивизации). Переводчик не может на эмпирических основаниях ничего сказать касательно референции слов автора схемы, поэтому это не может быть эмпирическим свойством этих слов. Следовательно, даже будучи выбранными из нескольких произвольных альтернатив, эти слова не обусловливают одну-единственную схему референции. Отсюда следует вывод о непостижимости референции. А вот онтологическая относительность отсюда не следует, поскольку из нее вытекает, что если было принято достаточное количество решений, произвольных или каких-нибудь еще, то возможна одна-единственная референция, что противоречит нашему утверждению о непостижимости референции.

Если бы с помощью какого-нибудь выбора, произвольного или непроизвольного, мы могли бы зафиксировать референцию, то для Филда (и других) открылась бы возможность провозгласить, что выбор не был произвольным, а значит, и референция не непостижима. И, фактически, Филд так и сделал. Согласно Филду, роль референции не исчерпывается ее вкладом в условия истинности предложений[10]. Вследствие этого существуют основания для выбора между теориями референции, предоставляющими эквивалентные условия истинности для одинаковых предложений. Среди этих

оснований имеются определенные причинно-следственные связи между именами и тем, к чему они отсылают, а также (если Патнэм прав) между предикатами и тем, относительно чего они верны.

Данная тема обширна и запутанна, и здесь я могу сказать о ней лишь немного. К тому же мои взгляды не совпадают со взглядами Куайна не в этой области. Тем не менее, данная тема, разумеется, близка настоящей дискуссии. По-моему, Филд запутал дело, допустив, что если существуют, скажем, причинно-следственные связи между словами и объектами, то не может быть, чтобы теории истины (а также значения и референции) проверялись исключительно с помощью эмпирических свидетельств, касающихся предложений и способов их выражения. Он зачарован тем фактом, что стандартные теории истины объясняют то, что способствует истинности предложения посредством назначения семантических ролей его частям (референции, именованию, выполнимости), если некоторая теория истины будет соблюдать свои объяснительные притязания и свойства. Такая формулировка не учитывает различия между объяснением истины, если дана теория, и нахождением доказательства того, что теория верна относительно некоего носителя языка или некоего сообщества. Весьма последовательным будет утверждать, что теории являются проверяемыми только на уровне предложений при объяснении свойств предложений на основе их внутренней структуры. Но если так, то именно семантические свойства предложений (например, истинность) следует считать в высшей степени непосредственно связанными со свидетельствами, тогда как семантические свойства слов, как бы их ни постулировать, будут выполнять свои функции лишь в том случае, если они объяснят свойства предложений: принять эту позицию означает допустить, что истину легче связать с неязыковыми свидетельствами, чем референцию. По-моему, мы прекрасно можем доказать свою правоту в этом вопросе[11].

Это я сделаю позже. Сейчас я хочу сказать, что даже если слова все-таки причинно связаны с тем, к чему они отсыла-

ют, то это не означает, что адекватность той или иной теории истины не следует проверять на уровне предложений. Предположим, что верна какая-нибудь причинно-следственная теория имен. Как же нам следует установить этот факт по отношению к языку конкретного носителя языка или конкретного сообщества? На мой взгляд, лишь обнаружив, что эта причинно-следственная теория объясняет потенциальное и актуальное языковое поведение носителей языка. Это поведение, в первую очередь, касается предложений и их высказывания. Ибо представим себе, что у нас есть доказательство того, что слова, *не* будучи употребленными в предложениях, имеют некоторую причинно-следственную связь с объектами, но что этот факт не имеет никакого отношения к тому, как эти слова употреблены в предложениях. Разумеется, мы сделали бы вывод, что явления первого типа не имеют отношения к теоретическому рассмотрению языка. Если это верно, то определение того, что каузальная теория референции истинна относительно некоторого говорящего, должно зависеть от свидетельств, почерпнутых из способа рассмотрения и употребления предложений, в той же мере, что и всякая другая теория языка.

Допустим, что существуют причинно-следственные связи между словами (или их применением) и объектами. Тогда предложение типа «Уилт высок» может быть истинным лишь в том случае, если — среди прочего — произнесение слова «Уилт» в этом словесном контексте причинно-следственным образом связано с Уилтом. Можем ли мы сказать, что хотя бы отчасти спасли автора схемы от попросту произвольного выбора схем референции для говорящего?

Как будто бы нет, и по причинам, объясненным Уоллесом и Филдом. Ибо предположим (как прежде), что ϕ — изменение вселенной, а Cx,y — подходящее причинно-следственное отношение между словом и объектом. Одна из хороших теорий утверждает, что «Уилт» относится к Уилту, только если C «Уилт», Уилт (я кое-как «стряпаю» различие между словами и их высказыванием), тогда как другая эмпирически от нее неотличимая теория говорит, что «Уилт» относится к

ϕ (Уилт), только если C «Уилт», ϕ (Уилт). Конечно же, ни «относится», ни «C» не могут иметь одну и ту же интерпретацию в обеих теориях, но их снабженные пометами соответствия легко специфицировать. Две теории отчетливо отличаются друг от друга, так как «относится$_1$» не может обладать тем же объемом, что и «относится$_2$», а «C_2» не может обладать тем же объемом, что и «C_2». Но если дано, что первая теория использует понятие выполнимости, то мы можем определить «относится$_2$» и «C_2» на основе «относится$_1$», «C_1» и «ϕ», чтобы сделать вторую теорию эмпирически эквивалентной ей.

Никакая причинно-следственная теория или какой-нибудь другой «физикалистский» анализ референции не повлияют на наши аргументы касательно непостижимости референции, по меньшей мере, до тех пор, пока мы будем считать, что теория, использующая понятие выполнимости — это такая теория, что дает приемлемое объяснение вербального поведения и диспозиций. Ибо ограничения отношений между референцией и причинно-следственной связью (или чем угодно) можно всегда эквивалентным образом охватить альтернативными способами подбора слов и объектов. Переводчик автора схемы будет по-прежнему в состоянии заявить, что схемы автора схем отличаются друг от друга, но он не сможет найти один-единственный способ подбора слов и объектов автором схемы. Следовательно, автор схемы не мог употреблять слова, послужившие основой для одной-единственной схемы. Референция остается непостижимой.

Причинно-следственные теории именования или референции, говоря в самом широком смысле, являются провокативными, и какой-нибудь их вариант вполне может быть правильным. Если это так, то прежние понятия именования и референции надо пересмотреть. Но вопрос о том, верна ли причинно-следственная теория референции, не зависит — если я прав — от двух проблем, с которыми его часто связывают: от проблемы, следует ли проверять теорию истины реакциями или установками носителей языка по отношению к предложениям, и проблемы непостижимости референции.

Мы показали, или хотели показать, не относительность референции, но то, что нет вразумительного способа ее релятивизации, который соответствовал бы понятию онтологической относительности. Релятивизация должна иметь место в языке, где встречается релятивизированный предикат (и поэтому она не может касаться этого языка или какой-либо теории для этого языка), и мы не можем утверждать, что она разрешает вопрос референции в любом языке. Но *существует* нечто, что следует разрешить, и релятивизация является единственным привлекательным способом разрешения этого. С одной стороны, все «схемы референции», приемлемые для некоторого субъекта или некоего сообщества, имеют важные общие элементы: они влекут за собой эквивалентные истинностные условия для всех предложений и, возможно, связывают референцию с причинностью или чем-нибудь еще с помощью модели, поддающейся определению. С другой стороны, такие схемы отличаемы одни от других, на самом деле, не на основании эмпирических свидетельств, но из-за того, что они используют предикаты, которые не могут обладать одним и тем же объемом. Два этих факта вместе недвусмысленно указывают на релятивизированное понятие. Кроме того, имеется вопрос, на который мы можем дать ответ: «Какой схемой вы пользуетесь, когда даете вот эту интерпретацию слов субъекта?» Если я интерпретирую (перевожу) слово говорящего «Уилт» как относящееся к тени Уилта, то мне, вероятно, будет необходимо объяснить, как я интерпретирую его предикат «высок» в соответствии со схемой, близкой к моей интерпретации «Уилта». В том или ином смысле моя интерпретация, или мой перевод, соотносится с конкретной схемой или основан на такой схеме. Схема может не разрешать проблемы референции, но она все-таки разрешает проблему того, как я отвечаю на всевозможные вопросы о том, что имеет в виду субъект или к чему отсылает некоторым словом или предложением. Куайн часто дает именно такую формулировку: «Не имеет смысла говорить, что представляют собой объекты некоторой теории, помимо утверждения о том, как интер-

претировать или реинтерпретировать эту теорию с помощью другой»[12], или опять-таки: «Смысл имеет говорить не о том, чем являются объекты некоторой теории, говоря абсолютно, но о том, как некоторая теория объектов интерпретируема или реинтерпретируема с помощью другой». Вторая цитата беспокоит меня, поскольку «говоря абсолютно» наводит на мысль о том, что существует некий способ относительного рассуждения, посредством которого можно будет решить — возможно, произвольно — чем являются *объекты*, а это я недвусмысленно отрицал. Однако мы не можем отрицать, что если дана некоторая схема интерпретации или перевода, то мы уже решили, какие *слова* мы можем использовать в нашем собственном языке ради интерпретации слов носителя языка. Так имеется ли неоспоримый способ, чтобы отметить относительность нашей интерпретации по отношению к нашей схеме? Думаю, имеется.

Все, что, как мы можем сказать, фиксируется релятивизацией, сводится к способу отвечать на вопросы о референции, но не к самой референции. Поэтому мне представляется, что естественным способом объяснения иногда необходимой эксплицитной релятивизации является хорошо знакомый: мы полагаем, что субъект говорит на том или ином языке. Если мы предположим, что его слово «кролик» относится к кроликам, то мы будем считать, что он говорит на определенном языке. Если же мы допустим, что его слово «кролик» относится к объектам, являющимся ϕ от кроликов, то мы будем считать, что он говорит на другом языке. А если мы решим сменить схему референции, то мы решим, что он говорит то на одном, то на другом языке. В некоторых случаях решения принимаются нами; некоторые языки идентичны друг другу в том, что диспозиции говорящих на них по отношению к высказыванию предложений в конкретных условиях являются тождественными. И не существует способа определить, на каком из таких языков говорит тот или иной человек.

Вопрос покажется не столь тривиальным, если мы поразмыслим над тем, что эмпирические теории языка той или

иной личности не существуют в изоляции: каждая такая теория служит частью более общей теории, включающей некоторую теорию его мнений, желаний, намерений и, возможно, чего-нибудь еще. Если мы изменяем нашу интерпретацию слов некоего человека, то, если даны одни и те же совокупные свидетельства, мы должны изменить приписываемые нами ему мнения или желания. Нет ничего странного в том, что мы можем считать, что один и тот же человек говорит на разных языках, если только мы можем провести компенсаторную «подгонку» в других приписываемых нами ему установках.

Эта проблема станет яснее, если мы временно откажемся от наложенных нами вначале ограничений, согласно которым мы собирались рассматривать только теории, оставляющие истину предложений в неизменности. Я согласен с Куайном в том, что часто бывают случаи, когда совокупность релевантных свидетельств о поведении некоего человека можно одинаково хорошо рассмотреть с помощью любой из двух теорий истины, если только мы проведем компенсаторную «подгонку» в нашей теории его мнений и других установок, но все-таки так, что конкретное предложение, основанное на одной теории, будет проинтерпретировано так, что будет доказана его истинность, а основанное на другой — нет. Ян Хакинг однажды сформулировал эту загадку в разговоре со мной так: как из двух теорий истины могут быть приемлемыми обе, если одна теория считает некоторое выражение истинным, а другая — нет? Не противоречие ли тут? Противоречия нет, если теории, подобно всем теориям истины, релятивизированы по отношению к некоторому языку. Наша ошибка заключалась в том, что мы предполагали, будто существует один-единственный язык, к которому принадлежит данное высказывание. Но без всякого парадокса мы можем считать, что это высказывание принадлежит к тому или иному языку, если только учтем, что в других частях нашей общей теории личности произойдет сдвиг.

Значит имеется разумный способ релятивизации истины и референции: предложения бывают правильными, а слова

отсылают к некоторому языку, соотносятся с ним. Это может показаться знакомым и очевидным, и до определенной степени так оно и есть. Но существуют некоторые тонкости в том, как мы это понимаем. К примеру, то, что «Уилт» относится к Уилту в *L*, не является эмпирическим утверждением. Ибо если бы оно было эмпирическим, *L* следовало бы охарактеризовать как *определенный* язык, на котором говорит некий человек или некие люди в заданное время. Такая характеристика не годилась бы для нашей цели, поскольку мы допускаем, что вопрос о том, на каком языке говорит некий человек, не является полностью эмпирическим; свидетельства предоставляют нам возможность выбора между языками — даже до такой степени, чтобы задавать конфликтующие между собой истинностные условия одному и тому же предложению. Но даже если мы сочтем истину инвариантной, мы сможем следовать свидетельствам, различными способами подбирая соответствия между словами и объектами. И наилучшая возможность объявить избранный нами способ — назвать соответствующий язык; но затем нам придется охарактеризовать этот язык как такой, в котором референции, выполнимости и истине отведены особые роли. И, разумеется, остается эмпирический вопрос: является ли этот язык таким, что эмпирические свидетельства позволяют нам приписывать его этому субъекту?

Что дает нам возможность делать выбор между разнообразными языками в отношении субъекта, так это факт, что свидетельства — установки или действия, ориентированные на предложения или высказывания, — отражаются не только на интерпретации речи, но и на приписывании мнений, желаний и намерений (и, несомненно, других установок)[13]. Свидетельства позволяют нам производить некоторый выбор между языками, так как мы можем уравновесить любой осуществленный выбор подходящим выбором мнений и прочих установок. Это наводит нас на мысль еще об одном способе, посредством которого мы могли бы релятивизировать некоторую теорию истины или референции: если даны известные допущения касательно природы мнения и установок

другого типа, то мы могли бы показать, что, приняв решение о том, каковы установки некоего человека, мы бы не выбирали его язык методом проб и ошибок. Если дано всеобъемлющее описание мнения, желания, намерения и т. п., то вопрос о том, на каком языке человек говорит, является эмпирическим. А значит, мы, наконец, получили довольно-таки неожиданный способ делать осмысленным смысл вопроса о том, к чему отсылает некоторое слово.

Я надеюсь, ясно, что было бы ошибкой предполагать, что мы каким-то образом можем сначала определить, во что человек верит, чего он хочет, на что надеется, что намеревается сделать, чего боится, а затем перейти к определенному ответу на вопрос, к чему отсылают его слова. Ибо свидетельства, от которых все это зависит, не дают нам возможности поочередно выделить, какой вклад в них вносит мысль, какой — действие, какой — желание и какой — значение. Мы должны строить именно всеобъемлющие теории, а многие теории будут одинаково успешными. Это не только равносильно новому подтверждению тезиса о непостижимости референции, но еще и намекает на причину такой непостижимости.

ГРАНИЦЫ БУКВАЛЬНОГО

17. ЧТО ОЗНАЧАЮТ МЕТАФОРЫ

Метафора — это греза, сон языка (dreamwork of language). Толкование снов нуждается в сотрудничестве сновидца и истолкователя, даже если они сошлись в одном лице. Точно так же истолкование метафор несет на себе отпечаток и творца, и интерпретатора. Понимание (как и создание) метафоры есть результат творческого усилия: оно столь же мало подчинено правилам.

Указанное свойство не выделяет метафору из числа прочих употреблений языка: любая коммуникация — это взаимодействие мысли изреченной и мысли, извлеченной из речи. Вопрос лишь в степени разрыва. Метафора его увеличивает тем, что пользуется в дополнение к обычным языковым механизмам несемантическими ресурсами. Для создания метафор не существует инструкций, нет справочников для определения того, что она «означает» или «о чем сообщает»[1]. Метафора опознается только благодаря присутствию в ней художественного начала. Она с необходимостью предполагает ту или иную степень артистизма. Не может быть метафор, лишенных артистизма, как не бывает шуток, лишенных юмора. Конечно, встречаются безвкусные метафоры, но и в них есть артистизм, даже если его и не стоило обнаруживать или можно было лучше выразить.

Настоящая статья посвящена анализу того, что означают метафоры, и ее основная мысль состоит в том, что метафоры означают только то (или не более того), что означают входящие в них слова, взятые в своем буквальном значении. Поскольку этот тезис идет вразрез с известными мне современными точками зрения, то многое из того, что я собираюсь сказать, будет нести в себе критический заряд. Но я думаю, что метафора при свободном от всех помех и заблуждений взгляде на нее становится не менее, а более интересным явлением.

Я прежде всего собираюсь развеять ошибочное мнение, будто метафора наряду с буквальным смыслом или значением наделена еще и некоторым другим смыслом или значением. Это заблуждение свойственно многим. Его можно встретить в работах литературно-критического направления, у таких авторов, как, например, Ричардс, Эмпсон и Уинтерс, в работах философов от Аристотеля до Макса Блэка, психологов — от Фрейда и его предшественников до Скиннера и его продолжателей и, наконец, у лингвистов, начиная с Платона и вплоть до Уриэля Вейнрейха и Джорджа Лакоффа. Мысль о семантической двойственности метафоры принимает разные формы — от относительно простой у Аристотеля до относительно сложной у М. Блэка. Ее разделяют и те, кто допускает буквальную парафразу метафоры, и те, которые отрицают такую возможность. Некоторые авторы особо подчеркивают, что метафора в отличие от обычного словоупотребления дает прозрение, она проникает в суть вещей. Но и в этом случае метафора рассматривается как один из видов коммуникации, который, как и ее более простые формы, передает истину и ложь о мире, хотя при этом и признается, что метафорическое сообщение необычно, и смысл его глубже скрыт или искусно завуалирован.

Взгляд на метафору как на средство передачи идей, пусть даже необычных, кажется мне столь же неверным, как и лежащая в основе этого взгляда идея о том, что метафора имеет особое значение. Я согласен с той точкой зрения, что метафору нельзя перефразировать, но думаю, что это происходит не потому, что метафоры добавляют что-нибудь совершенно новое к буквальному выражению, а потому, что просто нечего перефразировать. Парафраза, независимо от того, возможна она или нет, относится к тому, что *сказано*: мы просто стараемся передать это же самое другими словами. Но, если я прав, метафора не сообщает ничего, помимо своего буквального смысла (как и субъект, использующий метафору, не имеет в виду ничего, выходящего за пределы ее буквального значения). Впрочем, этим не отрицается тот факт,

что метафора содержит в себе изюминку и ее своеобразие может быть показано при помощи других слов.

В прошлом те, кто отрицал, что у метафоры в дополнение к буквальному значению имеется особое когнитивное содержание, часто всеми силами стремились показать, что метафора вносит в речь эмоции и путаницу и что она не пригодна для серьезного научного или философского разговора. Я не разделяю этой точки зрения. Метафора часто встречается не только в литературных произведениях, но и в науке, философии и юриспруденции, она эффективна в похвале и оскорблении, мольбе и обещании, описании и предписании. Я в принципе согласен с Максом Блэком, Паулем Хенле, Нельсоном Гудменом, Монро Бердсли и другими в вопросе о функциях метафоры. Правда, мне кажется, что она в дополнение к перечисленным выполняет еще и функции совершенно другого рода.

Я не согласен с объяснением того, как метафора творит свои чудеса. Забегая вперед, скажу: я основываюсь на различении значения слов и их использования и думаю, что метафора целиком принадлежит сфере употребления. Метафора связана с образным использованием слов и предложений и всецело зависит от обычного или буквального значения слов и, следовательно, состоящих из них предложений.

Я покажу, что бесполезно объяснять, как функционируют слова, когда они создают метафорические и образные значения, или как они выражают особую поэтическую или метафорическую истину. Эти идеи не объясняют метафоры — метафора сама объясняет их. Когда мы понимаем метафору, мы можем назвать то, что мы поняли, «метафорической истиной» (metaphorical truth) и в какой-то мере объяснить, в чем состоит ее «метафорическое значение». Но просто приписать это значение метафоре было бы все равно что, заснув от таблетки снотворного, объяснять потом свой сон ее снотворным эффектом. Буквальные значения и соответствующие условия истинности могут быть приписаны словам и предложениям вне зависимости от каких-либо особых кон-

текстов употребления. Вот почему обращение к ним действительно имеет объяснительную силу.

Я собираюсь изложить свои негативные по существу взгляды на значение метафоры и, рассмотрев ряд ложных теорий, выдвинуть несколько позитивных утверждений.

Метафора заставляет нас обратить внимание на некоторое сходство — часто новое и неожиданное — между двумя и более предметами. Это банальное и верное наблюдение влечет за собой выводы относительно значения метафор. Обратимся к обычному сходству или подобию. Две розы похожи, потому что они обе принадлежат к классу роз; два ребенка похожи потому, что оба они дети. Или, говоря проще, розы похожи потому, что каждая из них — роза, дети похожи потому, что каждый из них — ребенок.

Предположим, что кто-то сказал: «Tolstoy was once an infant», «Толстой был когда-то ребенком». В силу чего Толстой, когда он был ребенком, походил на других детей? Ответ напрашивается сам собой: в силу того, что у него были все признаки ребенка, или, короче, просто в силу того, что он был ребенком. Чтобы не повторять все время выражение «в силу того, что», можно избрать более простой путь и сказать, что ребенок Толстой разделял с другими детьми то свойство, что ко всем ним был приложим предикат «быть ребенком». Употребляя слово «ребенок», мы избегаем необходимости говорить прямо, в чем именно ребенок Толстой был похож на остальных детей. При помощи других слов, означающих то же самое, можно было бы обойтись и без слова «ребенок». Результат был бы такой же. Обычное сходство имеет место в пределах групп, объединенных обычными значениями слов. Такое сходство вполне естественно, ведь стандартные способы объединения объектов в группы прямо связаны с обычными значениями слов, используемых для обозначения этих объектов.

Один знаменитый критик сказал, что Толстой был «большим ребенком-морализатором» (Tolstoy was «a great moralizing infant»). Очевидно, что здесь идет речь не о Толстом-ребенке, а о Толстом — взрослом писателе: здесь мы сталкива-

емся с метафорой. Однако в каком смысле Толстой-писатель похож на ребенка? Здесь нам, возможно, надо подумать о классе объектов, который включал бы в себя всех (обычных) детей и, кроме того, взрослого Толстого, а затем задаться вопросом: какое особое, отличительное свойство присуще всем членам этого класса? Нас вдохновляет мысль, что при определенной настойчивости мы сможем вплотную приблизиться к определению этого свойства, — мы прекрасно справимся с задачей, если нам удастся найти слова, которые означают в точности то же, что означает слово «ребенок» в его метафорическом употреблении. Во всем этом меня интересует не то, сумеем ли мы найти такие слова, а мнение, что к этому нужно стремиться, чтобы «схватить» метафорическое значение. Итак, я очень коротко обрисовал, каким образом понятие значения могло проникнуть в анализ метафоры. Предложенный мной ответ состоит в следующем: поскольку то, о чем мы думаем как о разнообразных сходствах, сопрягается в нашем сознании с тем, о чем мы думаем как о разнообразных значениях, то совершенно естественно рождается мысль, что необычные или метафорические значения могут помочь объяснить те сходства, которые выдвигает метафора.

Суть идеи заключается в том, что в метафоре определенные слова принимают новое, или, как его часто называют, «расширенное» значение. Например, когда мы читаем в Библии, что «the Spirit of God moved upon the face of water» *(букв.* «Дух божий носился над лицом вод») (Быт. 1, 2), мы должны рассматривать слово «face» (*букв.* «лицо, лик») как имеющее расширенное значение (я ограничиваюсь здесь рассмотрением только одной метафоры из приведенного примера). Это расширение должно быть тем, что философы называют объемом слова (extension of the word), то есть относиться к классу объектов, которые это слово называет. В данном примере слово «face» прилагается не только к лицам людей, но и к поверхности воды.

Это объяснение в любом случае не может считаться полным, ибо, если в отмеченных контекстах слова «face» и «in-

fant» действительно относятся соответственно к воде и к Толстому, тогда вода на самом деле имеет лицо, а Толстой-писатель в буквальном смысле слова ребенок, — вся соль метафоры при этом исчезает. Если считать, что слова в метафоре обладают прямой референцией к объекту, тогда стирается разница между метафорой и введением в лексикон нового слова: объяснить таким образом метафору — значит уничтожить ее.

Пока что как-то в стороне оставалось первичное, или буквальное, значение слова. Зависит или не зависит метафора от нового или расширенного значения — это еще вопрос, но то, что она зависит от буквального значения, — это несомненно: адекватное представление понятия метафоры обязательно должно учитывать, что первичное или буквальное значение слов остается действенным и в их метафорическом употреблении.

Возможно, тогда мы сможем объяснить метафору как случай неопределенности (ambiguity): в контексте метафоры определенные слова имеют и новое, и свое первичное значение; сила метафоры прямо зависит от нашей неуверенности, от наших колебаний между этими двумя значениями. Так, когда Мелвилл пишет, что «Christ was a chronometer» (*букв.* «Христос был хронометром»), то своим эффектом метафора обязана тому, что сначала мы берем слово «chronometer», «хронометр», в его обычном значении, а потом от него переходим к необычному, или метафорическому, смыслу.

Эту теорию трудно принять. Ибо неопределенность слова, если она имеет место, обусловлена тем фактом, что в обычном контексте слово означает одно, а в метафорическом — другое; но в метафорическом контексте отнюдь не обязательны колебания. Конечно, мы можем колебаться относительно выбора метафорической интерпретации из числа возможных, но мы всегда отличим метафору от неметафоры. В любом случае эффект воздействия метафоры не заканчивается с прекращением колебаний в интерпретации метафорического пассажа. Следовательно, сила воздействия ме-

тафоры не может быть связана с такого рода неопределенностью[2].

Может показаться, что другая разновидность неопределенности подойдет нам больше. Иногда бывает так, что слово в одном и том же контексте имеет два значения, причем мы должны одновременно учитывать их оба. Или, если мы считаем, что слово предполагает тождество значения, можно сказать: то, что на поверхности выступает как одно слово, в действительности представляет собой два слова. Когда шекспировская Крессида приходит в греческий лагерь, ее встречают несколько фривольно, и Нестор говорит: «Our general doth salute you with a kiss», «Тебя наш полководец встречает поцелуем». Здесь слово «general» используется в двух смыслах: один раз — в приложении к полководцу (general) Агамемнону, второй раз — применительно ко всем и ни к кому конкретно (in general) — ведь Крессиду целуют все. На самом деле мы имеем здесь не одно, а конъюнкцию двух предложений:

> Наш полководец (general) Агамемнон встречает тебя поцелуем, и мы все (in general) встречаем тебя поцелуями[3].

Игра слов — часто встречающийся прием, но метафора далека от него. Метафора не нуждается в удвоении: какими значениями мы наделили слова, такие значения и сохраняются при прочтении всего выражения.

Предположение относительно аналогии с игрой слов можно модифицировать, приписав ключевому слову (или словам) в метафоре два различных значения — буквальное и образное — одновременно. Можно представить буквальное значение как скрытое, как нечто, что мы ощущаем, что воздействует на нас, не проявляясь в контексте открыто, тогда как образное значение несет основную нагрузку. В этом случае должно существовать правило, которое связывало бы оба значения, ибо иначе такое объяснение сведется к теории неопределенности. Это правило утверждает, что, по крайней мере, для многих типичных случаев слово, выступающее в своем метафорическом значении, прилагается ко всему тому,

к чему оно прилагается в своем буквальном значении, плюс к чему-то еще[4].

На первый взгляд эта теория кажется излишне усложненной, но она удивительно напоминает предложенное Фреге объяснение поведения референтных терминов в модальных предложениях и в предложениях, вводимых пропозициональными глаголами, такими, например, как глаголы мнения и желания. Согласно Фреге, каждый референтный термин имеет два (или более) значения, одно из которых фиксирует его референцию в обычных контекстах, а другое — в контекстах, созданных модальными операторами и пропозициональными глаголами. Правило, которое соединяет эти два значения, может быть сформулировано следующим образом: значение слова в специальных контекстах делает референцию в этих контекстах тождественной значению слова в обычных контекстах.

Так вырисовывается целостная картина, в которой соединены теория Фреге и вытекающий из нее взгляд на метафору: слово, помимо обычной для него референции, имеет еще две особые сферы приложения: одну — для метафоры, другую — для модальных и подобных им контекстов. В обоих случаях первичное значение по-прежнему функционирует благодаря правилу, которое связывает между собой различные значения.

Возможная аналогия между метафорическим значением и фрегевскими замечаниями о косвенных контекстах влечет за собой немалые трудности. Допустим, вы развлекаете своего гостя с Сатурна тем, что учите его употреблять слово «floor», «пол». Вы делаете все, как надо: ходите со своим гостем по полу, показываете на пол пальцем, притопываете по нему ногой и при этом повторяете нужное слово. Вы принуждаете его проделывать различные эксперименты: он в порядке приобретения опыта похлопывает по полу своими щупальцами, а вы, где надо, его корректируете. Вы хотите, чтобы ваш гость уяснил не только, что именно эта конкретная поверхность и есть пол, но чтобы он научился его идентифицировать в любой ситуации, когда он его увидит или к нему

прикоснется. Действия, которые вы предпринимаете, конечно, не говорят впрямую о том, что именно он должен знать, но если ваш гость проявит некоторые способности, он все прекрасно поймет и запомнит.

Считать ли этот процесс знакомством с миром или знакомством с языком? Странный вопрос, поскольку усваивается отношение фрагмента языка к фрагменту мира. И все же легко провести различие между изучением значения слова и изучением употребления слова, когда его значение уже известно. Здесь сразу возникает мысль, что в первом случае мы узнаем что-то о языке, а во втором случае — мы узнаем что-то о мире. Если ваш гость с Сатурна уже научился употреблять слово «floor», «пол», вы можете попробовать сказать ему что-нибудь новое, например, что «here is a floor», «вот здесь пол». Если он усвоил этот словесный оборот, это значит, что вы сообщили ему нечто о мире.

А теперь уже ваш друг с Сатурна мчит вас через космическое пространство на свою родную планету, и вы, оглядываясь на теперь уже далекую Землю и приглашая его посмотреть, говорите: «floor», «шар, диск» (*букв.* «пол»). Возможно, ваш друг подумает, что это продолжение урока, и поймет, что слово «floor», «пол», употребляется и по отношению к Земле, по крайней мере к тому, как она видна с Сатурна. А вы на самом деле считали, что значение слова «floor», «пол», ему известно, и решили уподобиться Данте, который, находясь там же, где и вы, смотрел на необитаемую Землю как на «the small round floor that makes us passionate», «маленький круглый диск» (*букв.* «пол»), который будит в нас столько чувств»[5]. Вашей целью была метафора, а не продолжение обучения. Какая будет разница, воспримет ваш друг это слово тем или другим способом? Согласно рассмотренной теории метафоры — практически никакой: в метафорическом контексте слово имеет новое значение, а употребление метафоры дает, таким образом, возможность узнать это значение. Мы должны согласиться, что в ряде случаев действительно фактически не играет роли, будем ли мы о слове, встретившемся в некотором контексте, думать как о метафоре или как об употреблен-

ном в ранее неизвестном, но все же буквальном смысле. У. Эмпсон в своей книге «Несколько вариантов пасторали» цитирует следующие строки из стихотворения Дж. Донна: «As our blood labours to beget / Spirits, as like souls as it can, / ...So must pure lover's souls descend...», «Лишь кровь горячая рождает / В нас вечный дух для славных дел / ...Вот почему душе спуститься / [Порой приходится к телам]»[6]. Эмпсон отмечает, что современный читатель без колебаний воспримет слово «spirits», «дух», метафорически, как расширительное название чего-то духовного. Но для самого Донна это не было метафорой. В своих «Проповедях» он писал: «Дух — это небольшая, но активная часть крови, она представляет собой нечто среднее между душой и телом». Впрочем, не имеет большого значения, знаем мы это или нет. Эмпсон совершенно прав, когда говорит: «Любопытно, что изменение в этом слове [то есть в том, как мы думаем, оно значит] совершенно не затрагивает восприятия самого стихотворения».

Возможно, в некоторых случаях эти изменения действительно трудно заметить, но если принять, что изменений нет совсем, то специфика метафоры во многом утрачивается. Эта специфика была выявлена мной через противопоставление обучения новому использованию уже знакомого слова и использования слова, уже известного: в первом случае наше внимание направлено на язык, во втором — на то, что описывает язык. Метафоры, по моему глубокому убеждению, относятся ко второму случаю. В этом можно убедиться на примере стертых метафор. Когда-то очень давно реки и бутылки, вероятно, не имели, как они имеют сейчас, «ртов» («mouth» — «устье, отверстие», *букв.* «рот»). Что касается современного употребления, то не имеет значения, будем ли мы считать слово «mouth», «рот», многозначным (ведь оно относится не только к живым организмам, но к рекам и к бутылкам) или же будем думать, что существует единое широкое поле приложения этого слова, охватывающего сразу все случаи. Важно, однако, что, когда слово «mouth» было метафорой, носители языка действительно замечали сходство между ртом и отверстием бутылки. (Кстати, Гомер говорит

об отверстых ранах как о «ртах».) А поскольку в современном употреблении интересующее нас слово напрямую связано с бутылками, то никакого сходства замечать уже не надо. Не надо даже искать этого сходства, поскольку оно состоит просто в том, что в двух разных случаях употребляется одно и то же слово.

И дело здесь вовсе не в новизне. В одном контексте метафорическое слово, употребляясь сотни и даже тысячи раз, все равно остается метафорой, тогда как в другом контексте слово может быть воспринято как буквальное практически с первого раза.

Метафоре присуща следующая эстетическая особенность: она заставляет читателя каждый раз реагировать и испытывать чувство новизны, подобно тому, как мы, вновь и вновь слушая 94-ю симфонию Гайдна, испытываем восхищение при появлении обманчиво знакомых каденций.

Если бы метафора, наподобие многозначного слова, имела два значения, то можно было бы ожидать, что нам удастся описать ее особое, метафорическое значение, стоит лишь дождаться, когда метафора сотрется: образное значение живой метафоры должно навсегда отпечататься в буквальном значении мертвой. Несмотря на то, что некоторые философы разделяют эту точку зрения, мне она представляется в корне неверной. Если рассудить, то выражение «He was burned up», «Он вспыхнул (был подожжен)», действительно многозначно (поскольку оно может быть истинным в одном смысле и ложным — в другом), но, хотя его идиоматичный вариант и является результатом метафоры, сейчас он означает только то, что человек рассердился. А ведь когда метафора была живой, мы легко могли бы представить себе и искры в глазах, и дым, идущий из ушей.

Можно узнать о метафорах много интересного, если сопоставить их со сравнениями, ибо сравнения прямо говорят то, к чему метафоры нас только подталкивают. Положим, Гонерилья сказала бы, имея в виду Лира: «Old fools are like babies again», «Старики, выжившие из ума, вновь становятся как дети», — тогда она бы использовала эти слова для ука-

зания на сходство между выжившими из ума стариками и детьми. На самом же деле она, как мы знаем, сказала: «Old fools are babies again», «Выжившие из ума старики — снова дети», — только намекнув на то, о чем сравнение заявило бы в открытую. Продолжая размышлять в этом же ключе, можно прийти к следующей теории образного или особого значения метафоры: образное значение метафоры — это буквальное значение соответствующего сравнения. Так, выражение «Christ was a chronometer» (*букв.* «Христос был хронометром») в своем образном значении синонимично выражению «Christ was like a chronometer» (*букв.* «Христос был как хронометр»), а метафорическое значение, когда-то содержащееся в выражении «He was burned up», «Он вспыхнул (был подожжен)», проявляется в таких выражениях, как «He was like someone who was burned up» (*букв.* «Он был как кто-то, кого подожгли») или, возможно, «He was like burned up» (*букв.* «Он был как подожженный»).

Здесь, конечно, надо учесть сложность процесса подбора сравнений, которые бы в точности соответствовали той или иной метафоре. Вирджиния Вулф как-то сказала, что интеллектуал — это «обладатель чистопородного интеллекта, который оседлал свой мозг и мчится на нем, пересекая пространства, галопом, в неотступной погоне за идеей» («a highbrow is „a man or woman of thoroughbred intelligence who rides his mind at a gallop across country in pursuit of an idea“»). Какое сравнение может соответствовать этому? Возможно, нечто вроде следующего: «интеллектуал — это человек или дама, чей интеллект подобен породистой лошади и кто обдумывает идею с упорством всадника, мчащегося галопом в погоне [невозможно сказать, за чем именно, пусть это будет] за чем-либо».

Точку зрения, согласно которой особое значение метафоры идентично буквальному значению соответствующего сравнения (simile) (если это «соответствие» найдено), не следует путать с распространенным взглядом на метафору как на эллиптичное сравнение[7]. Эта теория не проводит различия между значением метафоры и значением соответствую-

щего ей сравнения и не дает возможности говорить об образном, метафорическом или особом значении метафоры. Эта теория выигрывает в простоте, но простота делает ее неэффективной. Ибо если мы будем считать буквальным значением метафоры буквальное значение соответствующего сравнения, то мы тем самым закроем доступ к тому, что мы раньше понимали под буквальным значением метафоры, а ведь мы согласились почти с самого начала, что *именно это* значение определяет эффективность метафоры, что бы потом ни привносилось в нее под видом небуквального, то есть образного, значения.

Этим теориям метафоры — теории эллиптичного сравнения и ее более утонченному варианту, приравнивающему образное значение метафоры к буквальному значению сравнения, — присущ один фатальный недостаток. Они делают глубинное, неявное значение метафоры удивительно очевидным и доступным. В каждом конкретном случае скрытое значение метафоры может быть обнаружено путем указания на то, что является обычно самым тривиальным сравнением: «*Это* похоже на *то*» («Толстой похож на ребенка», «Земля похожа на диск»). Такое сравнение тривиально, поскольку все бесконечным числом способов уподобляется всему. А между тем метафоры часто трудно интерпретировать и совсем невозможно перефразировать. По этой же теории интерпретация и парафраза сами идут в руки, даже весьма заскорузлые.

Я думаю, что эти теории сравнения считаются приемлемыми только потому, что их путают с совершенно другой теорией. Рассмотрим следующее замечание Макса Блэка: «Когда Шопенгауэр называл геометрическое доказательство мышеловкой, он, согласно этой точке зрения, *говорил*, хотя и не эксплицитно, буквально следующее: „Геометрическое доказательство *похоже* на мышеловку: и в том, и в другом случае обещанное вознаграждение — не более чем обман: как только жертва позволила себя заманить, она тут же сталкивается с неприятной неожиданностью и т. д.“. Это точка зрения на метафору как на эллиптическое или сжатое сравнение»[8].

Здесь мне видятся два затруднения. Во-первых, если метафоры являются эллиптичными сравнениями, тогда они *эксплицитно* говорят то, что говорят сравнения, ибо эллипсис есть форма сокращения, а не парафразы или намека. Однако — и что чрезвычайно важно — изложение Блэком того, что сообщает метафора, выходит за рамки, которые задаются соответствующим сравнением. Сравнение просто говорит, что геометрическая дедукция похожа на ловушку. Оно говорит отнюдь не больше метафоры о том, какие именно черты сходства мы должны заметить. Блэк выделяет три общие черты, но перечисление, конечно, можно было бы продолжить. Но можем ли мы считать этот список, пусть проверенный и дополненный, идентичным *буквальному* значению сравнения? Конечно же, нет, поскольку сравнение просто фиксирует сходство — и не более. Если предположить, что это перечисление задает образное значение сравнения, тогда из сопоставления метафоры со сравнением нельзя будет узнать ничего, кроме того, что они оба имеют одно и то же образное значение. Нельсон Гудмен так и говорит, что «различие между сравнением и метафорой незначительно». Далее, рассматривая конкретные примеры, он замечает: «Употребляются ли в них слова «is like», «похоже», или «is», «есть», — не так важно. Главное, что и в том, и в другом случае утверждается сходство между картиной и человеком, вычленяется какая-то определенная общая черта...»[9] Гудмен анализирует различие между двумя способами выражения: можно сказать, что картина грустная, а можно сказать, что она как грустный человек. Верно, что оба выражения приравнивают картину к человеку, но мне кажется ошибочным утверждение, что оба они «вычленяют» какую-то общую черту. Сравнение говорит, что существует сходство, и оставляет нам самим найти некоторую общую черту или черты; метафора эксплицитно не утверждает сходство, но если нам ясно, что это метафора, то перед нами стоит задача поиска общих черт (не обязательно тех же самых черт, какие предполагает соответствующее сравнение, — но это уже совсем другой вопрос).

Сравнение заявляет о сходстве вслух, — и именно поэто-

му, я думаю, здесь труднее, чем для метафоры, предположить некоего глубоко спрятанного второго значения. В случае сравнения мы отмечаем, *что* оно говорит буквально, — а именно, что две вещи похожи; затем мы рассматриваем их и думаем, какое сходство подойдет в данном контексте. Обнаружив его, мы могли бы потом сказать, что заметили это сходство благодаря автору сравнения. Но поняв разницу между тем, что значат слова, и тем, чего достиг автор путем использования этих слов, мы невольно испытываем искушение объяснить это путем наделения самих слов вторым, или образным, значением. Понятие языкового значения должно объяснять, что может быть сделано с помощью слов. Однако предполагаемое образное значение сравнения не объясняет ровным счетом ничего: оно не является характеристикой слова, присущей ему изначально и независимо от контекста употребления, и не основывается ни на какой лингвистической традиции, помимо той, которая имеет дело с обычным значением.

То, что делают слова на основе своего буквального значения, должно быть для них возможно и в метафоре. Метафора направляет внимание на те же виды сходства, если не на те же самые черты, что и соответствующее сравнение. Но тогда все эти неожиданные параллели и тонкие аналогии, к которым подталкивают нас метафоры, должны зависеть не от чего иного, как от буквального значения слов.

Метафора и сравнение — это только два вида приемов среди бесконечного множества средств, заставляющих нас сравнивать и сопоставлять, привлекающих наше внимание к тем или иным явлениям окружающего мира. Я процитирую несколько строф из стихотворения Т. С. Элиота «Гиппопотам»:

Гиппопотам широкозадый
На брюхе возлежит в болоте
Тяжелой каменной громадой,
Хотя он состоит из плоти.
Живая плоть слаба и бренна,
И нервы портят много крови;

А Церковь Божия — нетленна:
Скала лежит в ее основе.
Чтобы хоть чем-то поживиться,
Часами грузный гиппо бродит;
А Церковь и не шевелится,
Доходы сами к ней приходят.
Не упадет 'потамьей туше
С высокой пальмы гроздь бананов,
А Церкви персики и груши
Привозят из-за океанов (...)[10]

В этом стихотворении прямо не говорится, что церковь похожа на гиппопотама (как было бы в сравнении), и мы не должны тут же искать сходство (как было бы в метафоре), но не вызывает сомнения, что слова в этом стихотворении используются для того, чтобы привлечь наше внимание ко сходствам между гиппопотамом и Церковью. Однако здесь довольно трудно говорить о наличии образных значений, ибо к каким словам и выражениям можно было бы их отнести? Гиппопотам действительно лежит на брюхе в болоте; Церковь Божия, как говорится об этом в стихотворении, «never can fail», «нетленна» (*букв.* «никогда не может потерпеть неудачу»). В стихотворении, конечно, подразумевается многое, что выходит за рамки буквального значения слов. Но подтекст и намеки — это отнюдь не значение.

До сих пор рассуждение вело нас к выводу, что те свойства метафоры, которые могут быть объяснены в терминах значения, должны быть объяснены в терминах буквального значения входящих в метафору слов. Из этого вытекает следующее: предложения, в которых содержатся метафоры, истинны или ложны самым обычным, буквальным образом, ибо если входящие в них слова не имеют особых значений, то и предложения не должны иметь особых условий истинности. Это вовсе не отрицает существование метафорической истины, отрицается только ее существование в пределах предложения. Метафора на самом деле заставляет нас заметить то, что иначе могло бы остаться незамеченным, и я думаю, что

об этих мыслях, чувствах, о способе видения, вызванных метафорой, можно говорить, истинны они или нет.

Если метафорические предложения истинны или ложны в самом обычном смысле, то становится ясно, что они обычно ложны. Наиболее очевидное семантическое различие между метафорой и сравнением заключается в том, что все сравнения истинны, а большинство метафор ложно. Земля на самом деле похожа на диск или шар, ассирийцы действительно спустились вниз, как волки в расщелину, потому что все подобно всему. Но сделайте эти предложения метафорами, и вы сразу получите ложь: земля похожа на диск или шар, но это не диск и не шар; писатель Толстой был похож на ребенка, но он не был ребенком. Обычно мы используем сравнение только тогда, когда знаем, что соответствующая метафора — ложь. Мы говорим, что «S is like a pig», «S похож на свинью», потому что знаем, что он не свинья. Если мы употребили метафору, сказав, что он свинья, то это стало возможным не потому, что мы по-другому увидели мир, а просто потому, что нам захотелось выразить свою идею другим способом.

Дело, конечно, не в буквальной ложности, а в том, что оно должно быть воспринято как ложное. Заметим, что происходит, когда предложение, которое мы используем как метафору, то есть как ложное, оказывается истинным, когда мы начинаем располагать новыми сведениями об отраженном в этом предложении факте или событии. Когда в Африке с воздуха были обнаружены место падения и обломки самолета Хемингуэя, нью-йоркская газета «Миррор» поместила материал под заголовком «Hemingway lost in Africa», «Гибель (*букв.* «исчезновение, потеря») Хемингуэя в Африке», где слово «lost», «потеря, исчезновение», было употреблено в значении «гибель». Когда же выяснилось, что Хемингуэй остался жив, газета не изменила заголовок, справедливо полагая, что теперь его воспримут в буквальном смысле. Рассмотрим другой пример: женщина видит себя в прекрасном платье и восклицает: «What a dream of a dress!», «Это сон, а не платье!», — а затем просыпается. Смысл этой метафоры в том,

что платье — из разряда тех, которые могут только присниться, но метафора не говорит, что платье на самом деле снится. Хенле приводит хороший пример из «Антония и Клеопатры» (II, 2):

> The barge she sat in, like a burnish'd throne
> Burn'd on the water.
>
> [Ее корабль престолом лучезарным
> Блистал на водах Кидна *(букв.* «как горящий трон»).][11]

Здесь сравнение и метафора тесно переплетаются, но, если вообразить, что был реальный пожар, метафора исчезнет. Так же и эффект сравнения может быть уничтожен, если рассматривать сравнение чересчур буквально. В одной из своих статей журналист Вуди Аллен писал: «Происходивший в течение последних нескольких недель судебный процесс весьма смахивал на цирк, хотя было бы несколько сложно затащить слонов в здание суда» (газ. «Нью-Йоркер» от 21 ноября 1977 г.)[12].

Обычно только тогда, когда предложение воспринято нами как ложное, мы придаем ему статус метафоры и начинаем поиски глубинных импликаций. Возможно, именно поэтому ложность большинства метафорических выражений очевидна, а все сравнения — тривиально истинны. Абсурдность или противоречие в метафорическом предложении страхует нас от его буквального восприятия и заставляет понять его как метафору.

Явная ложность метафоры — это норма, но иногда в дело вступает и очевидная истинность. Взятое в своем буквальном значении такое выражение, как «Business is business», «Работа есть работа», слишком очевидно, чтобы думать, что его произнесли для сообщения какой-то информации. Рассмотрим поэтому другой пример. Тед Коэн говорит в этой же связи, что «no man is an island», «ни один человек не является островом»[13]. Суть дела все та же: обычный смысл этого предложения достаточно странен, чтобы мы прошли мимо него.

А сейчас я собираюсь поднять в некотором смысле плато-

новский вопрос: сравнение метафоры с сознательной ложью. Это сравнение вполне уместно, потому что ложь, подобно метафоре, касается не значения слов, а их употребления. Иногда говорят, что лгать — значит говорить то, что ложно, но это не так. Ложь требует не того, чтобы содержание вашего сообщения было ложным, а того, чтобы вы думали, что оно ложно. А поскольку мы обычно верим истинным предложениям и не верим ложным, то большинство сообщений, в которых субъект ставит перед собой цель обмануть окружающих, является ложным, но в каждом конкретном случае — это еще вопрос. Аналогия между метафорой и говорением лжи подкрепляется тем, что одно и то же предложение с неизменным значением может быть использовано в обоих случаях. Так, женщина, которая верит в ведьм, но не считает, что ее соседка — ведьма, могла бы сказать: «Она ведьма», использовав это выражение метафорически; эта же самая женщина, по-прежнему думающая то же самое о ведьмах и о своей соседке, но стремясь обмануть, могла бы употребить те же самые слова для достижения другого результата. Поскольку значение предложения в обоих случаях одно и то же, порой бывает трудно установить, какое намерение лежало в основе произнесения высказывания. Так, человек, который сообщил ложную информацию о том, что «Lattimore's communist», «Латтимор — коммунист», всегда может уйти от ответа, сославшись на то, что это метафора.

Разница между ложью и метафорой состоит не в различии использованных слов или их значений (во всяком строгом понимании термина «значение»), а в том, как эти слова употреблены. Использование предложения для сообщения заведомо ложных сведений и использование его в метафорическом смысле — это, конечно, совершенно различные употребления, — столь различные, что они не имеют общих точек соприкосновения друг с другом, как, скажем, ложь и произнесение реплик в спектакле. Говоря неправду, человек должен представить дело так, как будто он верит в то, во что на самом деле не верит; актер на сцене не делает ложных утверждений, а вот с верой дела у него обстоят аналогично. К ме-

тафоре это различие отношения не имеет. Она может быть оскорблением, а может быть и утверждением — если сказать человеку: «You are a pig», «Ты свинья». Но когда Одиссей (вообразим себе это) обратился с подобными же словами к своим спутникам, превращенным во дворце Цирцеи в свиней, это не было ни метафорой, ни утверждением. Произнесенные слова были использованы в буквальном смысле.

Ни одна теория метафорического значения или метафорической истины не в состоянии объяснить, как функционирует метафора. Язык метафор не отличается от языка предложений самого простого вида — в этом мы убедились на примере сравнений. Что действительно отличает метафору — так это не значение, а употребление, и в этом метафора подобна речевым действиям: утверждению, намеку, лжи, обещанию, выражению недовольства и т. д. Специальное использование языка в метафоре не состоит — и не может состоять — в том, чтобы «сказать что-то» особое, в той или иной степени завуалированно. Ибо метафора говорит только то, что лежит на ее поверхности, — обычно явную неправду или абсурдную истину. И эти очевидные истины и неправда не нуждаются в парафразе — они уже даны в буквальном значении слов. Но как же нам тогда быть со всеми бесконечными попытками ученых разработать методы и приемы выявления скрытого содержания метафор? Психологи Роберт Вербрюгге и Нэнси МакКэррелл говорят нам, что «многие метафоры привлекают внимание к системам сходств (common systems of relationships) и переходов (common transformations), для которых идентичность сравниваемых членов является вторичной. Рассмотрим, например, предложения: «A car is like an animal», «Автомобиль похож на животное», и «Tree trunks are straws for thirsty leaves and branches», «Стволы деревьев — это соломинки для томимых жаждой листьев и ветвей». Первое предложение ориентирует внимание на систему сходств, имеющих отношение к таким параметрам, как потребление и расход энергии, дыхание, движение, воспринимающие (чувствительные) системы. Во втором предложении сходство представляет собой менее свободный тип

перехода и касается всасывания жидкости, осуществляемого через вертикально расположенное цилиндрическое пространство, и доставки ее к месту назначения»[14].

Вербрюгге и Мак-Кэррелл не считают, что существует резкая граница между буквальным и метафорическим использованием слов; они придерживаются мнения, что многие слова имеют «неопределенное» (fuzzy) значение, которое может стать фиксированным благодаря контексту. Однако эта неопределенность, как бы ни была она проиллюстрирована и объяснена, не может стереть разницу между тем, что буквально означает предложение (в данном контексте), и тем, к чему оно (и его фиксированное контекстом буквальное значение) «привлекает наше внимание». Цитата, которую я привел, не несет в себе идеи такого различия: она говорит, что то, к чему приведенные в качестве примера предложения привлекают наше внимание, — это факты, которые можно выразить при помощи парафраз. Вербрюгге и МакКэррелл хотят отстоять точку зрения, что правильная парафраза подчеркивает скорее «систему сходств», чем просто сходство между объектами.

Согласно «интеракционистской» точке зрения М. Блэка, метафора заставляет нас приложить «систему общепринятых ассоциаций» (a system of commonplaces), связанную с данным метафорическим словом, к субъекту метафоры: в выражении «Man is a wolf», «Человек — это волк», мы прилагаем общепринятые признаки (стереотип) волка к человеку. Блэк говорит, что «метафора в имплицитном виде включает в себя такие суждения о главном субъекте, которые обычно прилагаются к вспомогательному субъекту. Благодаря этому метафора отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики главного субъекта, и устраняет другие»[15]. Согласно Блэку, парафразы практически всегда неудачны не потому, что у метафоры отсутствует особое когнитивное содержание, а потому, что «полученные неметафорические утверждения не обладают и половиной проясняющей и информирующей силы оригинала». Далее Блэк пишет: «Я особенно хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет

о потерях в когнитивном содержании. Недостатки буквальной парафразы заключаются не в ее утомительном многословии, чрезмерной эксплицитности и дефектах стиля, а в том, что она лишена того проникновения в суть вещей, которое свойственно последней»[16].

Правильно ли это? Если метафора имеет особое когнитивное содержание, то почему так трудно, а порой и невозможно выявить его? Если, как утверждает Барфилд, в метафоре «говорится одно, а имеется в виду другое», то почему, когда мы эксплицитно формулируем то, что подразумевается, это производит гораздо более слабый эффект? «Перефразуйте метафору, — говорит Барфилд, — и вся ее неопределенность и неточность исчезает, а с ней — и половина поэзии»[17]. Почему Блэк считает, что «буквальная парафраза неизбежно говорит слишком много — причем с неправильной расстановкой акцентов»? Почему неизбежно? Разве мы не можем при достаточной проницательности соблюсти нужную меру?

И опять же, как так происходит, что сравнение может обойтись без особого промежуточного (intermediate) значения? Большинство ученых не считают, что в сравнении говорится одно, а подразумевается другое; не высказывают они и предположений, что сравнение означает что-либо иное, помимо того, что лежит на поверхности. Сравнение, как и метафора, может заставить глубоко задуматься, почему же тогда не слышно заявлений об «особом когнитивном содержании» сравнения? Вспомним элиотовского гиппопотама: там не было ни метафоры, ни сравнения, однако достигнутый эффект аналогичен тому, который достигается при помощи сравнений и метафор. Разве кому-нибудь придет в голову мысль, что в стихотворении Элиота *слова* имеют особое значение?

И наконец, если слова в метафоре имеют скрытое значение, как может оно столь сильно отличаться от того значения, которое приобретают слова, когда метафора *стирается*, то есть становится частью языка? Почему выражение «He was burned up», «Он вспыхнул (был подожжен)», не означает *в точности* то же самое, что когда-то означала живая мета-

фора? Сейчас это выражение означает только то, что человек был очень рассержен, — и не стоит никакого труда сделать это эксплицитным.

Значит в обычном взгляде на метафору есть натяжка. С одной стороны, в нем есть стремление думать, что метафора служит чему-то такому, что невозможно для обычных высказываний, с другой стороны — стремление объяснить метафору в терминах когнитивного содержания, которое составляет цель и смысл тех же самых обычных высказываний. Пока мы остаемся в рамках этой теории, нам все время будет казаться, что эта цель достижима или по крайней мере возможно весьма близкое приближение к ней.

Существует простой выход из этого тупика: мы должны отказаться от мысли, что метафора несет какое-то содержание или имеет какое-то значение, кроме, конечно, буквального. Все теории, рассмотрением которых мы занимались, неправильно понимают свою цель. Они выдают за метод расшифровки скрытого содержания метафоры то *воздействие*, которое она оказывает на нас. Их ошибка состоит в том, чтобы делать упор на содержании мыслей, которые вызывает метафора, и вкладывать это содержание в саму метафору. Бесспорно, метафоры часто помогают нам заметить те свойства вещей и предметов, которые мы раньше не замечали; конечно, они раскрывают перед нами поразительные аналогии и сходства; они на самом деле, как указывает М. Блэк, представляют собой нечто вроде линзы или решетки, через которые мы рассматриваем объекты. Но суть заключается не в этом, а в том, как связана метафора с тем, что́ она заставляет нас увидеть.

Мне совершенно справедливо могут указать на привлекательность мысли о том, что метафора порождает или подразумевает определенный взгляд на предмет, а не выражает его открыто. Так оно и есть. Аристотель, например, говорит, что метафора помогает «подмечать сходство» (1459 a). Блэк, следуя за Ричардсом, отмечает, что метафора «вызывает» определенную реакцию: слушатель, восприняв метафору, строит некоторую систему импликаций. Сущность этого

взгляда очень точно выражена в словах Гераклита о Дельфийском оракуле: «Он и не говорит, и не скрывает, он подает знаки».

Я не имею ничего против самих этих описаний эффекта, производимого метафорой, я только против связанных с ними взглядов на то, как метафора производит этот эффект. Я отрицаю, что метафора оказывает воздействие благодаря своему особому значению, особому когнитивному содержанию. Я, в отличие от Ричардса, не считаю, что эффект метафоры зависит от ее значения, которое является результатом взаимодействия двух идей. Я не согласен с Оуэном Барфилдом, который считает, что в метафоре «говорится одно, а подразумевается другое», не могу согласиться и с М. Блэком в том, что свойственное метафоре «проникновение в суть вещей» («insight») достигается благодаря особенностям ее значения, которые позволяют метафоре утверждать или имплицировать сложное содержание. Механизм метафоры не таков. Полагать, что метафора достигнет своей цели только путем передачи закодированного сообщения, — это все равно что думать, что опытный переводчик может передать прозой смысл шутки или фантазии. Шутка, фантазия, метафора могут, подобно изображению или удару по голове, помочь оценить некоторый факт, но они замещают собой этот факт и даже не передают его содержания.

Если это так, то мы перефразируем метафору не для того, чтобы выразить ее значение, ведь оно и так лежит на поверхности, мы, скорее, стремимся выявить то, на что метафора обращает наше внимание. Конечно, можно, соглашаясь с этим, полагать, что речь идет всего лишь об ограничении на использование слова «значение». Но это неверно. Основное заблуждение во взглядах на метафору легче всего поставить под удар, когда оно принимает форму теории метафорического значения. Но дело в том, что за этой теорией стоит тезис, который может быть сформулирован в независимых терминах. Он сводится к утверждению, что метафора несет в себе некоторое когнитивное содержание, которое автор хочет передать, а получатель должен уловить, и только тогда

он поймет сообщение. Это положение ложно независимо от того, будем ли мы называть подразумеваемое когнитивное содержание значением или нет. Оно вызывает сомнение уже одним тем, что трудно точно установить содержание даже простейших метафор. Я думаю, что это происходит потому, что нам представляется, будто существует некоторое содержание, которое нужно «схватить», в то время как речь идет о том, к чему метафора привлекает наше внимание. Если бы то, что метафора заставляет нас заметить, было бы конечным по числу и могло бы быть выражено в суждении, это не вызывало бы трудностей — мы бы просто проецировали содержание, которое метафора привнесла в наш мозг, на саму метафору. Но на самом деле то, что представляет нашему вниманию метафора, не ограничено и не пропозиционально. Когда мы задаемся целью сказать, что «означает» метафора, то вскоре понимаем, что перечислению не может быть конца[18]. Если кто-то водит пальцем по береговой линии на карте или любуется красотой и искусностью линии в рисунках Пикассо, то к чему именно привлечено его внимание? Можно было бы назвать бесконечное множество моментов, ибо идея полноты и исчерпанности к такому перечислению не приложима. Сколько же фактов или суждений передается фотографией или картиной: ни одного, бесконечное множество или один большой факт, который не поддается выражению? Это плохой вопрос. Картина не нуждается ни в тысяче слов, ни в любом другом их количестве. Между картиной и словами невозможен эквивалентный обмен.

Дело, впрочем, не только в том, что невозможно дать исчерпывающее описание того, что благодаря метафоре мы увидели в новом свете. Трудность здесь более фундаментальна. То, что мы замечаем или видим, не является, вообще говоря, пропозициональным. Конечно, оно может стать таким, и тогда оно может быть выражено самыми обычными словами. Но если я покажу вам рисунок Витгенштейна, на котором изображен утко-кролик и скажу: «Это утка», тогда вы с облегчением увидите в нем утку; скажи я: «Это кролик», вы увидите кролика[19]. Но ни в одном суждении невозможно вы-

разить то, что же именно я помог вам увидеть. Кто-то скажет, что в результате этого вы пришли к пониманию, что рисунок можно интерпретировать двояко: как изображение либо утки, либо кролика. Но это можно было узнать, вообще не видя рисунка, то есть не видя ни изображения утки, ни изображения кролика. «Видеть как» не равно «видеть что». Метафора, делая некоторое буквальное утверждение, заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и влечет за собой прозрение. Поскольку в большинстве случаев оно не сводимо (или не в полной мере сводимо) к познанию некоторой истины или факта, то наши попытки буквально описать содержание метафоры просто обречены на провал.

И теоретик, который старается объяснить метафору путем обращения к ее скрытому содержанию, и критик, который стремится эксплицитно выразить это содержание, – оба стоят на ложном пути, ибо выполнить такие задачи невозможно.

Дело не в том, что объяснения и интерпретации метафоры вообще недопустимы. Иногда, сталкиваясь с метафорой, мы испытываем затруднения: нам сразу не увидеть в метафоре то, что легко схватывает более восприимчивый и образованный читатель. Законная функция так называемой парафразы могла бы состоять в том, чтобы помочь неопытному или ленивому читателю приобщиться к тому способу видения, который имеет изощренный критик. Можно сказать, что критик слегка конкурирует с автором метафоры. Критик старается сделать свою версию более прозрачной для понимания, но в то же время стремится воспроизвести у других людей, хотя бы отчасти, то впечатление, которое на него произвел оригинал. Стремясь выполнить эту задачу, критик одновременно (и, возможно, лучшими из имеющихся у него средств) привлекает наше внимание к красоте, точности и скрытой силе метафоры как таковой.

18. ОБЩЕНИЕ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ

Конвенциональность играет заметную роль в таких областях нашей жизни, как, например, речевое общение, игры, принятие пищи. Вы не сможете объяснить, скажем, что такое игра в покер, не описав правил этой игры. В то же время в момент объяснения, что такое принятие пищи, описание правил и условностей совсем не обязательно.

А как при этом обстоит дело с речью? Является ли конвенциональность здесь просто удобством, светским излишеством или языковое общение вообще невозможно без конвенций?

Вопрос этот сложен, так как он касается не истинности утверждения о конвенциональном характере речи, а той роли, которую конвенция играет в речевом общении. Он может быть поставлен и иначе: возможно ли языковое общение без общепринятых договоренностей? По мнению Дэвида Льюиса, «наличие языковых конвенций — это очевидность, отрицание которой может прийти в голову разве только философу»[1].

Безусловно, было бы абсурдно отрицать тот факт, что многие конвенции *связаны* с речью. Так, мы говорим «с добрым утром!» при любой погоде, однако это не тот тип конвенций, от которого зависит существование языка. Д. Льюис несомненно имеет в виду конвенциональный характер связей между словами и тем, что они означают. Возможно, что отрицать это захочет только философ, но если это так, то и утверждать эту точку зрения будет прежде всего философ. Что *на самом деле* является очевидным до банальности, так это *произвольность* в применении тех или иных звуков для обозначения различных объектов и явлений. Действительно, то, что конвенционально, является в определенном смысле произвольным, однако то, что произвольно, не обязательно конвенционально.

С одной стороны, мы можем полностью описать язык, определив, что такое содержательное высказывание и что означает каждое фактическое или потенциальное высказывание. Но такие определения подразумевают априорное наличие у нас знания того, что же мы имеем в виду, когда говорим, что данное высказывание имеет данное конкретное значение. Чтобы пролить свет на эту проблему — традиционную проблему значения — нам потребуется осветить связь между понятием «значение» и мнениями, желаниями, намерениями и целями. Именно обеспечение связи (или связей) между лингвистическими значениями, с одной стороны, и установками и действиями людей, описываемыми в нелингвистических терминах, с другой, является той областью, в которой конвенции должны прежде всего играть свою роль.

В этом отношении существует много различных теорий, которые я подразделяю на три группы.

1. Во-первых, это теории, утверждающие конвенциональный характер связи произносимого предложения, стоящего в том или ином грамматическом наклонении, с иллокутивными намерениями субъекта, высказывающего это предложение, или с какой-либо более общей целью.

2. Во-вторых, это теории, анализирующие конвенциональный характер каждого предложения.

3. В-третьих, это теории, доказывающие наличие конвенции, связывающей конкретные слова с экстенсионалом или интенсионалом.

Все указанные группы теорий не противоречат друг другу, и в зависимости от деталей возможны любые их комбинации. Рассмотрим эти группы в том порядке, как они мной перечислены.

В одной из своих ранних, оказавших заметное влияние статей Майкл Даммит утверждал, что использование людьми декларативных предложений управляется конвенцией[2]. Позднее он изложил эту мысль следующим образом: «...(повествовательное) предложение не требует для его понимания какого-либо конкретного контекста... Высказывание предложения служит для утверждения чего-то... существует

общая конвенция о том, что высказывание того или иного предложения (за исключением особых контекстов) понимается как намерение высказать предложение, содержащее истину»[3].

Этот сложный и, пожалуй, не совсем очевидный тезис я интерпретирую следующим образом. Между высказыванием повествовательного предложения и использованием его в качестве суждения существует конвенциональная связь (во всех случаях, кроме особых контекстов, носитель языка утверждает нечто). В то же время имеется понятийная (а, возможно, и конвенциональная) связь между высказыванием того или иного суждения и намерением высказать нечто истинное. Обоснованность такой интерпретации мыслей Даммита подтверждается, на мой взгляд, одним из его наиболее убедительных аргументов. Он начинает с анализа определений истины в духе Тарского и напоминает (следуя в русле более ранней работы Макса Блэка, хотя, возможно, и не подозревая об этом), что Тарский описал принципы построения теории истины для конкретных (формализованных) языков. Вместе с тем, по Даммиту, Тарский не дал определения истины в целом, более того, он фактически доказал принципиальную невозможность такого определения, по крайней мере, в рамках его метода. Поэтому Тарский не смог сказать, что же делает каждое определение истины именно данным определением. Конвенция Т, к которой Тарский прибегает как к критерию корректности определения истины, не содержит в себе указания на то, что такое истина в целом, она лишь использует наше интуитивное постижение этого понятия.

Даммит проводит аналогию между истинностью и понятием выигрыша в игре. Если мы хотим знать, что такое выигрыш, нам недостаточно определения этого понятия для каждой конкретной игры: нам нужно знание того, почему ситуации, выигрышные для конкретной игры, являются таковыми в целом. Возвращаясь к вопросу об истинности, проблему можно изложить теперь следующим образом: предположим, мы вступили в общение с человеком, говорящим на

непонятном для нас языке, и у нас имеется определение истины, сформулированное в духе Тарского; можем ли мы в таком случае судить о применимости этого определения к данному языку?

Вопрос закономерный, однако я не нахожу на него ответа в рамках конвенции, предложенной Даммитом, так как, по моему мнению, в языке нет ничего, что полностью бы соответствовало феномену выигрыша в игре. Это весьма важно, так как, если Даммит прав, установление в языке каких-то свойств, аналогичных характеристике выигрыша в игре, означает установление решающей связи между значением, как оно определяется в теории истины, и использованием языка в общении[4].

Выигрыш в такой игре, как шахматы, предполагает следующее. Во-первых, шахматисты обычно хотят выиграть. По условиям игры они должны по крайней мере *представлять* себя (represent themselves) стремящимися к выигрышу независимо от того, хотят они выиграть на самом деле или нет. Это не то же самое, что делать вид (pretend), будто вы стремитесь к победе, или пытаться убедить в этом стремлении других. Но представление себя как стремящегося к выигрышу влечет за собой, вероятно, возможность порицания шахматиста со стороны других, если будет обнаружено, что он не играет — или не стремится играть — на выигрыш. Во-вторых, одержать победу в шахматах можно лишь в том случае, если делать ходы, оговоренные правилами этой игры. Следовательно, победа полностью определяется правилами. Наконец, в-третьих, выигрыш в шахматах может быть — и часто является — самоцелью[5]. Насколько мне известно, ни один язык не имеет такого набора характеристик, а отсюда следует, что аналогия Даммита в корне ошибочна.

Является ли «высказывание истины» (в смысле намеренного высказывания предложения, которое оказывается совпадающим с истиной) подобием выигрыша? Именно в этом отношении «высказывание истины» является предметом определения для теории истинности. Тогда, поскольку условия истинности высказываний заранее известны как носи-

телям языка, так и переводчикам и заранее оговорены как одно из условий общения, «изречение истины» обладает одним из свойств выигрыша в игре (пределы истинности самого этого положения мы рассмотрим ниже). В то же время здесь отсутствуют другие свойства выигрыша, так как обычно люди, высказывающие ту или иную фразу, совсем не обязательно заботятся об ее истинности. Иногда они стремятся к этому, но чаще всего — нет. Далее, чтобы играть в игру под названием «речь», людям не нужно представлять себя намеревающимися или желающими говорить истины. Не существует общего допущения относительно того, что субъект, высказывающий повествовательное предложение, хочет или намеревается высказать истину. Нет допущения и относительно того, что в случае истинности высказывания эта истинность была намеренной. Наконец, «высказывание истины» — в смысле произнесения предложения, отвечающего критерию истинности, — никогда не является самоцелью.

В отличие от «высказывания истины» более вероятным лингвистическим аналогом выигрыша является суждение. Человек, выносящий суждение о чем-то, представляет себя убежденным в правоте своих слов, причем, возможно, справедливо убежденным. А так как мы стремимся к совпадению наших мнений с истиной, можно согласиться с Даммитом в том, что выносящий суждение представляет одновременно свое намерение высказывать истину (именно таким образом я интерпретирую замечание Даммита о том, что субъект «понимается» как намеревающийся высказать предложение, содержащее истину). Как в игре, так и здесь «представление себя» может вводить и не вводить в заблуждение, ведь лжец тоже выносит некоторое суждение. Носитель языка может иметь (а может и не иметь) намерение уверить своего собеседника в том, что он сам верит в высказываемое им суждение. Следовательно, в отличие от «высказывания истины» суждение о чем-либо напоминает участие в игре в том отношении, что налицо общее согласие о целевом характере двух последних видов деятельности. В то же время в других аспектах суждение не аналогично достижению победы, так как

процесс и условия вынесения суждения не регулируются ни общими правилами, ни конвенциями.

Чтобы понятие суждения могло служить конвенциональной связкой между целью и истиной, должны быть соблюдены два условия: во-первых, суждения должны подпадать под действие принципа конвенциональности и, во-вторых, должно существовать общее согласие относительно характера связи между суждениями и тем, что считается истинным. По моему мнению, ни то, ни другое условие в действительности не выдерживается.

В существовании конвенций, регулирующих суждения, уверены многие философы. Так, Даммит во фразе, опущенной мной в предыдущей цитате, говорит, что «высказывание предложения служит для того, чтобы судить о чем-либо...». Попробуем прежде всего установить, действительно ли суждения регулируются конвенциями. Если считать конвенциональным положение о том, что, будучи высказанным, предложение приобретает свое буквальное значение, тогда, безусловно, конвенции присутствуют во всех высказываниях, в том числе и в суждениях. Однако буквальное значение может не выходить (а по моему мнению, вообще не выходит) за рамки условий истинности.

Никто, я полагаю, не будет отрицать, что одно и то же повествовательное предложение может иметь одно и то же значение вне зависимости от того, с какой целью оно высказано: или чтобы утверждать что-то, или пошутить, или позлить зануду, или окончить стихотворение, или задать вопрос. Следовательно, если конвенция здесь и присутствует, чтобы данное предложение воспринималось как суждение, его высказывание с необходимостью должно сопровождаться целым «букетом» других конвенций. Безусловно, мало просто сказать, что что-то в контексте делает то или иное предложение суждением: это еще ничего не доказывает и ничего не говорит о конвенциональности. Более того, мы можем даже вычленить в контексте какие-то признаки, превращающие его в суждение, однако, по-моему, эти признаки будут очень расплывчатыми, а их набор — неисчерпывающим. Но даже

если необходимые и достаточные условия были бы ясно определены и все были бы с ними согласны, из этого еще не следовало бы, что они носят конвенциональный характер: мы все согласны, что у лошади должно быть четыре ноги, но наличие у лошадей четырех ног — не конвенция.

У суждений есть еще одно свойство, предполагающее их конвенциональность. Оно заключается в том, что, вынося какое-либо суждение, субъект должен иметь намерение сделать это, а также намерение убедить своих слушателей в своем первом намерении. Каждое суждение рассчитано на аудиторию, причем оно должно обладать целым набором признаков, необходимых для того, чтобы аудитория адекватно восприняла его характер как суждения. Отсюда, на первый взгляд, было бы естественным воспринимать возможную конвенцию как полезное и удобное средство для демонстрации наших намерений высказать то или иное суждение.

Однако Фреге был, безусловно, прав, отмечая, что «в языке нет ни одного слова, ни одного знака, чьей функцией было бы простое утверждение чего-то». Фреге, как известно, намеревался прояснить проблему введением изобретенного им знака «⊢». Фреге действовал здесь на основе вполне здравого принципа: если языку присуще свойство конвенциональности, оно может быть отображено при помощи символов. Однако прежде чем вводить такой знак суждения, Фреге стоило бы задаться вопросом о том, почему такого знака не существовало ранее. Представьте себе следующее: актер играет в эпизоде, по ходу которого предполагается возникновение пожара (например, в пьесе Олби «Крошка Алиса»). По роли ему положено с максимальной убедительностью сыграть человека, пытающегося оповестить о пожаре других. «Пожар!» — вопит он и, возможно, добавляет (по замыслу драматурга): «Правда, пожар! Смотрите, какой дым!» — и т. д. И вдруг... начинается настоящий пожар, и актер тщетно пытается убедить в этом зрителей. «Пожар! — вопит он. — Правда, пожар! Смотрите, какой дым!» — и т. д. Вот ему бы знак суждения, придуманный Фреге!

Каждому ясно, что здесь такой знак не поможет, ведь ак-

тер не замедлил бы прибегнуть к нему с самого начала, когда он еще только играл свою сценическую роль. Подобные же рассуждения убедят нас в несостоятельности посылок о том, что сцена создает конвенциональную среду, отрицающую конвенциональность суждений: если бы это было так, конвенциональность актерской игры также можно было бы в свою очередь изобразить символами; конечно, ни один актер и ни один режиссер и не подумают их использовать, поскольку удел людей искусства — вверять свою судьбу в наши руки. Нам неизвестны оговоренные, общепринятые конвенции о вынесении суждений, как неизвестны они и для приказов, вопросов, обещаний. Все эти акты типичны для человека, причем часто он добивается в них успеха, а успех этот зависит в определенной степени от того, насколько ясно он выражает при этом свои намерения осуществить именно данный акт. И уж ни в коей мере успех здесь не зависит от конвенций.

Второй момент в посылке Даммита — это заявление о наличии конвенции относительно того, что при вынесении суждения носитель языка «понимается» как «намеревающийся высказать предложение, содержащее истину». Это тоже представляется мне ошибочным, хотя и в несколько другом плане. Что действительно понятно, так это представление субъектом самого себя — при вынесении суждения — убежденным в истинности своих слов. Но это не конвенция, а просто часть анализа того, что такое суждение. Утверждать — значит, среди прочего, представлять себя верящим в свое собственное суждение. Никакого конвенционального знака, который бы означал высказывание носителем языка именно того, во что он верит, существовать, естественно, не может, так как в противном случае таким знаком пользовался бы любой лжец. Нельзя связать конвенцией то, что, возможно, всегда должно оставаться в тайне (намерение высказать истину), и то, что с неизбежностью должно делаться публично (высказывание суждения): искренность под принцип конвенциональности не подпадает.

Если буквальное значение конвенционально, то различия

между грамматическими наклонениями — декларативным, императивным, вопросительным, желательным — также должны быть конвенциональными. Эти различия очевидны, их цель — дать человеку возможность легко отличать одно наклонение от другого, причем обычно это обеспечивается за счет одного синтаксиса. Но это в свою очередь показывает, что какой бы тесной ни была связь между грамматическим наклонением и иллокутивной силой, она, эта связь, не может быть просто конвенциональной.

Хотя основное внимание в данной статье было уделено суждению, аналогичный ход мыслей можно применить по отношению к любому виду иллокутивных актов. Однако главный интерес представляет здесь для меня не природа иллокутивных сил и не такие акты как утверждение, обещание или приказ, а идея о том, что с помощью конвенции можно связать значения употребляемых нами слов (то есть их буквальные семантические свойства, включая истинность) с той целью, для достижения которой мы их употребляем (например, для того чтобы высказать истину).

Мы рассмотрели различные доводы о существовании всевозможных целей, связанных конвенционально с языковым общением, целей, которые, по словам Даммита, приводят нас к *пониманию* того, как и для чего мы используем язык. Теперь я хочу перейти к разбору теорий совершенно другого характера, а именно теорий, стремящихся выводить буквальный смысл целых предложений (а не просто индикаторы наклонения) из тех нелингвистических целей, достижению которых служит их высказывание. В данной работе меня интересуют теории, ставящие такое выведение смысла в зависимость от конвенций.

Упрощенно говоря, согласно этим теориям, каждое предложение привязано к одному-единственному варианту (или конечному числу вариантов) его использования, и именно этот вариант придает данному предложению его значение. Поскольку, далее, вариантов использования одного предложения с неизменным значением в действительности бесконечно много, связь между единственным вариантом (или

конечным числом вариантов) использования предложения и самим предложением конвенциональна, а сам данный вариант можно назвать «стандартным».

Это, конечно, слишком упрощенно, но сама идея кажется достаточно привлекательной и естественной. Между предложением типа «съешь баклажан» и намерением, произнеся это предложение, побудить кого-то съесть баклажан, действительно существует важная связь. Однако, скажете вы, побудить кого-то съесть баклажан и есть то, для чего служит фраза «съешь баклажан». Но дело в том, что если бы эту интуицию можно было выразить в эксплицитной форме и корректно обосновать, то появилась бы возможность изложения буквальных значений в терминах обычных нелингвистических целей, которые всегда стоят за высказываемыми фразами.

Намерения присутствуют во всех языковых высказываниях, и если бы мы умели их вычленять, мы бы знали буквальные значения произносимых слов. Действительно, нельзя сказать «съешь баклажан», придав этим словам их буквальное значение, то есть побуждение кого-то съесть баклажан, если не иметь намерения придать данной фразе именно это значение и не хотеть, чтобы слушатели восприняли ее опять-таки именно в этом значении. Конечно, одно намерение не *наделяет* фразу значением, но если произносить фразу с намерением произнести ее с данным значением, а на самом деле она этого значения не имеет, тогда она вообще не имеет никакого языкового значения. Если буквальное значение как таковое действительно существует, оно должно совпадать с тем буквальным значением, которое хочет придать фразе говорящий субъект. Хотя этот непреложный факт важен сам по себе, он не может служить для нас непосредственной опорой в осмыслении понятия буквального значения: для описания сути намерения мы вынуждены прибегать к самому буквальному значению. Не можем мы здесь опереться и на принцип конвенциональности, так как мы рассчитывали на конвенции в преобразовании неязыковых целей в языковые акты с буквальным значением. Конвенция, с одной стороны,

связывающая *намерение* использовать слова с неким буквальным значением, а с другой стороны, *фактическое* буквальное значение этих слов, не может объяснить понятие буквального значения, поскольку она сама будет зависеть от этого значения.

Объект нашего поиска — это неязыковые намерения, присутствующие в высказываемых фразах, то есть их скрытые *цели* (это понятие можно соотнести с тем, что Остин называл перлокутивными актами — perlocutionary acts).

Я уже упоминал вскользь, а сейчас хочу особо подчеркнуть тот факт, что высказывания всегда обладают скрытой целью: это послужило мне одним из оснований для утверждения того, что ни один из чисто языковых видов деятельности не похож на игру с выигрышем. Какой-то элемент условности здесь, возможно, есть, но если человек произносит «слова» просто ради того, чтобы слышать издаваемые при этом звуки или чтобы кого-то усыпить, на мой взгляд, это неязыковые акты. Действие можно назвать языковым только в том случае, если для него существенно буквальное значение. Но там, где существенно значение, всегда имеется скрытая цель. Говорящий субъект всегда нацелен на то, чтобы, скажем, дать указание, произвести впечатление, развеселить, оскорбить, убедить, предупредить, напомнить и т. д. Можно говорить даже с единственной целью утомить своих слушателей, но никогда — в надежде на то, что никто не будет пытаться уловить значение вашей речи.

Если я прав относительно того, что каждый случай использования языка характеризуется скрытой целью, то человек всегда должен стремиться достичь какого-то неязыкового эффекта, рассчитывая на соответствующую интерпретацию его слов аудиторией. Макс Блэк отрицал это на том основании, что «...человек может поместить в блокноте дату встречи или просто произнести слова типа „чудесный денек!“, не имея при этом никакой аудитории»[6]. Первые два примера — это как раз те случаи, когда значение слов играет большую роль, а «аудитория», которой предстоит интерпретировать эти слова, это я сам по прошествии какого-то времени. Ут-

верждать, что в последнем примере человек тоже говорит сам с собой, было бы слишком тенденциозно; тем не менее, здесь важно, какие слова произносятся и что они означают. Более того, безусловно, должна быть хотя бы *какая-то* причина использования им именно этих слов – с их соответствующим значением, – а не других. Об этом же говорит приводимая Блэком цитата из Хомского: «Хотя рассмотрение намерений, с которыми делается то или иное высказывание, позволяет обойти некоторые проблемы, оно ведет в лучшем случае к анализу спешности общения, а не к анализу знаний или способов использования языка, причем эти способы совсем не обязательно включают в себя общение или хотя бы попытки к нему. Если я использую язык для выражения мыслей, или для внесения в них ясности, или для того, чтобы, например, обмануть, снять неловкость от наступившего молчания, и т. д. и т. п., мои слова имеют строгое значение; весьма вероятно, далее, что я хочу сказать именно то, что я говорю, но даже исчерпывающее понимание моих намерений в чем-то убедить или к чему-то побудить моих слушателей (если таковые есть) может оказаться весьма ненадежным показателем значения моих слов»[7].

По моему мнению, в приведенном выше отрывке Хомский приходит к правильному выводу, однако отталкивается он от неясных или вообще не относящихся к существу проблемы предпосылок. Проблема же заключается в том, чтобы дать ответ на вопрос: можно или нет выводить значение из нелингвистических намерений субъекта? По Хомскому – и, я думаю, он прав, – это невозможно. Однако для того, чтобы сделать такой вывод, совершенно не требуется затрагивать вопросы влияния намерений носителя языка на кого-то еще помимо него самого: устная и письменная речь, направленная на внесение ясности в рассуждения субъекта, безусловно, предполагает намерение повлиять на что-то. Несущественно также, каким образом мы будем употреблять термин «общение». Вопрос в том, является ли поведение лингвистическим, если при этом отсутствует намерение использовать значение слов. Замечу, что ложь – это тот случай, когда

значения приобретают особую важность: скрытая цель, имеющаяся у лжеца, может быть достигнута лишь при условии, что его слова понимаются именно в том смысле, какой он им придает.

Как я уже отмечал, Хомский прав, утверждая, что никакое знание моих намерений в чем-то убедить слушателей или к чему-то их побудить не ведет к раскрытию ими буквального значения моего высказывания. Даже это утверждение, как мы видим, должно ограничиваться описанием моих намерений в нелингвистических терминах, так как, если я намереваюсь к чему-то побудить или в чем-то убедить слушателей, это может быть достигнуто только путем корректной интерпретации ими буквального значения моих слов.

Теперь становится относительно ясно, какова должна быть роль конвенций, если они призваны осуществлять связь между неязыковыми целями высказывания предложения (то есть скрытыми целями) и буквальным значением этого предложения при его произнесении. Конвенция должна отбирать — ясным как для говорящего, так и для слушающего способом (причем эта ясность должна быть намеренной) — те случаи, в которых скрытая цель непосредственно указывает на буквальное значение. Я имею в виду, например, тот случай, когда произнесением слов «съешь баклажан» в их обычном значении субъект намеревается побудить к этому своего собеседника за счет понимания последним этих слов и иллокутивной силы высказывания. Здесь опять-таки мне кажется, что такой конвенции не только не существует, но она вообще не может существовать. Дело в том, что даже если — в противоположность моей позиции — какие-то конвенции и могли бы управлять иллокутивной силой высказываний, их связь с намерением побудить к выполнению просьбы или приказа должна означать *искренность* субъекта, то есть совпадение желаний говорящего, как он представляет их собеседнику, с тем, чего он действительно хочет. Но ведь всякому ясно, что конвенции, которая служила бы знаком искренности, быть не может.

Я должен повторить здесь следующее. Предложение все-

гда означает то, что можно обнаружить в скрытой цели при условии искренности, серьезности и т. п. субъекта. Данное положение многие рассматривают как конвенцию, но я с ними не согласен, это в лучшем случае частичный *анализ* связей между буквальным значением, искренностью и намерениями. Общепризнанных критериев и традиций здесь нет.

Иногда полагают, что язык можно выучить только в атмосфере искренних суждений (приказов, обещаний и т. д.). Даже при условии соответствия действительности это еще ничего не доказывает относительно роли конвенций. Но я к тому же весьма скептически смотрю на само это утверждение: частично потому что в значительной степени обучение языку происходит в игре, в разыгрывании ролей, в слушании сказок и историй и т. д., и частично в силу того, что овладение языком не может зависеть в такой степени от «удачи», а именно от «удачи» общения с безыскусными, пуритански-серьезными и прямолинейными приятелями и родителями.

Для игр типа шахмат, покера и т. п. характерно наличие взаимно согласованных критериев не только того, что такое игра, но и того, что такое выигрыш. В этих играх чрезвычайно важен и тот факт, что обычно не возникает никаких проблем относительно их исхода. Для них характерно также то, что выигрыш здесь может быть самоцелью, а игроки представляют себя в качестве желающих выиграть или стремящихся к этому. Вместе с тем критерии для определения буквального значения высказываний — теории истины или значения высказывания для слушателя — не могут служить опорой при решении вопроса о том, достиг ли субъект своих скрытых целей или нет. Не существует также никакого общего правила, согласно которому субъект должен представлять себя обладающим какой-то дальней целью, лежащей за использованием им слов в каком-то определенном значении и с определенной силой. Конечная цель может быть, а может и не быть очевидной; она может способствовать определению слушателем буквального значения, а может и не способствовать этому. Я прихожу к выводу, что независимость буквального значения высказывания от его скрытой

цели (в том смысле, что первое нельзя вывести из последнего), — явление в языке не случайное, оно относится к его сущности. Я называю это свойство языка принципом *автономии значения*. С одним из примеров проявления этого принципа мы столкнулись при анализе иллокутивной силы, когда обнаружилось, что то, что определяется как буквальное значение, может рассматриваться затем и как скрытая (неязыковая) цель и даже как содержание иллокутивного акта[8].

Прежде чем закончить рассмотрение теорий двух первых видов, хотелось бы сделать следующее замечание. Все мои рассуждения вовсе не направлены на то, чтобы доказать отсутствие связи между индикаторами наклонения и *идеей* определенного иллокутивного акта. Я уверен, что такая связь существует. Например, произнесение предложения в императивном наклонении вполне недвусмысленно проявляет себя как акт приказания, но это просто часть буквального значения произносимых слов, причем она не устанавливает никакой связи — ни конвенциональной, ни какой-либо другой — между иллокутивными намерениями говорящего и его словами. Есть два совершенно различных тезиса, которые, между тем, легко спутать. Первый (правильный) тезис гласит, что каждое высказывание императивного предложения само маркирует себя (истинно или ложно) как приказание. Второй тезис утверждает существование конвенции о том, что при «стандартных» условиях высказывание императива есть приказ. Первый тезис *объясняет* различие в значениях между императивным и повествовательным предложением (причем различие, существующее совершенно независимо от иллокутивной силы), в то время как второй не может служить таким объяснением, поскольку он постулирует существование конвенции, действующей только при «стандартных» условиях. Нельзя *следовать* конвенции, одновременно нарушая ее, это будет просто *некорректное* ее применение. Но различие между императивным и повествовательным предложениями может использоваться (и очень часто вполне корректно используется) в тех ситуациях, когда наклонение и иллокутивная сила не являются «стандартными». Ссылки

на варианты типа театральных, когда актер одевает корону и тем самым показывает, что он играет роль короля, здесь не помогут: если это конвенция, то она служит в данном случае для управления буквальным смыслом. Ношение короны, будь то в шутку или всерьез, равнозначно высказыванию «Я король».

Суть этого замечания относится также к той группе теорий, которые пытаются выводить буквальное значение каждой фразы из «стандартных» вариантов ее применения. Поскольку буквальное значение присуще фразе вне зависимости от ее применения, никакая конвенция, действующая лишь в «стандартных» ситуациях, не может придать ей этого значения.

Мы уже рассматривали положение о том, что языковая деятельность в целом подобна игре. Согласно этому положению, существует конвенциональная цель (высказывание того, что соответствует истине, выигрыш и т. п.), которая может быть достигнута только путем использования общепринятых правил. Затем мы разобрали утверждение, согласно которому буквальное значение каждого предложения конвенционально связано со «стандартной» неязыковой целью (скрытой целью). Проведенный нами анализ показал несостоятельность как первой, так и второй точек зрения, и теперь пора перейти к рассмотрению «очевидности» конвенционального характера значения слова, то есть конвенции о том, что мы приписываем значения отдельным словам и фразам при их произнесении или написании.

Согласно Дэвиду Льюису[9], конвенция есть *регулярность* в действиях (или в действиях и убеждениях), причем включенными в эту регулярность должны быть минимум два человека. Регулярность *B* обладает следующими свойствами:

1. Каждый человек, включенный в *B*, подчиняется *B*.

2. Каждый человек, включенный в *B*, верит, что другие также подчиняются *B*.

3. Убежденность в том, что другие подчиняются *B*, дает остальным людям, включенным в *B*, достаточные основания подчиняться *B*.

4. Все заинтересованные стороны желают, чтобы существовала подчиненность *B*.

5. *B* не единственная возможная регулярность, отвечающая двум последним требованиям.

6. Каждый человек, включенный в *B*, знает свойства 1—5 и знает, что все остальные также их знают и т. д.

Тайлером Берджем был поднят резонный вопрос о правомерности некоторых утверждений в п. 6 (необходимо ли по условиям конвенции требование, чтобы всем было известно о наличие альтернатив?)[10]. У меня самого есть на этот счет сомнения, но вдаваться здесь в детали понятия конвенции не имеет смысла. Нам важно получить ответ на следующий вопрос: ведет ли понятие конвенции к пониманию языкового общения? Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, например, что нового добавляет в понятие регулярности понятие «подчинения» ей, я просто соглашусь с фактом распространения на носителей одного и того же языка каких-то свойств, подобных шести свойствам постулата Льюиса. Но насколько фундаментален этот факт для языка?

Ясно, что анализировать здесь нужно такую ситуацию, в которой присутствует по крайней мере два человека, поскольку конвенция зависит от согласованного понимания «практики». В то же время ничто в условиях анализа не указывает на необходимость рассмотрения более двух человек, так как двое могут разделять и конвенции, и общий язык.

На какой же предмет должна с необходимостью заключаться конвенция? Это не может быть требование, чтобы и говорящий субъект, и его слушатель, произнося одни и те же фразы, придавали бы им одно и то же значение, поскольку такое единообразие, хотя, возможно, весьма распространенное, не является обязательным для общения. Каждый субъект может говорить на своем особом языке, но это не будет препятствовать общению, коль скоро каждый слушатель понимает того, кто говорит. Вполне может быть, что каждому субъекту с самого начала будет свойственно говорить в уникальной, лишь ему одному присущей манере (что, безусловно, похоже на фактическое положение дел). У раз-

ных субъектов разный набор имен собственных, разный словарь и до какой-то степени разные значения, которые придаются словам. В некоторых случаях это снижает уровень понимания людьми друг друга, но так происходит совсем не обязательно: как переводчики мы с успехом даем правильную интерпретацию словам, которые мы никогда раньше не слышали, или словам, которые мы никогда не встречали в значениях, придаваемых им носителями языка.

Следовательно, общению не требуется, чтобы говорящий субъект и его слушатель подразумевали под одними и теми же словами одно и то же, в то время как конвенция предполагает единообразие со стороны по крайней мере двух людей. Тем не менее, остается еще один аспект необходимого согласия: при успешном общении говорящий субъект и слушатель должны вкладывать в слова говорящего одно и то же значение. Далее, как мы уже видели, субъект должен иметь намерение вызвать у слушателя такую интерпретацию своих слов, какую он сам намеренно в них вкладывает, и иметь достаточно оснований считать, что слушатель справится с этой задачей. Как говорящий, так и слушатель должны быть уверены, что субъект говорит именно с таким намерением и т. д. Короче, многие из положений Льюиса выглядят обоснованными. Правда, в этом случае понятия практики и конвенции приобретают весьма размытый смысл, далеко отстоящий от обычного понятия совместной практики. Тем не менее, здесь есть возможность настаивать на том, что именно такой взаимосогласованный метод интерпретации является конвенциональной сердцевиной языкового общения.

Но тогда еще предстоит разобрать самое важное понятие анализа конвенции, предложенного Льюисом, а именно понятие регулярности. Регулярность в данном контексте должна означать регулярность во времени, а не просто соглашение на данный момент. Чтобы конвенция (в понимании Льюиса и, я бы сказал, в любом понимании) могла иметь место, нечто должно повторяться во времени. Единственным кандидатом на то, чтобы быть этим «нечто», является интерпретация звуковых образов (sound patterns): и говорящий

субъект, и слушатель должны регулярно, намеренно и во взаимном согласии интерпретировать одинаковые звуковые образы носителя языка одинаковым способом (или способами, обусловленными правилами, которые можно разработать заранее).

Я не сомневаюсь, что все языковое общение людей свидетельствует в определенной степени о наличии такой регулярности. Более того, некоторые, возможно, будут склонны относить деятельность к языковой лишь в том случае, если эта регулярность в ней присутствует. Однако я сомневаюсь как в корректности последнего требования, так и в его значимости для объяснения и понимания феномена общения. Его корректность ставится под вопрос в силу следующей причины. И у говорящего субъекта, и у слушателя имеются собственные теории интерпретации слов говорящего. Но как они должны совпадать? Конечно, совпадение должно иметь место после произнесения слов, иначе общение будет затруднено. Но если они не совпадают заранее, концепции регулярности и конвенциональности не имеют здесь смысла. Тем не менее, следует сказать, что согласие относительно значения произносимых носителем языка слов вполне может быть достигнуто, даже если у говорящего и слушателя имеются разные предварительные теории интерпретации этих слов. Дело в том, что для их правильной интерпретации говорящий может дать слушателю адекватные «ключи». Такими «ключами» может быть и то, *что* произносит говорящий, и *как* он это произносит, и *где*. Конечно, у субъекта должно быть хотя бы *какое-то* представление о том, насколько слушатель готов использовать соответствующие ключи, а слушатель должен знать многое о том, чего ему следует ожидать. Но такое общее знание вряд ли можно свести к определенным правилам, а еще менее – к конвенциям или практике.

Связь общества и языка легко поддается ошибочной трактовке. Несомненно, язык есть орудие общественное. Но было бы ошибкой думать, что мы проникли в сущность языкового общения, увидев, как общество подгоняет индивидуальные языковые навыки под общепризнанные нормы. Если

и есть в языке что-то конвенциональное, так это стремление людей говорить в основном так, как говорят их соседи. Но, отмечая этот элемент конвенциональности (или процесса обусловливания языка, в ходе которого люди превращаются в приблизительные «языковые слежки» своих друзей и родителей), мы приходим к объяснению лишь такого факта, как конвергенция, отнюдь не проясняя сущности тех языковых навыков, которые подвергаются этой конвергенции.

Это не означает отрицания практической — в отличие от теоретической — важности общественной обусловленности языка. Общая обусловленность обеспечивает нам возможность предполагать, что по отношению к новому говорящему субъекту подойдет тот же метод интерпретации, который мы применяли по отношению к другим (или, как мы думаем, другие применяют по отношению к нам). У нас нет ни времени, ни терпения, ни возможности разрабатывать новую теорию интерпретации для каждого нового субъекта. Нас спасает то, что как только кто-то неизвестный открывает рот, мы уже знаем, с какой «теорией» к нему подходить (или знаем, что такой «теории» мы не знаем). Но если его первые слова произносятся, как говорится, на удобоваримом языке, мы имеем полное право считать, что он подвергался такой же языковой «обработке», что и мы (более того, мы даже можем увидеть различия в этой «обработке»). Заказывая обед, покупая сигареты, указывая направление пути водителю такси и т. д., мы все исходим из этого предположения. Стоит же нам убедиться в своей ошибке, и мы тут же пересматриваем нашу «теорию» о том, что имеет в виду собеседник. Чем продолжительнее разговор, тем надежнее становится наша «теория», тем точнее она подгоняется под данного конкретного собеседника. Таким образом, знание языковых конвенций является практической опорой для интерпретации, подпоркой, без которой мы не в состоянии обойтись в реальной жизни. Однако в оптимальных условиях общения мы можем, в конце концов, отбросить эту подпорку, а теоретически мы могли бы обойтись без нее с самого начала.

Факт повсеместного применения радикальной интерпретации (иными словами, факт использования шаблонного метода интерпретации в качестве полезного отправного пункта в понимании нами субъекта) скрыт от нас многими вещами, и прежде всего тем, что синтаксис значительно более социален, чем семантика. Упрощенно говоря, причина этого заключается в следующем: основой того, что мы называем языком, является шаблон умозаключений и структур, образуемый логическими константами. Если мы вообще можем применять к субъекту общий метод интерпретации — то есть если возможно хотя бы начальное понимание носителя языка на основании подобия его и нашего языков, — это может происходить только благодаря тому, что мы можем подходить к его структурообразующим механизмам как к своим собственным. Это позволяет фиксировать логическую форму его предложений и определять части речи. Несомненно, какое-то количество важных предикатов должно переводиться (если мы хотим обеспечить быстрое понимание) обычным омофоническим способом, а затем мы легко переходим к интерпретации — или реинтерпретации — новых или кажущихся нам знакомыми предикатов.

Такое представление о процессе интерпретации позволяет увидеть проблемы приложения формальных методов к естественным языкам в новом свете. Оно помогает понять, почему с наибольшим успехом формальные методы применяются в синтаксисе: здесь, по крайней мере, есть все основания ожидать, что одна и та же модель будет работать для целого ряда носителей языка. К тому же нет видимых причин, в силу которых каждый гипотетический метод интерпретации не мог бы стать формальной семантикой для того, что упрощенно можно назвать языком. Чего мы, однако, не можем ожидать, так это формализации рассуждений, посредством которых индивид приспосабливает свои теории интерпретации к потоку новой информации. Без сомнения, обычно мы полагаемся на возможность соответствующего маневра как на составную часть того, что мы называем «знанием языка». Но в этом смысле мы не можем утверждать, что дол-

жен знать тот, кто знает язык: интуиция, удача, искусство играют здесь такую же решающую роль, как в разработке новой теории в любой другой сфере человеческой деятельности, а вкус и симпатии — даже еще большую.

В заключение я хочу подчеркнуть, что языковое общение не требует освоения правил на запоминание, хотя мы и используем их в общении достаточно часто. Поэтому, несмотря на то, что при помощи принципа конвенциональности мы можем описать одно из общих свойств языкового общения, этот принцип не дает объяснения, что же такое само языковое общение.

Наконец, последнее замечание. Я уже писал ранее, что нельзя с уверенностью утверждать наличие мнений, желаний, намерений у существ, лишенных возможности пользоваться языком[11]. Как мнения, желания, намерения — это условия существования языка, так и язык является условием для их существования. Однако возможность приписывания тому или иному существу мнений и желаний есть условие для того, чтобы иметь с ним общие конвенции. Но если изложенные в данной статье мысли верны, конвенция не является условием существования языка. Поэтому я считаю, что философы, рассматривающие конвенцию как необходимый элемент языка, ставят все с ног на голову: на самом деле язык есть условие для выработки конвенций.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Перевод М. В. Лебедева.

1. Имеются в виду наречия и составные выражения, играющие в предложении грамматическую роль обстоятельства. — *Прим. пер.*

2. В оригинале, разумеется, по-английски. Подобные же замены и далее в тексте. — *Прим. пер.*

3. Подразумевающее бессоюзное соединение простых предложений в составе сложного. — *Прим. пер.*

4. Иногда переводят на русский как «принцип снисходительности» или буквально — «принцип милосердия». — *Прим. пер.*

5. W. V. O. Quine, *Word and Object.* Cambridge (Mass.): MIT Press, 1960, p. 59 [У. В. О. Куайн, *Слово и объект*, пер. с англ. Т. А. Дмитриева и А. З. Черняка. М.: Праксис, 2000, с. 80. — *Прим. пер.*]

6. Лекции, устраиваемые в Чикагском университете в память Пауля Каруса (Paul Carus, 1852—1919), американского философа немецкого происхождения. — *Прим. пер.*

7. Собственно Карусовские лекции Дэвидсона не были изданы, однако эта тема развивается в его последующих статьях, составивших его третью книгу (D. Davidson, *Subjective, Intersubjective, Objective.* Oxford: Clarendon Press, 2001). — *Прим. пер.*

8. College of All Souls of the Faithful Departed — один из колледжей Оксфорда. — *Прим. пер.*

1. ТЕОРИИ ЗНАЧЕНИЯ И ЯЗЫКИ, ПОДДАЮЩИЕСЯ ИЗУЧЕНИЮ

Перевод Т. А. Дмитриева.

1. В данном случае Дэвидсон ссылается на бихевиористскую модель изучения языка, предложенную его учителем и старшим коллегой Уиллардом Ван Орманом Куайном в работе «Слово и объект». — *Прим. пер.*

2. P. F. Strawson, «Singular Terms, Ontology and Identity». Последующие примечания содержат указание на номер страницы в круглых скобах. Цитата из Куайна взята со стр. 211 его книги «Methods of Logic».

3. W. V. Quine, *Word and Object*, 185.

4. Для того, чтобы подкрепить свое утверждение (1), Стросон цитирует работу Куайна «Mathematical Logic» (с. 218); теперь можно было бы процитировать и самого Куайна в поддержку утверждений, весьма напоминающих (1) и (2), содержащихся в его работах «Слово и объект» и «Корни референции». Однако вне зависимости от того факта, что Куайн отказывает-

ся принимать выводы Стросона, между их позициями сохраняется важное различие. Дело в том, что Куайн, как правило, полагает, что утверждения (1) и (2) являются истинными, тогда как Стросон стремится показать, что они являются необходимыми. Меня в данном случае интересует только тезис о необходимости этих утверждений, хотя я и испытываю серьезные сомнения по поводу того, что утверждения (1) и (2) сообщают что-то важное и истинное по поводу усвоения языка.

5. P. F. Strawson, *Individuals*, 200.

6. P. F. Strawson, «Singular Terms, Ontology and Identity», 447.

7. W. V. Quine, *Word and Object*, 102.

8. В «Индивидах» Стросон вновь подвергает приписываемый им Куайну тезис о возможности устранения единичных терминов из языка, однако не использует при этом аргумент относительно обучения, который я и критикую.

9. Эта тема снова разбирается в статье 11. В статье 8 моей работы «Essays on Action and Events» я обсуждаю вопрос о том, обладают ли объекты концептуальным приоритетом по отношению к событиям.

10. А. Тарский, «Понятие истины в языках дедуктивных наук», пер. с польского В. Л. Васюкова, *Философия и логика Львовско-Варшавской школы*. М.: РОССПЭН, 1999, с. 19–156.

11. Многие, включая самого Тарского, считали, что невозможно дать определение истины даже для индикативных предложений естественного языка. Если это так, то нам следует найти какой-то иной способ, позволяющий показать, как значения предложений обусловлены их структурой. Смотри очерки 2, 4 и 9.

12. Дэвидсон здесь имеет в виду развиваемую им в данной статье идею о том, что существование конечного набора семантических примитивов является необходимым условием возможности овладения языком. По его мнению, сама возможность овладения языком подразумевает, что путем освоения какого-то конечного словаря выражений языка и конечного числа правил, задающих способы обозначения и связи между этими выражениями, мы оказываемся в состоянии конструировать и понимать в принципе бесконечное множество предложений этого языка. — *Прим. пер.*

13. W. V. Quine, *Mathematical Logic*, § 4.

14. А. Тарский, «Понятие истины в языках дедуктивных наук», пер. с польского В. Л. Васюкова, *Философия и логика Львовско-Варшавской школы*. М.: РОССПЭН, 1999, с. 23.

15. А. Тарский, «Понятие истины в языках дедуктивных наук», пер. с польского В. Л. Васюкова, *Философия и логика Львовско-Варшавской школы*. М.: РОССПЭН, 1999, с. 27.

16. W. V. Quine, *From a Logical Point of View*, 144.

17. W. V. Quine, *Word and Object*, 144. [У Дэвидсона речь идет о парах выражений «cat» и «cattle» и «can» и «canary» соответственно. — *Прим. пер.*]

18. А. Тарский, «Понятие истины в языках дедуктивных наук», пер. с польского В. Л. Васюкова, *Философия и логика Львовско-Варшавской школы*. М.: РОССПЭН, 1999, с. 25.

19. Питер Гич настаивал, как в «Ментальных актах», так и в других своих работах, на том, что цитата «должна считаться *описанием* выражения в терминах его частей» (Geach P., *Mental Acts*, 83). Он, однако же, не объясняет, как можно приписать цитате структуру описания.

Более подробное обсуждение проблемы цитирования см. в очерке 6.

20. I. Scheffler, «An Inscriptional Approach to Indirect Discourse» и *The Anatomy of Inquiry*.

21. R. Carnap, *Meaning and Necessity*.

22. A. Church, «On Carnap's Analysis of Statements of Assertion and Belief».

23. I. Scheffler, *The Anatomy of Inquiry*, 101. Курсив принадлежит Дэвидсону. — *Прим. пер.*

24. По поводу косвенной речи см. статью 7.

25. W. V. Quine, *Word and Object*, 215, 216.

26. См.: G. Frege, «On Sense and Reference».

27. A. Church, «A Formulation of the Logic of Sense and Denotation».

2. ИСТИНА И ЗНАЧЕНИЕ

Перевод Н. Н. Перцовой.

1. Более ранний вариант этой статьи был прочитан в качестве доклада на заседании Восточной секции Американской ассоциации философов в декабре 1966 г., а основные темы ее были сформулированы в неопубликованной работе, доложенной на заседании Тихоокеанской секции Американской ассоциации философов в 1953 г. Настоящий вариант существенно опирается на соображения Джона Уоллеса, с которым я обсуждаю рассматриваемые проблемы начиная с 1962 г.

2. В других своих работах я утверждал, что существование конечного набора семантических примитивов является необходимым условием возможности овладения языком; см.: D. Davidson, «Theories of meaning and learnable languages», *Proceedings of the 1964 International Congress for Logic. Methodology and Philosophy of Science*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1965, p. 383–394.

3. Структурное описание выражения представляет это выражение в форме последовательности элементов, взятых из фиксированного конечного списка (например, списка слов или букв).

4. Суть данного утверждения сформулирована самим Фреге. Вероятно, стоит отметить, что это утверждение не опирается на какую бы то ни было идентификацию сущностей, к которым отсылают предложения.

5. Может показаться, что Чёрч в своей статье (A. Church, «A formulation of the logic of sense and denotation», *Structure, Method and Meaning: Essays in Honor of H. M. Sheffer*, ed. Henie, Kallen and Langer. New York: Liberal Arts Press, 1951, p. 3–24) предложил семантическую теорию, в которой необходимо использовать значения как особого рода сущности. Однако это не так: логические построения Чёрча в области значения и денотации следует понимать как оперирование над значениями, которые не соотносятся с выс-

казываниями естественного языка и потому, конечно же, эти построения нельзя относить к теориям значения в том смысле, какое мы придаем этому термину.

6. Интересные положения, касающиеся роли семантики в лингвистике, содержатся в работе Н. Хомского: N. Chomsky, «Topics in the theory of generative grammar», *Current Trends in Linguistics*, ed. by Th. A. Sebeok, vol. III. The Hague, 1966. В этой статье Хомский (1) подчеркивает центральную роль семантики в лингвистической теории, (2) указывает на превосходство трансформационной грамматики над грамматикой непосредственных составляющих, в частности, в том отношении, что НС-грамматика, будучи адекватным способом описания синтаксической структуры предложений (по крайней мере) некоторых естественных языков, непригодна для описания семантической информации, (3) пространно комментирует «довольно-таки примитивное состояние», в котором находятся семантические понятия, и отмечает, что понятие семантической интерпретации «все еще не поддается глубокому анализу».

7. Конечно же, при предположении, что экстенсионал этих предикатов ограничен предложениями языка L.

8. A. Tarski, «The concept of truth in formalized languages» *Logic, Semantics, Metamathematics.* Oxford, 1956, p. 152–278.

9. Однако для подтверждения правомерности такого наименования можно процитировать Куайна: *«Значение* слова может быть определено заданием условий истинности и ложности для контекстов, содержащих это слово» (W. V. Quine, *Truth by Convention.* – Первое издание – в 1936 г., переиздано в книге «The Wavs of Paradox». N. Y., 1966.) Поскольку определение истины задает истинностные значения всех предложений объектного языка (соотносимых с предложениями на метаязыке), оно тем самым задает смыслы всех слов и предложений языка. А это служит оправданием используемого мной термина «теория значения».

10. Приведем один пример. Очевидно, что способность теории выводить утверждения типа «Snow is white» истинно тогда и только тогда, когда снег является белым» относится к достоинствам этой теории. Однако разработать механизм, осуществляющий вывод этого и подобных утверждений, – задача далеко не тривиальная. По крайней мере мне неизвестны теории, для которых задача такого рода была бы успешно решена.

11. Обычно критики не обращают внимания на важное условие, содержащееся в этом абзаце. Дело в том, что (S) не может входить в состав любой достаточно простой теории, которая также задавала бы точные условия истинности для высказываний «Это снег» и «Это белое». (См. ниже рассмотрение индексальных выражений.) [Примечание добавлено в 1982 году. – *Прим. ред.*]

12. Этот параграф представляет собой путаницу. Он должен говорить о том, что предложения теории представляют собой обобщения из эмпирических данных, относящихся к носителям языка, и, следовательно, должны быть не просто истинными, но иметь форму законов. По предположению, (S) не является законом, так как оно не содержит контрфактические

высказывания соответствующего вида. Также важно, что свидетельство для принятия (относительно времени и носителя языка) условий истинности для высказываний «Это снег» зависит от каузальной связи между согласием с предложением носителя языка и предъявлением снега. См. статью 12. [Примечание добавлено в 1982 году. — *Прим. ред.*]

13 Этот набросок, касающийся вопроса о том, каким образом следует проверять семантическую теорию для иностранного языка, основывается на мыслях Куайна, высказанных во второй главе его книги «Слово и объект» (1960).

14. Насколько мне известно, вопрос о применении формальных истинностных определений к естественному языку обсуждался очень мало. Однако ставилась более общая проблема — возможность применения формальной семантики к естественному языку, и ряд лингвистов поддержали такой подход; см., например, статьи И. Бар-Хиллела и Э. Бета в сборнике «The Philosophy of Rudolph Carnap», ed. by P. A. Schilpp. La Salle, Ill, 1963, а также Y. Bar-Hillel, «Logical syntax and semantics», *Language*, 30, p. 230–237.

15. Tarsky, ibid., 165.

16. Ibid., 267.

17. Сближение трансформационной грамматики и семантической теории, использующей понятие выполнимости, о котором я здесь говорил, сильно продвинулось в результате недавних изменений в концепции трансформационной грамматики, предложенных Хомским в статье, на которую я ссылаюсь выше (прим. 6).

18. Интересны замечания, которые делает по этому поводу Куайн в своей книге «Methods of Logic», N. Y., 1950, § 8.

19. Библиография, отвечающая современному состоянию вопроса а также обсуждение его см. в: A. N. Prior, *Past, Present and Future.* Oxford, 1967.

20. Подобный подход более чем тесно связан с подходом к местоимениям и истинности, предложенным Остином в статье 1950 г., перепечатанной в книге «Philosophical Papers», Oxford, 1961 (см. с. 89–90).

21. Эти замечания очевидным образом связаны с идеей Куайна о том, что «окказиональные предложения» (то есть предложения, содержащие личные или указательные местоимения) должны играть центральную роль при создании руководств по переводу.

22. Попытки решения этой проблемы содержатся в эссе 6–10 «Эссе о действиях и событиях» и в статьях 6–8 из этой книги. В статьях 3, 4, 9 и 10 см. дополнительные соображения по этому вопросу, ссылка на некоторый прогресс в этой области находится в первой части статьи 9.

3. ИСТИННО ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАКТАМ

Перевод Т. А. Дмитриева, А. А. Веретенникова.

1. Джон Остин и Питер Ф. Стросон, симпозиум по проблеме «истины». Вышеприведенные цитаты, первая из которых принадлежит Остину, а вто-

рая – Стросону, заимствованы со страниц 115 и 129 сборника, содержащего материалы этого симпозиума.

2. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages».

3. G. Frege, «On Sense and Reference». По поводу этого аргумента см. мою статью «Истина и значение» в данном сборнике.

4. F. P. Ramsey, «Facts and Propositions», 143.

5. См. примечание 3 выше и примечание 3 из моей статьи «Истина и значение». По поводу дальнейшего обсуждения данного аргумента, и ряда удивительных его применений, см.: J. Wallace, «Propositional Attitudes and Identity».

6. Это также отметил и Стросон. См.: P. F. Strawson, «Truth. A Reconsideration of Austin's Views».

7. См. R. Cartwright, «Propositions».

8. P. F. Strawson, «Truth», 129–130.

9. Выражение, заменяющее «*p*», должно содержать «*u*» и «*t*» как свободные переменные, если *s* не содержит указательных элементов.

10. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 187, 188.

11. Эти объекты (satisfiers) у Тарского, не функции, а бесконечные последовательности. Не стоит отсылать читателя, ищущего точности и более глубокого понимания к «Понятию истины в формальных языках».

12. W. Sellars, «Truth and 'Correspondence'», 29.

13. Больше об этом подходе к косвенной речи см. в статье 7.

14. P. F. Strawson, «Truth», 129.

4. СЕМАНТИКА ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

Перевод М. В. Лебедева.

1. См. примечание 14 к статье 2.

2. A. Tarski, «Concept of Truth on Formalized Languages».

3. Условия истинности не следует отождествлять со значениями; в лучшем случае мы можем сказать, что когда мы задаем условия истинности для предложения, мы задаем его значение. Но и это требование нуждается в прояснении. Некоторые необходимые пояснения см. в статьях 9 и 12 (Прим. 1982 года).

4. О важных возможностях сделать это условие точным см.: С. Крипке «Существует ли проблема подстановочной квантификации?» (S. Kripke, «Is There a Problem about Substitutional Quantification?») (Прим. 1982 г.).

5. См.: J. Wallace, «Nonstandard Theories of Truth».

6. См., например, заметки Хомского о семантике – «Вопросы теории порождающей грамматики».

7. Дальнейшее обсуждение принципов, направляющих перевод, см. в статьях 2, 9–11, 13, 14. Есть некоторые различия между методом радикального перевода Куайна и методом, который предлагаю я: см. статью 16.

8. С тех пор, как это было написано, многое изменилось: лингвисты признали и эти проблемы, и многие другие. Лингвисты же побудили фи-

лософов заниматься вопросами, которые они ранее не замечали. (Прим. 1982 г.)

9. Развитие этой темы см.: G. Harman, «Logical Form».

10. N. Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*, 24.

11. Ibid., 22.

5. В ЗАЩИТУ КОНВЕНЦИИ Т

Перевод А. А. Веретенникова.

1. F. P. Ramsey, «Facts and Propositions», 143.

2. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 187, 188.

3. A. Tarski, «The Semantic Conception of Truth».

4. A. Tarski, «Truth and Proof».

5. A. Tarski, «The Semantic Conception of Truth», 345. – А. Тарский, «Семантическая концепция истины», *Аналитическая философия: становление и развитие (антология)*. М.: 1998, с. 95. – *Прим. перев.*

6. Ibid., 345. – Ук. соч., с. 96. – *Прим. перев.*

7. В дальнейшем я видоизменяю это заявление.

8, См. J. Wallace, «On the Frame of Reference» и «Convention T and Substitutional Quantification»; также L. Tharp, «Truth, Quantification, and Abstract Objects». Хотя Крипке критикует некоторые аргументы Уоллиса и Тарпа, он согласен с заключением, что в языке с нормальной выразительной силой, по крайней мере некоторые из кванторов должны сопровождаться семантикой того типа, для которого создан критерий выполнимости Тарского. См.: S. Kripke, «Is There a Problem about Substitutional Quantification?». [Примечание добавлено в 1982 г.]

9. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 199.

10. Несмотря на то, что общий вывод из этих заметок может претендовать на истинность, сами по себе они довольно небрежны. В частности, я не рассмотрел языки, обладающие и подстановочными, и онтическими (ontic) кванторами. [Примечание добавлено в 1982 г.]

11. См. статью 3.

12. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 164.

13. Поучительный пример может быть обнаружен у Куайна. См.: W. V. Quine, «On an Application of Tarski's Theory of Truth».

14. См. статьи 13 и 14.

15. Я обязан этой интуицией Джону Уоллесу.

16. Изменения и уточнения этого тезиса см. в статьях 9–12.

17. Этот момент развивается в статьях 15 и 16.

6. ЦИТАТА

Перевод А. З. Черняка.

1. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 159–162.

2. W. V. Quine, *Mathematical Logic*, Ch. 4.

3. A. Church, *Introduction to Mathematical Logic*, Ch. 8.

4. Пример взят из: J. R. Ross, «Metalinguistic Anaphora», 273.

5. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 159.

6. A. Church, *Introduction to Mathematical Logic*, 61–62. [А. Чёрч, *Введение в математическую логику*, I. М., 1960. Термин «meaning», за которым в тексте перевода Чёрча закреплен термин «содержание», в этой цитате заменен на более современный вариант «значение». — *Прим. ред.*]

7. Q. V. Quine, *From a Logical Point of View*, 140. Ср.: Quine, *Methods of Logic*, 38 и *Word and Object*, 143; а также: B. Mates, *Elementary Logic*, 24.

8. Альберта — провинция Канады. — *Прим. ред.*

9. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages». 160.

10. См. статью 1.

11. H. Reichenbach, *Elements of Symbolic Logic*, 335. Рейхенбах говорит и другие вещи, указывающие на другую теорию.

12. Q. V. Quine, *Mathematical Logic*, Ch. 4.

13. Дальнейшее обсуждение этого смотри в статье 7.

14. P. T. Geach, *Mental Acts*, 79 ff. Ср.: Geach, «Quotation and Quantification», 205–209.

15. Мы написали «упала-в-обморок», чтобы сохранить видимость функции этого выражения в разбое как единого слова, поскольку в исходном примере в английском то, что следует за «Alice», имеет вид единичного слова («swooned»). — *Прим. перев.*

16. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 160.

17. Q. V. Quine, *Word and Object*, 212.

18. В оригинале — «в английском языке». — *Прим. перев.*

19. См. статью 2.

7. О МЕСТОИМЕНИИ «ЧТО»

Перевод А. З. Черняка.

1. «On Saying That». — *Прим. перев.*

2. Из: H. Jackson, *The Eighteen-Nineties*, 73.

3. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages». Смотри статьи 2, 4 и 5.

4. Больше о защите понятия логической формы, основанном на теории истины, см.: *Essays on Actions and Events*, 137–146.

5. См. статьи 1 и 6 [этого сборника].

6. W. V. Quine, *Word and Object*, Ch. 6. Здесь и далее цифры в кавычках указывают на страницы этой книги.

7. R. Carnap, *The Logical Syntax of Language*, 248. То же самое было предложено П. Т. Гичем в работе «Mental Acts».

8. Этим соображением я обязан А. Чёрчу («On Carnap's Analysis of Statements of Assertion and Belief»).

9. В оригинале — «английскому(ий)». — *Прим. перев.*

10. G. Frege, «On Sense and Reference»; A. Church, «A Formulation of the Logic of Sense and Denotation». См. статью 1.

11. Идея подхода, ограниченного двумя семантическими уровнями, и по существу фрегеанского, была предложена М. Даммитом в: M. Dummett, *Frege: Philosophy of Language*, Ch. 9.

12. Мой вариант применения инструкции перевода к теории истинности отличается от варианта Куайна. Дальнейшую разработку этой и связанной с ней тем см. в статьях 2, 11 и 16.

13. B. Mates, «Synonymity». Пример Чёрча.

14. A. Church, «Intensional Isomorphism and Identity of Belief»; W. Sellars, «Putnam on Synonymity and Belief».

15. I. Scheffler, «An Inscriptional Approach to Indirect Quotation».

16. Строго говоря, глагол «сказал» здесь анализируется как трехместный предикат, истинный относительно говорящего (Галилея), высказывания говорящего («Eppur si muove») и высказывания характеристики («Земля вертится»). С точки зрения семантики, этот предикат является базовым. Тот факт, что неформальный парафраз предиката ссылается на отношение сходства между содержаниями высказываний, не задействует никаких интенциональных сущностей или семантики. Кое-кто относился к этому как к своего рода мошенничеству, но это — осознанная и принципиальная политика. Обсуждение различения между вопросами логической формы (которые представляют первостепенную важность) и анализом индивидуальных предикатов см. в статье 2. Также заслуживает упоминания то, что радикальный перевод в случае, если он успешен, предоставляет адекватное понятие синонимии между высказываниями. См. конец статьи 12. [Примечание добавлено в 1982.]

17. J. A. H. Murray et al. (eds.), *The Oxford English Dictionary*, 253. Ср.: C. T. Onions, *An Advanced English Syntax*, 154–156. Я впервые узнал, что «that» в таких контекстах вышло из эксплицитного указания из: J. Hintikka, *Knowledge and Belief*, 13. Хинтикка замечает, что сходное развитие имело место в немецком и финском. Я обязан примечанием на оксфордский словарь английского языка Эрику Стицелю.

18. Я считаю, что теория истины для языка, содержащего указательные термины, должна применяться строго к высказываниям, а не к предложениям, иначе она будет трактовать истинность как отношение между предложениями, говорящими и моментами времени. Смотри статьи 2 и 4.

8. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАКЛОНЕНИЯ И ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ

Перевод М. В. Лебедева.

1. См. в статьях 2, 4, и 9–12 аргументацию в пользу этого утверждения, а также критический анализ возражений.

2. Конференция, на которой была зачитана эта статья, первоначаль-

но посвящалась празднованию шестидесятого дня рождения Бар-Хиллела. Его смерть стала большой потерей для философии и многих его друзей.

3. M. Dummett. *Frege: Philosophy of Language.* 315, 316.

4. J. L. Austin. *How to Do Things with Words.* 22.

5. M. Dummett. *Frege: Philosophy of Language.* 311.

6. Там же, 301, 302.

7. Там же, 302.

8. Дальнейшее обсуждение взглядов Даммита на конвенцию см. в статье 18.

9. Даммит показал мне всю важность этого замечания.

10. D. Lewis, «General Semantics», 208.

11. H. Bohnert, «The Semiotic Status of Commands».

12. Да — возможно, никакие вопросительные формы не трактовались бы в качестве обладающих той же семантикой, которая соответствует утвердительному изъявительному наклонению, или, в другом случае, как обладающие той же семантикой, как и чередование утверждений с отрицанием утверждений изъявительного наклонения. Вопросам можно приписать ту же семантику, что и открытым предложениям в изъявительном наклонении. Здесь, как везде в этой статье, мои замечания о вопросительном наклонении отрывочны. Как указал мне Яакко Хинтикка, моя общая программа для грамматических наклонений может сталкиваться со значительными проблемами, когда делается серьезная попытка применить ее к вопросительному наклонению.

13. P. T. Geach, *Assertion*, 458.

14. M. Dummett, *Frege: Philosophy of Language*, 316.

15. P. T. Geach, *Assertion*, 458.

16. J. L. Austin. *How to Do Things with Words*, 32.

17. См. статью 7.

9. РАДИКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Перевод М. В. Лебедева.

1. Термин «радикальная интерпретация», как предполагается, подразумевает сильное родство с термином Куайна «радикальный перевод». Родство — не идентичность, однако, «интерпретация» вместо «перевода» отмечает одно из различий: в первом мы делаем большее ударение на эксплицитно семантический момент.

2. См. статью 1.

3. Идея о руководстве по переводу (с соответствующими эмпирическими ограничениями) как о средстве для исследования проблем философии языка принадлежит, конечно, Куайну. Эта идея вдохновила многие из моих размышлений о настоящем предмете, и мое предложение во многих отношениях очень близко идеям Куайна. Так как Куайн не намеревался отвечать на вопросы, поставленные мной, требование, что метод перевода не адек-

ватен в качестве решения проблемы радикальной интерпретации, — это не критика взглядов Куайна.

4. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages».

5. Обсуждение того, как теория истины может обращаться с указательными местоимениями и как должна быть изменена в этом случае конвенция T, см. в работе: S. Weinstein, «Truth and Demonstratives».

6. См.: J. Wallace, «On the Frame of Reference», а также статью 3.

7. T. Burge, «Reference and Proper Names».

8. G. Harman, «Moral Relativism Defended».

9. J. Wallace, «Positive, Comparative, Superlative».

10. См. статьи 7 и 8.

11. См. статьи 6—10 из моей книги «Очерки о действиях и событиях».

12. См. статью 6.

13. M. Dummett, *Frege: Philosophy of Language.*

14. Больше о получении «более подходящей» теории см. в статьях 10—12.

15. Читатели, оценившие степень сходства между этой теорией и теорией радикального перевода Куайна в главе 2 «Слова и объекта», также заметят и различия между ними: семантическая нагруженность моего метода вынуждает квантификационную структуру языка быть интерпретированной, — что, вероятно не оставляет места для неопределенности логической формы. Понятие стимульного значения не играет никакой роли в моем методе, но его место занято референцией к объективным характеристикам мира, которые изменяются в сочетании с изменениями в установках по отношению к истинности предложений; принцип доверия, который Куайн подчеркивает только в связи с идентификацией (чистых) связок между предложениями, я применяю как всеобщий.

16. См. статью 12.

10. МНЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ

Перевод М. В. Лебедева.

1. Я использую выражение «говорит, что» в данном контексте в том смысле, что субъект говорит (в конкретном случае), что идет снег, если и только если он произносит слова, которые (в этом случае) означают, что идет снег. Таким образом, субъект может сказать, что идет снег, даже тогда, когда *сам он* не подразумевает или утверждает, что идет снег.

2. F. P. Ramsey, «Truth and Probability».

3. R. Jeffrey, *The Logic of Decision.*

4. О продвижении в развитии такой теории см. мою статью «К объединенной теории значения и действия» («Toward a Unified Theory of Meaning and Action»).

5. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages».

6. См. статьи 5 и 9.

7. Другие изменения см. в статье 11, и особенно в статье Дэвида Льюиса «Радикальная интерпретация» (D. Lewis, «Radical Interpretation»).

8. См. статью 11 в «Очерках о действиях и событиях».

11. МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ

Перевод М. В. Лебедева.

1. В оригинале, разумеется, английского. Подобные же замены и далее в тексте. — *Прим. пер.*
2. N. Malcolm, «Thoughtless Brutes».
3. W. Sellars, «Conceptual Change», 82.
4. F. P. Ramsey, «Truth and Probability».
5. См. статьи 9 и 10.
6. Взаимосвязь тории решений радикальной интерпретации исследуется также в статье 10, в статье 12 «Очерков о мышлении и действии», а также в статье «К объединенной теории значения и действия».
7. A. Church, «On Carnap's Analysis of Statements of Assertion and Belief».
8. Бессоюзно. — *Прим. пер.*
9. См. статью 7.
10. W. V. Quine, *Word and Object*, 219.
11. Перевод Т. Гнедич. — *Прим. пер.*

12. ОТВЕТ ФОСТЕРУ

Перевод А. З. Черняка.

1. Например, статьи 1 и 2.
2. Доклад, упомянутый в статье 9.

13. ОБ ИДЕЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Перевод А. Л. Золкина.

1. B. L. Whorf, «The Punctual and Segmentative Aspects of Verbs in Hopi — Language, Thought and Reality», *Selected Writings*. Cambridge, Mass., 1956.
2. Т. Кун, *Структура научных революций*. М.: Наука, 1977.
3. W. V. Quine, «Speaking of Objects», *Ontological Relativity and Other Essays*. N. Y., 1969, p. 24.
4. Т. Кун, *Структура научных революций*, 162.
5. P. Strawson, *The Bounds of Sense*. L., 1966, p. 15.
6. П. Фейерабенд, *Избранные труды по методологии науки*, пер. с англ. А. Л. Никифорова. М.: Прогресс, 1986, с. 92.
7. B. L. Whorf, «The Punctual and Segmentative Aspects of Verbs in Hopi», 55.
8. T. S. Kuhn, «Reflections on My Critics», *Criticism and the Growth of Knowledge*, eds. I. Lakatos and A. Musgrave. Cambridge, 1970, p. 266–267.

9. P. Feyerabend, «Problems of Empiricism», *Beyond the Edge of Certainty.* New Jersey, 1965, p. 124.

10. Quine W. V. «Two Dogmas of Empiricism», *From a Logical Point of View.* Cambridge, 1961, p. 42.

11. Ibid.

12. Ibid., 44.

13. W. V. Quine, «Speaking of Objects», 1.

14. Ibid., 25.

15. Ibid., 24.

16. W. V. Quine, «Two Dogmas of Empiricism», 46.

17. См. статью 3.

18. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», *Logic, Semantics, Metamathematics.* Oxford, 1956.

14. МЕТОД ИСТИНЫ В МЕТАФИЗИКЕ

Перевод А. Л. Никифорова.

1. W. V. O. Quine, Word and Object, Camb., Mass.: MIT Press, 1960, p. 161.

2. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», *Logic, Semantics, and Metamathematics.* Oxford: Clarendon Press, 1956.

3. См.: S. Weinstein, «Truth and Demonstratives» *Nous,* 8 (1974), 179—184.

4. Ср.: R. Camap, *Meaning and Necessity.* Chicago: University of Chicago Press, 1947 (enlarged edition, 1956), ch. 5.

5. A. Tarski, «The Concept of Truth in Formalized Languages», 160.

6. A. A. Church, «Formulation of the Logic of Sense and Denotation», *Structure, Method, and Meaning: Essays in Honour of H. M. Sheffler,* eds. P. Handley, H. M. Kallen, S. K. Langer. N. Y.: Liberal Arts Press, 1951.

7. См.: D. Davidson, *Actions and Events.* Oxford University Press, 1980, essay 7.

15. РЕАЛЬНОСТЬ БЕЗ РЕФЕРЕНЦИИ

Перевод Б. М. Скуратова.

1. G. Harman, «Meaning and Semantics».

2. H. Field, «Tarski's Theory of Truth».

3. K. P. Parsons, «Ambiguity and the Theory of Truth»; H. Putnam, «The Meaning of 'Meaning'»; P. Benacerraf, «Mathematical Truth».

4. Последние два предложения, очевидно, имеют в виду ситуацию, когда плита или камень падает или может упасть на кого-нибудь. — *Прим. пер.*

5. См. статьи 9, 11.

6. См.: J. Wallace, «Only in the Context of a Sentence do Words Have Any Meaning».

16. НЕПОСТИЖИМОСТЬ РЕФЕРЕНЦИИ

Перевод Б. М. Скуратова.

1. По поводу дальнейших деталей и ответов на различные трудности см. J. Wallace, «Only in the Context of a Sentence do Words Have Any Meaning». См. также две статьи Хартри Филда (Hartry Field), «Quine and the Correspondence Theory» и «Conventionalism and Instrumentalism in Semantics». На данную работу большое влияние оказали статьи Уоллеса и Филда.

2. R. Jeffrey, review to *Logic, Methodology, and the Philosophy of Science.*

3. Чтобы этот пример правильно работал, каждый предмет должен не только иметь тень, но и быть ею.

4. H. Field, «Quine and the Correspondence Theory», 206.

5. Иногда Куайн пишет «фоновая теория», иногда «язык». См.: «Ontological Relativity», 48, 54, 55, 67.

6. Ibid., 48.

7. Ibid., 51.

8. W. V. Quine, «On Empirically Equivalent Systems of the World», 328.

9. W. V. Quine, «Ontological Relativity», 51.

10. См. две статьи Х. Филда, упомянутые выше в примечании 1.

11. Я попытался доказать свою правоту в статье 15. Кроме того, см.: J. Wallace, «Only in the Context of a Sentence do Words Have Any Meaning».

12. W. V. Quine, «Ontological Relativity», 50.

13. Эту мысль мы подчеркнули в статье 10 и 11.

17. ЧТО ОЗНАЧАЮТ МЕТАФОРЫ

Пер. М. А. Дмитровской. Для данной публикации текст отредактирован М. Лебедевым и А. Веретенниковым.

1. Я думаю, что Макс Блэк не прав, когда говорит: «Правилами нашего языка задано, что некоторые выражения должны восприниматься как метафоры». Он признает, однако, что то, что «означает» метафора, зависит и от дополнительных факторов: намерения говорящего, тона голоса, словесного окружения и т. д.

2. Нельсон Гудмен говорит, что метафора и неопределенность отличаются главным образом тем, что «различные употребления неопределенного слова являются сосуществующими и независимыми друг от друга», в то время как в метафоре «слово, объем которого закреплен обычаем, под воздействием этого обычая прилагается к чему-либо еще». Гудмен указывает, что когда ощущение производности «двух употреблений» в метафоре исчезает, то метафорическое слово переходит в разряд неопределенных («Языки искусства», с. 71). На самом же деле достаточно часто одно употребление неопределенного слова возникает из другого (если пользоваться терминологией Гудмена), и они, таким образом, никак не могут быть равноправно сосуществующими. Основная ошибка многих авторов, вклю-

чая Гудмена, состоит в том, что они считают, будто в метафорическом слове сосуществуют два «употребления», и в этом оно сходно с неопределенными словами.

3. На этой же игре слов основана и следующая прямо за репликой Нестора реплика Улисса. Весь отрывок выглядит следующим образом (далее курсив наш. — *М. Д.*):

Agamemnon. Most dearly wellcome to the Greeks, sweet lady.
Nestor. Our *general* dolh salute you with a kiss.
Ullysses. Yet is the kindness but particular
Twere better she were kissed *in general.*
(Shakespeare W. The History of Troilus and Cressida. N. Y., etc., 1977, p. 141)

[*Агамемнон.* Приветствую прекрасную Крессиду!
Нестор. Тебя наш *царь* поцеловать желает.
Улисс. Но он пока один тебя целует,
А мы бы рады *все* поцеловать.
(У. Шекспир, «Троил и Крессида», пер. с англ. Т. Гнедич, *Полн. собр. соч. в 8 тт.*, т. 5. М., 1959, с. 424.)] — *Прим. пер.*

4. Эта теория принадлежит главным образом П. Хенле.

5. См.: Данте Алигьери, *Божественная комедия*, Рай, песнь XXII. — *Прим. пер.*

6. Д. Донн, *Стихотворения*, пер. с англ. Б. Томашевского. Л., 1973, с. 55. — *Прим. пер.*

7. Дж. Миддлтон Марри говорит о метафоре как о «сжатом сравнении». Макс Блэк указывает на то, что сходная точка зрения встречается у Александра Бейна.

8. M. Black, «Metaphor», 35.

9. N. Goodman, *Languages of Art*, 77—78.

10. Т. С. Элиот, *Бесплодная земля. Избранные стихотворения и поэмы*, пер. с англ. А. Сергеева. М.: Прогресс, 1971, с. 37. — *Прим. пер.*

11. У. Шекспир, «Антоний и Клеопатра», пер. с англ. М. Донского, *Полн. собр. соч. в 8 тт.*, т. 7. М., 1960, с. 138. — *Прим. пер.*

12. Woody Allen, «Condemned».

13. T. Cohen, «Figurative Speech and Figurative Acts», 671. Так как отрицание метафоры практически всегда само является потенциальной метафорой, то среди таких потенциальных метафор можно обнаружить столько же абсурда, сколько и среди обычных метафор.

14. R. R. Verbridge and N. S. McCarrell, «Metaphoric Comprehension: Studies in Reminding and Resemdling», 499.

15. M. Black, «Metaphor», 44—45.

16. Ibid., 46.

17. O. Barfield, «Poetic Diction and Legal Fiction», 55.

18. Стэнли Кавелл отмечает тот факт, что большинство попыток перефразировать метафору заканчивается словами «и так далее», ссылаясь при этом на замечание Эмпсона о том, что метафоры «полны смысла». Однако моя и Кавелла точки зрения на бесконечность парафразы различны. Кавелл

считает, что отмеченное свойство отличает метафору от («возможно, не всякого») буквального текста. Я же придерживаюсь мнения, что бесконечный характер парафразы объясняется тем, что она стремится выразить то, к чему привлекает наше внимание метафора, а этому нельзя поставить предел. Я бы утверждал это же самое по отношению к любому употреблению языка.

19. Во II части «Философских исследований» Л. Витгенштейн рассуждает о том, что процесс видения с необходимостью включает в себя ментальную, интерпретаторскую деятельность (seeing as). В качестве одного из примеров, иллюстрирующих это положение, он приводит рисунок, взятый им из книги Ястроу (Jastrow, *Facts and Fable in Psychology*). Рисунок представляет собой изображение, в котором можно попеременно видеть то утку, то кролика (a duck-rabbit). — *Прим. пер.*

18. ОБЩЕНИЕ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ

Перевод Е. В. Зиньковского.

1. D. Lewis, «Languages and Language», 7.
2. M. Dummett, «Truth».
3. M. Dummett, *Frege*. L., 1973, p. 298.
4. В данном случае неверие Даммита в то, что теория истины может служить в качестве теории значения, для меня несущественно. Вопрос здесь заключается в наличии или отсутствии той или иной конвенции, управляющей высказыванием.
5. Различие действий, которые могут служить самоцелью, и действий, служащих для достижения каких-то дальнейших целей (например, постройка дома), восходит, конечно, к Аристотелю: Nichomachean Ethics 1094a; Magna Moralia 1211b.
6. M. Black, «Meaning and Intention: An Examination of Grice's Views», 264.
7. N. Chomsky, *Problems of Knowledge and Freedom*. N. Y., 1971, p. 19.
8. Я отсылаю читателя, интересующегося связью между иллокутивной силой и грамматическим наклонением к статье 8.
9. D. Lewis, «Languages and Language», 5, 6.
10. T. Burge, «Reasoning about Reasoning».
11. См. статью 11.

БИБЛИОГРАФИЯ

Allen, Woody, 'Condemned', *New Yorker* (21 November 1977), 59.

Arendt, H., *The Life of the Mind.* Harcourt, Brace, Jovanovich, New York (1978).

Austin, J. L., and Strawson, P. F., 'Symposium on «Truth»', in *Proceedings of the Aristotelian Society,* Supplementary Volume 24 (1950).

Austin, J. L., *How to Do Things with Words.* Harvard University Press, Cambridge, Mass. (1962).

Bain, A., *English Composition and Rhetoric.* D. Appleton, New York (1867).

Bar-Hillel, Y., 'Logical Syntax and Semantics', *Language,* 30 (1954), 230–237.

Bar-Hillel, Y., 'Remarks on Carnap's Logical Syntax of Language', in *The Philosophy of Rudolf Carnap,* ed. P. A. Schilpp. Open Court, La Salle, Illinois (1963).

Bar-Hillel, Y., *Language and Information.* Addison-Wesley, Jerusalem (1964).

Barfield, O., 'Poetic Diction and Legal Fiction', in *The Importance of Language,* ed. M. Black. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1962).

Benacerraf, P., 'Mathematical Truth', *Journal of Philosophy,* 70 (1973), 661–679.

Beth, E. W., 'Carnap's Views on the Advantages of Constructed Systems Over Natural Languages in the Philosophy of Science', in *The Philosophy of Rudolf Carnap,* ed. P. A. Schilpp. Open Court, La Salle, Illinois (1963).

Black, M., 'The Semantic Definition of Truth', *Analysis,* 8 (1948), 49–63.

Black, M., 'Metaphor', in *Models and Metaphors.* Cornell University Press, Ithaca, New York, (1962).

Black, M., 'Meaning and Intention: An Examination of Grice's Views', in *New Literary History,* 4 (1972–1973), 257–279.

Black, M., 'How Metaphors Work: A Reply to Donald Davidson', *Critical Inquiry*, 6 (1979), 131–133.

Bohnert, H., The Semiotic Status of Commands', *Philosophy of Science*, 12 (1945), 302–15.

Burge, T., 'Reference and Proper Names', *Journal of Philosophy*, 70 (1973), 425–439.

Burge, T., 'Reasoning about Reasoning', *Philosophia*, 8 (1979), 651–656.

Carnap, R., *The Logical Syntax of Language*. Routledge and Kegan Paul, London (1937).

Carnap, R., *Meaning and Necessity*. University of Chicago Press, Chicago. First edition (1947), enlarged edition (1956).

Cartwright, R., 'Propositions', in *Analytical Philosophy*, ed. R. J. Butler. Blackwell, Oxford (1962).

Cavell, S., 'Aesthetic Problems of Modern Philosophy', in *Must We Mean What We Say?* Charles Scribner, New York (1969).

Chomsky, N., *Aspects of the Theory of Syntax*. M. I. T. Press, Cambridge, Mass. (1965).

Chomsky, N., 'Topics in the Theory of Generative Grammar', in *Current Trends in Linguistics*, 3, ed. T. A. Sebeok. The Hague, Mouton (1966).

Chomsky, N., *Problems of Knowledge and Freedom*. Pantheon, New York (1971).

Church, A., 'On Carnap's Analysis of Statements of Assertion and Belief', *Analysis*, 10 (1950), 97–99.

Church, A., 'A Formulation of the Logic of Sense and Denotation', in *Structure, Method and Meaning: Essays in Honour of H. M. Sheffer*, ed. P. Henle, H. M. Kallen and S. K. Langer. Liberal Arts Press, New York (1951).

Church, A., 'Intensional Isomorphism and Identity of Belief', *Philosophical Studies*, 5 (1954), 65–73.

Church, A., *Introduction to Mathematical Logic*, Vol. 1. Princeton University Press, Princeton (1956).

Cohen, T., 'Figurative Speech and Figurative Acts', *Journal of Philosophy*, 72 (1975), 669–684.

Davidson, D., *Essays on Actions and Events*. Clarendon Press, Oxford (1980).

Davidson, D., 'Toward a Unified Theory of Meaning and Action', in *Grazer Philosophische Studien*, 2 (1980), 1–12.

Dummett, M., *Frege: Philosophy of Language*. Duckworth, London (1973).

Dummett, M., 'Truth', in *Truth and Other Enigmas*. Duckworth, London (1978).

Eliot, T. S., *Selected Poems*. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York (1967).

Empson, W., *Some Versions of Pastoral*. Chatto and Windus, London (1935).

Feyerabend, P., 'Explanation, Reduction, and Empiricism', in *Scientific Explanation, Space and Time: Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, 3. University of Minnesota Press, Minneapolis (1962).

Feyerabend, P., 'Problems of Empiricism', in *Beyond the Edge of Certainty*, ed. R. G. Colodny. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1965).

Field, H., 'Tarski's Theory of Truth', *Journal of Philosophy*, 69 (1972), 347–375.

Field, H., 'Quine and the Correspondence Theory', *Philosophical Review*, 83 (1974), 200–228.

Field, H., 'Conventionalism and Instrumentalism in Semantics', *Nous*, 9 (1975), 375–406.

Foster, J., 'Meaning and Truth Theory', in *Truth and Meaning*, ed. G. Evans and J. McDowell. Clarendon Press, Oxford (1976).

Frege, G., 'On Sense and Reference', in *Philosophical Writings*, ed. M. Black and P. T. Geach. Blackwell, Oxford (1962), 56–78.

Geach, P. T., *Mental Acts*. Routledge and Kegan Paul, London (1957).

Geach, P. T., 'Assertion', *Philosophical Review*, 74 (1965), 449–465.

Geach, P. T., 'Quotation and Quantification', in *Logic Matters*. Blackwell, Oxford (1972).

Goodman, N., *Languages of Art*. Bobbs-Merrill, Indianapolis (1968).

Goodman, N., 'Metaphor as Moonlighting', *Critical Inquiry*, 6 (1979), 125–130.

Harman, G., 'Logical Form', in *Foundations of Language*, 9 (1972), 38–65.

Harman, G., 'Meaning and Semantics', in *Semantics and Philosophy*, ed. M. I. Munitz, and P. K. Unger. New York University press, New York (1974).

Harman, G., 'Moral Relativism Defended', *Philosophical Review*, 84 (1975), 3–22.

Henle, P., 'Metaphor', in *Language, Thought and Culture*, ed. P. Henle. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan (1958).

Hintikka, J., *Knowledge and Belief*. Cornell University Press, Ithaca (1962).

Jackson, H., *The Eighteen-Nineties*. Alfred Knopf, New York (1922).

Jeffrey, R., review of *Logic, Methodology, and the Philosophy of Science*, ed. E. Nagel, P. Suppes, and A. Tarski, *Journal of Philosophy*, 61 (1964), 79–88.

Jeffrey, R., *The Logic of Decision*. McGraw-Hill, New York (1965).

Kripke, S., 'Is There a Problem about Substitutional Quantification?', in *Truth and Meaning*, ed. G. Evans and J. McDowell. Clarendon Press, Oxford (1976).

Kuhn, T. S., *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press, Chicago (1962).

Kuhn, T. S., 'Reflections on my Critics', in *Criticism and the Growth of Knowledge*, ed. I. Lakatos and A. Musgrave. Cambridge University Press, Cambridge, England (1970).

Lewis, D., 'General Semantics', in *Semantics for Natural Language*, ed. D. Davidson and G. Harman. D. Reidel, Dordrecht-Holland (1972).

Lewis, D., 'Radical Interpretation', *Synthese*, 27 (1974), 331–334.

Lewis, D., 'Languages and Language', in *Language, Mind and Knowledge*, ed. K. Gunderson. University of Minnesota Press, Minneapolis (1975).

McCarrell, N. S., and Verbrugge, R. R., 'Metaphoric Comprehension: Studies in Reminding and Resembling', *Cognitive Psychology*, 9 (1977), 494–533.

Malcolm, N., 'Thoughtless Brutes', in *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, (1972–1973).

Mates, B., 'Synonymity', in *Semantics and the Philosophy of Language*, ed. L. Linsky. University of Illinois Press, Urbana, Illinois (1952).

Mates, B., *Elementary Logic.* Clarendon Press, Oxford (1965).

Murray, J. Middleton, *Countries of the Mind.* Collins, London (1922).

Onions, C. T., *An Advanced English Syntax.* Routledge and Kegan Paul, London (1965).

The Oxford English Dictionary, ed. J. A. H. Murray et al. Clarendon Press, Oxford (1933).

Parsons, K. P., 'Ambiguity and the Theory of Truth', *Nous*, 1 (1973), 379–394.

Prior, A. N., *Past, Present and Future.* Clarendon Press, Oxford (1967).

Putnam, H., 'The Meaning of «Meaning»', in *Mind, Language and Reality.* Cambridge University Press, Cambridge, England (1975).

Quine, W. V., *Mathematical Logic.* Harvard University Press, Cambridge, Mass. (1940).

Quine, W. V., *Methods of Logic.* Holt, New York (1950).

Quine, W. V., *Word and Object.* M. I. T. Press, Cambridge, Mass. (1960).

Quine, W. V., *From a Logical Point of View.* Second edition, Harvard University Press, Cambridge, Mass. (1961).

Quine, W. V., 'Two Dogmas of Empiricism', in *From a Logical Point of View.* Second edition, Harvard University Press, Cambridge, Mass. (1961).

Quine, W. V., 'On an Application of Tarski's Theory of Truth', in *Selected Logic Papers.* Random House, New York (1966).

Quine, W. V., 'Truth by Convention', in *The Ways of Paradox.* Random House, New York (1966), 70–99.

Quine, W. V., 'Ontological Relativity', in *Ontological Relativity and Other Essays.* Columbia University Press, New York (1969).

Quine, W. V., 'Reply to «On Saying That»', in *Words and Objections*, ed. D. Davidson and G. Harman. D. Reidel, Dordrecht-Holland (1969).

Quine, W. V., 'Speaking of Objects', in *Ontological Relativity and Other Essays*. Columbia University Press, New York (1969).
Quine, W. V., 'Comments on «Belief and the Basis of Meaning»', *Synthese*, 27 (1974), 325–329.
Quine, W. V., *The Roots of Reference*. Open Court, La Salle, Illinois (1974).
Quine, W. V., 'On Empirically Equivalent Systems of the World', *Erkenntnis*, 9 (1975), 313–328.
Quine, W. V., 'Comments on «Moods and Performances»', in *Meaning and Use*, ed. A. Margalit. D. Reidel, Dordrecht-Holland (1979).
Quine, W. V., 'On the Very Idea of a Third Dogma', in *Theories and Things*. Harvard University Press, Cambridge, Mass. (1981).
Quine, W. V., 'Replies to the Eleven Essays', *Southwestern Journal of Philosophy*, 10 (1981).
Ramsey, F. P., 'Facts and Propositions', reprinted in *Foundations of Mathematics*. Humanities Press, New York (1950).
Ramsey, F. P., 'Truth and Probability', reprinted in *Foundations of Mathematics*. Humanities Press, New York (1950).
Reichenbach, H., *Elements of Symbolic Logic*. Macmillan, London (1947).
Ross, J. R., 'Metalinguistic Anaphora', *Linguistic Inquiry*, 1 (1970). 273.
Scheffler, I., 'An Inscriptional Approach to Indirect Quotation', *Analysis*, 10 (1954), 83–90.
Scheffler, I., *The Anatomy of Inquiry*. Alfred Knopf, New York (1963).
Sellars, W., 'Putnam on Synonymity and Belief', *Analysis*, 15 (1955), 117–120.
Sellars, W., Truth and «Correspondence»', *Journal of Philosophy*, 59 (1962), 29–56.
Sellars, W., 'Conceptual Change', in *Conceptual Change*, ed. G. Pearce and P. Maynard. D. Reidel, Dordrecht-Holland (1973).
Strawson, P. F., and Austin, J. L., 'Symposium on «Truth»', in *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 24 (1950).

Strawson, P. F., 'Singular Terms, Ontology and Identity', *Mind*, 65 (1956), 433–454.

Strawson, P. F., *Individuals*. Methuen, London (1959).

Strawson, P. F., Truth: A Reconsideration of Austin's Views', *Philosophical Quarterly*, 15 (1965), 289–301.

Strawson, P. F., *The Bounds of Sense*. Methuen, London (1966).

Tarski, A., 'The Semantic Conception of Truth', *Philosophy and Phenomenological Research*, 4 (1944), 341–375.

Tarski, A., 'The Concept of Truth in Formalized Languages', in *Logic, Semantics, Metamathematics*. Clarendon Press, Oxford (1956).

Tarski, A., 'Truth and Proof', *Scientific American*, 220 (1967), 63–77.

Tharp, L., 'Truth, Quantification, and Abstract Objects', *Nous*, 5 (1971), 363–372.

Thomson, J. F., 'Truth-bearers and the Trouble about Propositions', *Journal of Philosophy*, 66 (1969), 737–747.

Verbrugge, R. R., and McCarrell, N. S., 'Metaphoric Comprehension: Studies in Reminding and Resembling', *Cognitive Psychology*, 9 (1977), 494–533.

Wallace, J., *Philosophical Grammar*, Ph. D. Thesis, Stanford University (1964).

Wallace, J., 'Prepositional Attitudes and Identity', *Journal of Philosophy*, 66 (1969), 145–152.

Wallace, J., 'On the Frame of Reference', *Synthese*, 22 (1970), 61–94.

Wallace, J., 'Convention T and Substitutional Quantification', *Nous*, 5 (1971), 199–211.

Wallace, J., 'Positive, Comparative, Superlative', *Journal of Philosophy*, 69 (1972), 773–782.

Wallace, J., 'Nonstandard Theories of Truth', in *The Logic of Grammar*, ed. D. Davidson and G. Harman. Dickenson Publishing Co., Belmont, California (1975).

Wallace, J., 'Only in the Context of a Sentence do Words Have Any Meaning', *Midwest Studies in Philosophy, 2: Studies in the Philosophy of Language*, ed. P. A. French, T. E. Uehling, Jr., and H. K. Wettstein. University of Minnesota Press, Morris (1977).

Weinstein, S., 'Truth and Demonstratives', *Nous*, 8 (1974), 179–184.

Whorf, B. L., 'The Punctual and Segmentative Aspects of Verbs in Hopi', in *Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*, ed. J. B. Carroll. The Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. (1956).

Wilson, N. L., 'Substances Without Substrata', *Review of Metaphysics*, 12 (1959), 521–539.

М. В. ЛЕБЕДЕВ

ЯЗЫКОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОНАЛЬДА ДЭВИДСОНА

Основная тема книги «Исследования истины и интерпретации» — концепция значения языкового выражения (предложения) как условий его истинности. Интерес к значению Дэвидсон унаследовал от Куайна, непосредственным учеником и продолжателем дела которого он является (различные исследователи отмечают влияния не только Куайна, но и К. И. Льюиса, Фрэнка Рамсея, Канта и, конечно, позднего Витгенштейна). Дэвидсон неоднократно подчеркивает это — например, так:

> Понимание этих идей, которыми мы в значительной степени обязаны Куайну, представляет одно из немногих реальных крупных достижений в изучении языка. Я сформулировал эти вопросы своим собственным способом, но я думаю, что различия между нами скорее в акцентах, чем по существу. Многое из того, что написал Куайн, по понятным причинам сосредотачивается на разрушении неуместной уверенности в полноценности или ясности таких понятий, как аналитичность, синонимия и значение. Я попытался подчеркнуть положительные стороны... Я принял то, что я считаю преимущественно куайновой картиной проблемы интерпретации, и та стратегия для ее решения, которую я хочу предложить, очевидно, во многом восходит к нему.
>
> («Мнения и основания значения»)

Подчеркнуть положительные стороны понятия значения Дэвидсон пытается, обратившись к понятию истины — точнее, к семантической теории истины Тарского. Неполная

адекватность ее применения в данной ситуации признана самим Дэвидсоном во введении к этой книге — в силу ряда причин, которые мы рассмотрим ниже. Однако это не меняет сути дела, которая состоит в следующем.

Поскольку каждому предложению языка, в котором рассматривается истина, соответствует некоторое Т-предложение (предложение, определяющее условия истинности), то полная совокупность Т-предложений точно устанавливает экстенсионал (среди предложений) любого предиката, играющего роль слов «является истинным» — такова формулировка исходной интуиции Дэвидсона. Эта мысль уже вошла в классику англоязычной философии, хотя до сих пор вызывает дебаты. Привлечение понятия истины для объяснения значения отсылает нас прежде всего к классическому вопросу философии языка: в чем состоит значение языкового выражения — в однозначном соответствии обозначаемому объекту (или событию, или положению дел), обусловленном природой самого этого объекта и/или выражения, или же в договоренности между людьми о том, что таким-то выражением мы будем называть такой-то объект или положение дел?

С точки зрения большинства философов-аналитиков, включая Дэвидсона, значения конвенциональны. Перефразируя Кронекера, можно сказать, что только такие слова, как *OM* или *hashem*, придумал Господь Бог, остальное — дело рук человеческих. Традиционный спор между «натуралистами» и «конвенционалистами» восходит еще к диалогу Платона «Кратил». Натуралист Кратил утверждает, что в словах отражается «естественное сходство» между формой слова и изображаемой им вещью; возражающий ему конвенционалист Гермоген, напротив, говорит, что «какое имя кто чему-либо установил, такое и будет правильным»[1]. Так каково же соотношение между языковым значением как условиями истинности — в частности, непосредственного соответствия действительности («аристотелевой истинности», как ее называл Тарский) — и как договоренностью между людь-

1. Платон, «Кратил», *Сочинения*, т. 1. М., 1968, с. 416.

ми — членами языкового сообщества, то есть языковой конвенцией?

Дэвидсон в полной мере осознает эту проблему и уделяет ей большое внимание. Ее трактовка связана у него еще с одним унаследованным от Куайна аспектом — холистическим подходом. Поскольку работа Дэвидсона в философии языка сфокусирована на развитии такого подхода к теории значения, который был бы адекватен естественному языку, то его представление о семантической теории развито на основе холистической концепции лингвистического понимания: теория значения для языка является теорией, которая позволит нам дать для *каждого* действительного и потенциального предложения рассматриваемого языка теорему, которая определяет то, что каждое предложение означает. На этом основании теория значения для немецкого языка, данная по-русски, должна произвести теоремы, которые объяснят немецкое предложение «Schnee ist weiss»[2] как означающее, что снег является белым. Наша теория языка должна быть такой систематической теорией конечной структуры языка, которая позволяет понять любое и каждое его предложение. Поскольку число потенциальных предложений на любом естественном языке бесконечно, теория значения для языка, который употребляется существами с конечными возможностями — такими, как мы сами, — должна быть теорией, которая может производить бесконечное количество теорем (одну для каждого предложения) на основе конечного множества аксиом. Действительно, любой язык, который может быть усвоен нами, должен обладать такой структурой, которая пригодна к такому подходу. Следовательно, обязательство к холизму также влечет за собой обязательство к композициональному подходу, согласно которому значения предложений зависят от значений их частей, то есть от значений слов, которые формируют конечную основу языка и из которых состоят предложения. Композициональность не ставит под угрозу холизм, так как она не только следует из него, но и,

2. «Снег бел» (*нем.*).

согласно подходу Дэвидсона, индивидуальные слова могут рассматриваться как значащие только постольку, поскольку они играют роль в целых предложениях. Таким образом, в центре теории значения Дэвидсона находятся предложения, а не слова.

Таким образом, теория значения Дэвидсона объясняет значения выражений холистически через взаимосвязь выражений в пределах структуры языка в целом. Следовательно, теория значения того вида, который предлагает Дэвидсон, будет бесполезна для понятия значения как некоторой дискретной единицы (будь то детерминированное ментальное состояние или абстрактная идея), к которой имеют референцию значащие выражения. Одно из важных следствий этого состоит в том, что теоремы, которые произведены в соответствии с такой теорией значения, не могут быть поняты как теоремы, которые связывают выражения и их значения. Вместо этого такие теоремы будут связывать одни предложения с другими: они будут связывать предложения на языке, к которому применяется теория значения («объектный язык») с предложениями на языке, в котором изложена сама теория («метаязык») таким способом, что последний эффективно «дает значения» или переводит первый. Можно было бы предположить, что способ получать теоремы этого вида состоит в том, чтобы принять общую форму теорем «*s* значит, что *p*», где *s* называет предложение объектного языка, а *p* является предложением метаязыка. Но такой путь приводит к кругу, поскольку здесь уже содержалось бы исходное допущение о том, что мы можем дать формальную теорию соединительной связки «значит, что» — а это не только маловероятно, но, кроме того, это *уже* использует понятие значения, хотя именно это понятие (по крайней мере, поскольку оно применяется в пределах конкретного языка) теория и стремится объяснить. Именно в этом пункте Дэвидсон обращается к понятию истины, так как истина, по его мнению, — более прозрачное (или, скорее, менее непрозрачное) понятие, чем понятие значения. Более того, определение условий, при которых предложение является истинным —

это также и способ определения значения предложения. Таким образом, вместо «*s* значит, что *p*», Дэвидсон предлагает в качестве модели для теорем адекватной теории значения схему

s истинно, если и только если *p*.

Использование эквивалентности формы «если и только если» здесь чрезвычайно важно, поскольку гарантирует истинностно-функциональную эквивалентность предложений *s* и *p*, то есть это гарантирует, что они будут иметь идентичные истинностные значения. Теоремы теории значения Дэвидсона для немецкого языка по-русски будут, таким образом, иметь форму предложений типа «„Schnee ist weiss“ истинно, если и только если снег бел».

Одно из больших преимуществ такого подхода состоит в том, что оно позволяет Дэвидсону соединить его теорию значения с уже существующим подходом к теории истины, а именно с подходом, развитым Тарским. Теория истины Тарского была первоначально построена не как общая теория природы истины, а скорее как способ определения предиката истины, применяемого в пределах формального языка. Тарский поставил цель определить предикат «истинный», используя в определениях только ясно приемлемые термины и избегая других недоопределенных семантических терминов. Требование, согласно которому адекватная теория истины должна быть способна дать Т-предложение для каждого предложения объектного языка, составляет сущность «конвенции Т» Тарского — требования, которое ясно соответствует холистическому требованию, выдвигаемому Дэвидсоном для адекватной теории значения. И так же, как теория значения Дэвидсона трактует значения целых предложений как зависящие от компонентов этих предложений, так и теория истины Тарского определяет истину *рекурсивно* в том, что она трактует истинность сложных выражений как зависящую от истинности более примитивных выражений. Формальная структура, которую здесь строит Тарский, идентична той, которую Дэвидсон приводит как основание для

теории значения: теория истины Тарского может давать для каждого предложения объектного языка Т-предложение, которое определяет значение каждого предложения путем определения условий, при которых оно является истинным. Дэвидсон показывает, каким образом выполнение конвенции Т может быть рассмотрено как основное требование адекватной теории значения.

Итак, теория значения представляется Дэвидсону не чем иным, как метаязыком для объектного языка L. Определение истины, сформулированное в этом языке, дает необходимые и достаточные условия, при которых истинно любое предложение объектного языка, а дать условия истинности и есть установить значение предложения. С такой точки зрения знать семантическое понятие истины для языка значит знать, что такое для предложения — любого предложения — быть истинным, а это равносильно пониманию языка.

По мнению Дэвидсона, семантическая теория должна дать нам значение каждого «независимо значащего выражения». Последние идентифицированы, как мы видели, с предложениями, а не с терминами — словами или морфемами, как это происходит в лингвистической семантике, более прямо в этом отношении следующей обыденному здравому смыслу. Что касается других языковых единиц — не предложений, а отдельных выражений, которые могут быть частями предложения, то они, согласно Дэвидсону, имеют значение только в составе предложения и относительно них теория значения должна дать ответ на вопрос: как зависят от их значений значения предложений. Слова признаются значащими выражениями постольку, поскольку предложения состоят из слов, а значение слов заключается в том систематическом вкладе, который они вносят в значения тех предложений, частями которых они являются. Семантика Дэвидсона не сообщает нам, например, что означает слово «хороший», но анализирует такие предложения как «Она — хорошая актриса», чтобы отличить их от «Она — англоговорящая актриса» таким способом, чтобы однозначно дать понять, излагая их логическую форму, почему из второго предложения следует «Она

говорит по-английски», но первое предложение не влечет за собой «Она хороша». Задача Дэвидсона — дать теорию логической или грамматической роли частей определенных типов предложений, которая будет совместима (consistent) с отношениями логического следования между такими предложениями и с тем, что известно о роли этих же частей предложений или слов в других типах предложений. Это то же самое, что показать, как значения таких предложений зависят от их структуры, поэтому задача раскрытия логической формы — центральная задача семантики. Поскольку каждый язык имеет конечное число элементов, слов и типов фраз, Дэвидсон надеется, используя связи этих повторяющихся элементов — как в аксиомах, так и в теоремах — дать значение бесконечно большого числа предложений, которые содержатся в языке.

Дэвидсон стремится дать такую же строгую экстенсиональную теорию, как и Тарский. Аксиомы определения истины Тарского содержат только такие выражения как «класс», «последовательность», «предложение», «структурное описание». Для того, чтобы развивать подобную строгую теорию значения, мы должны сначала, по Дэвидсону, обнаружить некоторое свойство «Т», характеризующее те предложения, которые «означают что *p*» (на конкретном языке *L*) и затем обнаружить некоторые неинтенсиональные отношения между предложениями с таким свойством и непосредственно самим *p*. Мы можем сделать это, заменяя «если и только если» на «означает» и «истинный» на «Т». Таким образом мы приходим к предложениям истины (Т-предложениям) Тарского — «„Снег бел“ является истинным предложением (в данном случае русского языка), если и только если снег бел».

Основные технические положения семантики Дэвидсона заключаются в следующем. Согласно Тарскому, удовлетворительная теория истины для языка *L* должна полагать, что для каждого предложения *s* из *L* существует теорема формы «*s* истинно, если и только если *p*», где «*s*» заменяется описанием *s*, а «*p*» — самим *s* (или, предположим, переводом *s* на тот язык, совокупность всех тривиально истинных предложений

которого единственным образом определяет объем понятия истинного для его носителя, если L не является таковым) («В защиту конвенции Т»). Отвлекаясь от собственно определения истинности, такая теория (конвенция Т) воплощает нашу интуицию о том, как должно использоваться понятие истины применительно к языковым выражениям. Тогда требование к семантической теории языка L состоит в следующем: без обращения к каким-либо дальнейшим семантическим понятиям теория накладывает на предикат «является T» ограничения, достаточные для получения из схемы T всех предложений, в которых s замещено структурным описанием предложения, а p — самим предложением. Список Т-предложений составляет полное описание значений объектного языка («Истина и значение»). Отсюда мы, по мнению Дэвидсона, можем воспользоваться формальными ресурсами теории Тарского, включая методы доказательства Т-предложений.

Весьма сильное требование Дэвидсона здесь состоит в том, что мы должны в деталях представлять себе, как истинностные значения предложений языка связаны с их структурами, почему из одних предложений следуют другие и как слова выполняют свои функции посредством отношений к предметам в мире («Ответ Фостеру»). Эти или аналогичные проблемы имели для Тарского иную форму. Тарский считал, что строгое определение истины возможно только для формальных языков, а применение его теории к естественным языкам невозможно потому, что

1. это привело бы к семантическим парадоксам;
2. естественные языки содержат нередуцируемые индексальные выражения, не указывающие те объекты, которые выполняли бы их. Иными словами, в его теории есть место для выражений «Книга украдена» или «Все книги украдены», но не для «Эта книга была украдена», поскольку у нас не будет никакого способа оценки истинности последнего предложения, если мы не присутствовали при его произнесении и, следовательно, не

знаем, о какой именно книге идет речь и на какое именно время указывает слово «была».

Однако Дэвидсон полагает, что семантика, основанная на определении истины Тарского, возможна и для естественных языков. Самые общие возражения против использования семантической концепции истины для построения теории значения касаются прежде всего того, что такая теория должна использовать в качестве базисного термина, то есть такого термина, посредством которого определяются и вводятся все остальные, понятие истины, тогда как в самой теории Тарского это понятие определяется через понятие выполнимости. Но последнее сводится к еще более онтологически несвободному понятию денотации, поскольку то, что объект выполняет предложение (предикатная функция) означает в обычном понимании только то, что в данном случае в предложении определенная его часть, представленная субъектным термином, указывает на данный объект и ни на какой другой, когда предложение истинно. Между тем понятие денотации само нуждается в адекватном определении, и Дэвидсон считает, что теорию значения нельзя на нем основывать. Здесь и привлекается дополнительный критерий — структура языка, межконцептуальные связи, которые также должен знать говорящий, вместе с Т-схемой для этого языка, чтобы понимать значения его предложений: референциальная часть вклада в условия истинности предложений L, таким образом, объясняется через наличие концептуальной системы.

Дэвидсон выходит из затруднения, излагая Т-предложение таким образом:

> «Эта книга была украдена» истинно (в том естественном языке, которому принадлежит это предложение) как (потенциально) произнесенное индивидом p в момент времени t, если и только если книга, демонстрируемая p в t, украдена до t.

Это положение характерно для семантики Дэвидсона. С левой стороны, как у Тарского, находится предложение

языка, подвергаемого семантическому исследованию, а с правой стороны — предложение на языке теории[3]. Язык теории не содержит кавычек и не отсылает к «значениям», «смыслам» или подобным интенсиональным выражениям; в то же время он проясняет логическую форму исходного анализируемого предложения и таким образом вносит вклад в наше понимание его значения. Это метод Тарского, но с изменениями: анализируемое предложение рассмотрено как речевой акт, а язык теории все еще содержит индексальные выражения — «книга, демонстрируемая *p*». Мы можем понимать такие предложения только в том случае, если мы понимаем значение их составных частей. Но если части предложений имеют значение только в силу их «систематического вклада в значение предложения, в которое они входят», то мы получаем порочный круг: чтобы понимать предложение, мы должны знать значение его частей, а чтобы понимать части, мы должны понять предложение. Это соображение приводит Дэвидсона к защите холизма: согласно его точке зрения, мы можем дать значение любого предложения (или слова) языка, только давая значение *каждого* предложения (и слова) этого языка. Тогда никакое отдельное Т-предложение не дает нам значение предложения, к которому оно относится, — скорее оно, наряду с его доказательством (посредством логической классификации элементов предложения), сообщает нам нечто, что мы должны знать, чтобы понять ту роль, которую этот вид предложения играет в нашем языке.

Здесь возникают, как минимум, три вопроса.

1. Почему обычный носитель языка вполне успешно понимает его выражения, хотя у него вовсе нет полной теории своего языка? Дэвидсон, конечно, не утверждает, что носитель языка знает такую теорию, но требование знания Т-конвенции предъявляется для ограниченного

3. В нашем примере и тот, и другой языки — русский язык, или, точнее — некоторые (возможно, разные) фрагменты русского языка, но это не должен быть ни обязательно один и тот же язык, ни обязательно разные языки.

фрагмента языка, а у носителя языка нет теории и для такого фрагмента тоже.

2. Каким образом мы можем знать, является ли некоторое используемое в теории Т-предложение самостоятельно истинным?

3. И наконец, самое главное: даже если мы знаем, что наше Т-предложение истинно, каким образом мы можем знать, что оно дает нам значение выражения, о котором оно заключает?

Дэвидсон утверждает, что он не выдвигает теорию того, как мы обычно изучаем или интерпретируем наш собственный или другой естественный язык. Его теория не содержит никакой отсылки к психологии или даже к эпистемологии: для него вопрос состоит в том, какая теория *могла бы* сообщить нам, что когда некий Курт (носитель, соответственно, немецкого языка) «при правильных условиях» произносит слова «Es regnet», то он сказал, что идет дождь, и каким образом мы могли бы знать эту теорию («Радикальная интерпретация»).

Однако когда эти требования выполнены, то есть когда мы все это знаем, тогда мы должны быть способны интерпретировать утверждение Курта в некотором таком смысле, в котором сам он не может его интерпретировать: мы будем знать, например, что по-русски его слова означают «Идет дождь». Наша интерпретация обнаружила бы такие признаки значения этого предложения, которых Курт не знает. Это возражение особенно ясно в случае с предложениями убеждения, влекущими за собой известные семантические проблемы: если Курт говорит: «Ich glaube das es regnet»[4], то наша интерпретация с помощью Т-предложения может нарушить истинность анализируемого предложения.

Второй вопрос — каким образом мы можем знать, что наше Т-предложение истинно — возникает из того обстоятельства, что когда теория истины используется как теория значения, то мы больше не можем, как Тарский, просто постулировать,

4. «Я полагаю, что идет дождь» (*нем.*).

что предложение языка теории должно быть «адекватным переводом» анализируемого предложения: ведь если мы принимаем, что «является адекватным переводом *s*» эквивалентно «имеет то же самое значение, что и *s*», то одинаковость значения — это именно то, для объяснения чего мы пытаемся использовать теорию истины. Предположим, что наше анализируемое предложение — «La neige est blanche»[5], а предложение языка теории — «Снег бел»; тогда получаем: «„La neige est blanche" истинно по-французски, если и только если снег бел». Какие основания у нас могут быть для такого заключения? Исходная позиция Дэвидсона — это позиция исследователя, создающего теорию значения для своего собственного языка — одного, и притом уже известного языка, а не для иностранного языка, не для многих языков. Однако, отвечая на критику, он должен был дать объяснение того, как, рассматривая предложения иностранного языка, мы можем знать, что Т-предложения, которые подтверждают теорию, сами являются истинными, и каким образом нам может быть известно, что это именно Т-предложения, а не какие-либо еще. Дэвидсон отвечает (в духе Куайна, но не используя его эпистемологию), что суть вопроса в том, при каких условиях Курт произносит «Es regnet». Если он говорит это, когда идет дождь, то для нас очевидно следующее:

> — что Курт принадлежит к немецкому языковому сообществу,
> — что Курт считает «Es regnet» истинным в тот момент, когда он это произносит
> — и что около Курта в это время идет дождь.

В совокупности это составляет свидетельство очевидности (evidence) для Т-предложения

> «Es regnet» истинно в немецком языке, когда оно произносится индивидом *x* во время *t*, если и только если около *x* в момент *t* идет дождь.

5. «Снег бел» (*фр.*).

Таким образом, Дэвидсон принимает (но только в этом отношении) традиционный дескриптивный подход к языку, восходящий к тем лингвистам, на которых ориентировался Куайн, — Л. Блумфилду и Э. Сепиру. Но здесь все еще можно возразить, что Курт может ошибаться, лгать и т. п., и не только Курт, но и любой другой член языкового сообщества, в чьих словах мы ищем поддержки свидетельству очевидности вида «Фриц принадлежит к немецкому языковому сообществу и говорит, что...» Контраргумент Дэвидсона таков: если мы не можем интерпретировать речевое поведение индивида как раскрытие множества мнений — в значительной степени последовательного и истинного по нашим собственным стандартам, — то у нас нет никаких причин считать этого индивида рациональным, обладающим мнениями или что-то говорящим — то есть владеющим языком, в отличие от способности издавать звуки.

Наконец, третий вопрос: действительно ли Т-предложение автоматически дает значение анализируемого предложения? Дэвидсон признает, что если бы семантически важно было только истинностное значение, то Т-предложение для «Снег бел» могло бы также сообщать, что «Снег бел» истинно только в том случае, если трава зелена или если $2 + 2 = 4$. Причина этого в том, что, согласно экстенсиональной логике, любое истинное предложение может быть заменено на любое другое истинное предложение без изменения истинностного значения сложного предложения, в которое оно входит. Это не представляло проблемы для Тарского, так как он постулировал, что предложение подлежит переводу. Поскольку Дэвидсон не может просто постулировать это, то ему остается лишь надеяться, что удовлетворительная теория истины не будет порождать такие аномальные предложения. Но эта надежда еще не позволяет нам идентифицировать Т-предложения с предложениями, которые дают значение. Список истинных Т-предложений для объектного языка должен давать теорию значения как теорию того, что означает каждое предложение объектного языка. Однако этого не происходит, если мы предположим, что условия истинно-

ти могли быть определены произвольно. В принципе можно было бы назначить любое условие истинности для любого истинного предложения объектного языка по неадекватному критерию; можно назначить одно единственное истинное условие истинности (например, снег бел) к каждому истинному предложению объектного языка, и одно единственное ложное условие истинности (например, снег фиолетов) к каждому ложному предложению объектного языка. Следовательно, теория должна располагать некоторыми дополнительными ресурсами для того, чтобы не повлечь за собой подобное абсурдное последствие.

Для того, чтобы понять, почему этого не следовало бы из концепции значения как условий истинности, необходимо иметь в виду, что реальные естественные языки содержат бесконечное множество предложений. Очевидно, что дать полный список Т-предложений для таких языков невозможно, потому что мы не могли бы знать такой бесконечный список. Тогда мы должны признать, что то, что мы (в действительности) знаем — это не что иное, как конечный список слов и способов их сочетаний. Этот список таков, что мы можем определять значения бесконечного множества предложений, состоящих из сочетаний слов. Другими словами, то, что мы в действительности знаем — это аксиоматическая теория с конечным числом аксиом, где все возможные Т-предложения языка потенциально выступают как теоремы. Таким образом, наше понимание предложений нашего языка состоит в нашем формировании теории, дающей Т-предложения.

Поскольку такая теория способна дать Т-предложения для всех предложений языка, она может рассматриваться как ошибочная в отношении некоторой реальности, но тем не менее быть релевантной для любого конечного множества предложений, удовлетворяющих некоторым очевидным свидетельствам. Во всяком случае, теория, которая пытается объяснять значения предложений их условиями истинности в пределах репрезентационистского подхода, опираясь на референцию и правильность предикатов, будет работать

только в той мере, в какой язык является экстенсиональным.

Итак, по мнению Дэвидсона, его теория находится в рамках семантической теории истины Тарского — или, по крайней мере, очень хорошо согласуется с ней. В самом деле, предъявленное Дэвидсоном требование выводимости Т-предложений формально совпадает с требованием, сформулированным Тарским для понятия истины в формализованных языках. Вместе с тем, как мы видели, в теории значения как условий истинности Т-предложения призваны играть роль, в некотором смысле противоположную той роли, которую они играют в теории истины Тарского[6]. Цель, которую ставил перед собой Тарский, заключалась в том, чтобы дать «содержательно адекватное и формально корректное» определение истины для формализованных языков. И, напротив, в семантике Дэвидсона предикат «истинно» рассматривается как исходное, а не определяемое в рамках теории понятие. Если Тарский анализирует концепцию истины, обращаясь (в Т-конвенции) к теории значения, то Дэвидсон рассматривает концепцию истины как исходное примитивное понятие и пытается, «детализируя структуру истины, добраться до значения». Предполагая, что понятие истинности уже задано предварительно, Дэвидсон использует построение Тарского для формулировки требований, предъявляемых к теории значения: если дано предложение *S* языка *L*, то утверждение о его значении вида «*S* значит *P*» может быть заменено соответствующим Т-утверждением.

Тем не менее, язык, о котором идет речь у Тарского, — формальный, а не естественный язык, и, соответственно, его употребление регулируется ad hoc'овой, а не тотальной, то есть заключенной между всеми членами языкового сообщества конвенцией. Последняя очевидным образом отличается по форме от первой: она не была заключена явно, не ограничена во времени и т. д. Поэтому наш исходный вопрос —

6. Это замечание, высказанное рядом критиков, в итоге было признано самим Дэвидсоном. См. Введение к настоящей книге.

каким образом теория значения как условий истинности может сочетаться с представлениями о конвенциональности значения – теперь, после относительно подробного рассмотрения семантики Дэвидсона, может быть переформулирован так: что происходит с конвенцией Т при использовании определения истины в духе Тарского для определения значения в естественном языке?

Если семантическая теория должна иметь форму теории, определяющей условия истинности для анализируемых предложений языка, то знание семантического понятия истины для языка *L* означает знание того, что означает для предложения *s* языка *L* быть истинным. С точки зрения Дэвидсона, если мы характеризуем предложения только по их форме, как это делает Тарский, то возможно, используя методы Тарского, определить истину, не используя семантических концепций. Вместо точного определения истина характеризуется конечным множеством аксиом. Теория значения при этом рассматривается в качестве системы утверждений, предназначенных ответить на вопросы об отношениях друг к другу языковых выражений, тогда как теория истины выступает в качестве теории референции, то есть системы утверждений, предназначенных ответить на вопросы об отношениях языковых выражений к миру. Это приводит нас к выводу о том, что теория значения как условий истинности основана на репрезентационистском подходе к анализу языковых значений: согласно подобным представлениям, мы имеем дело с языковыми выражениями таким образом, что они указывают нам на определенные объекты, положения дел, события, факты, ситуации, принадлежащие к реальности, отличной от реальности самих предложений и систем предложений. Проблема того, как применять концепцию истины Тарского к естественному языку, оказывается зависимой от обеспечения анализа основной логической формы выражений естественного языка, который представляет их таким способом, что они подпадают под возможности полностью экстенсионального подхода, употребляющего только ресурсы квантификационной логики первого порядка. Это связано, соответ-

ственно, с двумя особенностями концепции истины Тарского: она определяет истину

> — на основе логических ресурсов, доступных в пределах квантификационной логики первого порядка;
> — экстенсионально, то есть в терминах предметов, которые выполняются выражениями — другими словами, в терминах предметов, которые удовлетворяют этим выражениям или подпадают под эти выражения, а не в терминах смыслов, описаний или других интенсиональных объектов.

Оба эти свойства представляют важные преимущества для подхода Дэвидсона, поскольку его отрицание существенной роли детерминированных значений в теории значения уже влечет обязательство к экстенсиональному подходу к языку. Однако эти же характеристики и создают дополнительные проблемы. Дэвидсон стремится применить модель Тарского как основание теории значения для естественных языков, но такие языки гораздо богаче, чем четкие формальные системы, для которых Тарский первоначально развивал свой подход. В частности, естественные языки содержат элементы, которые требуют ресурсов вне пределов логики первого порядка или какого бы то ни было экстенсионального анализа: это косвенная речь, наречные выражения, неуказательные предложения типа императивов и т. д.

Более же общая проблема здесь состоит в следующем. В то время как Тарский использует понятие сходства значения (через понятие перевода) как средство обеспечить определение истины — одно из требований конвенции Т состоит в том, что предложение с правой стороны Т-предложения должно быть переводом предложения слева, — Дэвидсон стремится использовать истину, чтобы дать теорию значения. Но в таком случае он нуждается в некотором другом способе ограничить формирование Т-предложений, чтобы гарантировать, что они действительно правильно определяют то, что означают предложения. Это — проблема того, как мы можем исключить Т-предложения формы «„Schnee ist weiss“ истин-

но, если и только если трава зелена». Так как эквивалентность «если и только если» гарантирует только то, что предложение слева будет иметь то же истинностное значение, что и предложение справа, он позволит нам делать любую замену предложений справа лишь постольку, поскольку их истинностное значение идентично таковому слева. Решение этой проблемы предполагается холистическим: Т-предложения должны рассматриваться как теоремы, произведенные в соответствии с теорией значения, которая была бы адекватна языку, рассматриваемому в целом. Но поскольку значение определенных выражений не будет независимо от значения других выражений (в силу обязательства к композициональности значения всех предложений должны быть даны на одном и том же конечном основании), то теория, которая дает проблематичные результаты относительно одного выражения, вероятно, даст проблематичные результаты и относительно других, и, в частности, также даст результаты, которые не выполняют требования конвенции Т.

Эта проблема также может быть рассмотрена как связанная и с другим важным различием между теорией истины Тарского и теорией значения Дэвидсона: теория значения для естественного языка должна быть эмпирической теорией — это теория, которая должна объяснять действительное языковое поведение, реальное использование языка людьми, а также она должна поддаваться проверке опытным путем. Удовлетворение требования, чтобы теория значения была адекватной как эмпирическая теория и чтобы она была адекватна действительному поведению говорящих на этом языке, повлечет за собой также более сильные ограничения (если таковые необходимы) на формирование Т-предложений.

Таковы роль и место истины в семантике Дэвидсона. Однако для того, чтобы окончательно понять ее, следует не забывать, что для Дэвидсона теория значения является лишь частью теории интерпретации. С другой стороны, переосмысление соотношения репрезентационизма и конвенционализма в теории значения как условий истинности позже

приводит Дэвидсона к отказу от корреспондентной теории истины в пользу когерентной (статьи, где об этом говорится, составили книгу «Субъективное, интерсубъективное, объективное», вышедшую в 2001 году), и это также происходит в рамках теории интерпретации.

Исходной точкой здесь послужило то, что теория значения Дэвидсона отталкивается от представлений Куайна о переводе, где понятие «перевод» понимается как включающее интерпретацию того, что говорится на нашем родном или другом известном мне языке, а не только на незнакомых нам иностранных языках. Как и Дэвидсон (и по аналогичным верификационистским основаниям), Куайн отклоняет идею о наличии самостоятельных фактов относительно того, что люди подразумевают. Подобно Дэвидсону, он считает, что для того, чтобы интерпретировать то, что говорят другие люди, назначая значения словам и предложениям, надо построить теорию, состоящую из множества гипотез, которые соответствовали бы физическим фактам, но не какой-то дополнительной и независимой истине нефизического рода. Заключение, к которому приходит Куайн, таково: теория, выдвигаемая, чтобы интерпретировать речевое поведение другого говорящего, будет всегда радикально недоопределена свидетельствами (если только они не ограничатся высказываниями очень простого рода). Она останется недоопределена, даже если мы будем знать все факты о физическом мире, включая факты о пространственных и временных локализациях объектов и их предрасположенности вести себя определенными способами в определенных обстоятельствах, поскольку нам всегда будут доступны альтернативные теории, которые так же хорошо объясняют эти физические факты.

Выбор между этими альтернативными теориями не может быть определен никакими физическими фактами, так как никакие факты сами по себе не могут сделать одну теорию правильной, а другие неправильными. Это относится не только к переводу текстов, порождаемых на иностранных языках, но и к интерпретации текстов, порождаемых другими гово-

рящими на родном языке интерпретатора (или просто на одном и том же языке). Последнее сводится к следующему: естественно интерпретировать использование слов и предложений другими людьми, отображая их выражения на мои собственные выражения, которые звучат или выглядят так же в сходных обстоятельствах; другими словами, естественно предположить, что другие люди используют эти выражения с тем же значением, что и я сам. Но эта гипотеза, хотя и удобна, является не единственной совместимой с физическими фактами, и, следовательно, не имеет никакого специального требования правильности. Таким образом, согласно Куайну, гипотезы перевода не просто *недоопределены* доступной нам очевидностью — они фактически *неопределены*, так как нет никакой истины, относительно которой они были бы правильны.

Куайн приходит к такому заключению, так как считает, что единственное, что может определять правильность интерпретации, — это физическая очевидность, которая может включать информацию о возбуждениях сенсорных рецепторов и о поведенческих и диспозициональных характеристиках, но никогда не может включать информацию о том, что кто-то подразумевает под своими словами, поскольку то, что они означают, может быть проявлено только физически[7]. Гипотезы, которые мы расцениваем как приемлемые, — это те гипотезы, в которых соблюдается то, что Куайн называет принципом доверия (principle of charity): везде, где возможно, мы должны интерпретировать то, что кто-то говорит, таким способом, чтобы получилось истинное — или, по крайней мере, разумное в сложившейся ситуации — высказывание. Однако для Куайна это только вопрос удобства, и интерпретации, которые нарушают этот принцип, не являются ложными по одной только этой причине.

Совершенно иной смысл придает принципу доверия Дэ-

7. См.: W. V. O. Quine, *Word and Object.* Cambridge Mass., 1960, ch.2; W. V. O. Quine, «On the Reasons for Indeterminacy of Translation» *Journal of Philosophy,* LXVII (1970); W. V. O. Quine, «Indeterminacy of Translation Again» *Journal of Philosophy,* LXXXIV (1987).

видсон: он делает его конститутивным — так, чтобы именно этот принцип использовался для того, чтобы определять правильность интерпретации. Таким образом, для Дэвидсона физические факты — не единственные детерминанты правильной интерпретации, и он может отклонять как ложные те гипотезы, которые Куайн лишь маркирует как неудобные и неестественные. Причина этого различия в том, что Дэвидсон видит цель построения психологической и семантической теории языкового поведения в объяснении того, что делает это поведение рациональным, а теории, которые приписывают людям абсурдные убеждения, терпят неудачу в этой задаче. Построение перевода того, что кто-то говорит, — для Дэвидсона только часть полной теории, которая стремится интерпретировать языковое поведение субъекта в целом (насколько оно поддается рациональной интерпретации), приписывая ему убеждения, желания, вообще интенциональные ментальные состояния. Конечно, в некоторых обстоятельствах будет уместно приписать именно иррациональные убеждения, но такое приписывание может быть законно только на таком когнитивном фоне, который делает эти убеждения и желания в некоторой степени понятными в свете тех обстоятельств, в которых они возникают и поддерживаются, или в контексте полной теории, которая делает поведение человека рациональным большую часть времени, но оставляет место для случайного провала. Именно поэтому, например, мы воспринимаем оговорки как оговорки в сравнении с реконструируемым (с учетом условий) правильным высказыванием, а не как нечто самостоятельное[8], — нам понятно, что человек «хотел сказать» — и здесь действует тот же механизм, что и в той ситуации, когда некто Курт говорит: «Es regnet», и мы, при соответствующих условиях, понимаем, что он сказал, что идет дождь («Радикальная интерпретация»). Следовательно, нужно интерпретировать мнения другого человека как (по крайней мере, главным об-

8. См.: D. Davidson, «A Nice Derangement of Epitaphs», LePore E. (ed.), *Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson.* Oxford, 1986, p. 433–447.

разом) рациональные, и соответственно понимать те предложения, которые их выражают. Это не отменяет неопределенности перевода, поскольку в некоторых обстоятельствах альтернативные интерпретации одинаково хорошо выполняют сложную задачу удовлетворения и физическим фактам, и требованиям принципа доверия.

Чтобы интерпретировать мнения и желания другого человека как в целом рациональные, надо ассимилировать эти убеждения, насколько возможно, к нашим собственным, поскольку мы очевидно считаем рациональным полагать то, что истинно, и относимся к нашим собственным мнениям как к истинным. Это требование не универсально в том отношении, что любой человек может иногда иметь ложные мнения, поскольку возможны такие обстоятельства, в которых непосредственное (и, возможно, наиболее рациональное в смежных контекстах) мнение будет ошибочным — например, из-за ограниченности свидетельств. Но в таких ситуациях каждый знает, как исправить ошибку, и если мы интерпретируем речевое поведение некоторого говорящего как рациональное, то мы тем самым признаем за ним достаточную способность к такому исправлению, проверке, обращению к смежным контекстам и т. п. Если мы вообще приписываем какие-то значения языковым выражениям, порождаемым другими людьми, то мы должны считать большинство их мнений истинными или, по крайней мере, что у этих людей в основном те же самые сенсорные полагания, что были бы у нас самих в этих обстоятельствах, и что они руководствуются в основном теми же принципами для достижения более сложных истин, что и мы.

Это означает, что Дэвидсон намного меньше учитывает неопределенность, чем Куайн. Стратегия Дэвидсона состоит в том, чтобы включить формальную структуру теории значения (структуру, которую он находит в теории истины Тарского) в более общую теорию интерпретации, основы которой он наследует от Куайна. Понятие «радикальный перевод» было введено Куайном как идеализация проекта перевода, которая покажет этот проект в его самой чистой

форме. Обычно задаче переводчика помогает предшествующее лингвистическое знание — или действительного языка, с которого должен быть переведен текст, или некоторого связанного с ним языка. Куайн рассматривает случай, в котором перевод языка должен произойти без какого бы то ни было предшествующего лингвистического знания и исключительно на основе наблюдаемого поведения говорящих на языке в конъюнкции с наблюдением основных перцептуальных возбуждений, которые вызывают это поведение. Концепция доступной поведенческой очевидности Дэвидсона шире, чем Куайна: Дэвидсон допускает, что мы можем, например, идентифицировать говорящих как имеющих позицию «считать истинным» относительно предложений, и, кроме того, отклоняет настояние Куайна на специальной роли, отводимой простым перцептуальным возбуждениям. С точки зрения Дэвидсона, можно редуцировать неопределенность и другим способом: единственный удовлетворительный способ перевода предложений другого говорящего на свой собственный язык — построение экстенсиональной аксиоматизированной теории истины в духе Тарского для этого языка другого говорящего, которая накладывает дальнейшие ограничения на то, как этот язык может быть интерпретирован. Центр интересов Дэвидсона ближе к семантике, чем Куайна (Куайн рассматривает радикальный перевод как часть прежде всего эпистемологического исследования), и в то же время Дэвидсон рассматривает теорию перевода как саму по себе недостаточную для того, чтобы гарантировать понимание языка, который мы переводим (перевод может быть на язык, который мы не понимаем), поэтому понятие «перевода» заменено в его теории понятием «интерпретации». *Радикальная интерпретация* — вопрос интерпретации лингвистического поведения говорящего «на пустом месте», не полагающейся ни на какие предшествующие знания или мнения говорящего, или значения произнесенного говорящим.

Радикальная интерпретация должна раскрыть то знание, которое требуется для того, чтобы лингвистическое пони-

мание было возможным, но она не подразумевает никаких требований о возможной реализации этого знания в сознании переводчиков. Дэвидсон, таким образом, не дает никаких обязательств относительно подразумеваемой психологической действительности того знания, которое теория интерпретации делает явным. Несколько сложнее ему соблюдать онтологическую нейтральность в отношении того, каким образом теория значения должна объяснять возможность обозначать вещи в мире и служить теорией истины. Дэвидсон решает эту проблему введением третьего члена отношения — мнений других людей, и этот ход определяет появление в его концепции когерентистской составляющей.

Основная проблема, которую радикальная интерпретация должна решить, состоит в том, что нельзя назначать значения высказываниям говорящего без того, чтобы знать, что́ он полагает, чему верит; в то же время невозможно идентифицировать мнения без того, чтобы знать то, что означают высказывания говорящего; с такой точки зрения мы должны дать и теорию мнения, и теорию значения одновременно. Требование Дэвидсона состоит в том, что мы можем достичь этого применением принципа доверия (он также упоминает его как принцип «рационального приспособления»). У Дэвидсона этот принцип, который допускает различные формулировки, часто предстает в терминах предписания оптимизировать соглашение между нами и теми, кого мы интерпретируем, то есть он рекомендует нам интерпретировать говорящих как имеющих истинные мнения (истинные с нашей точки зрения, по крайней мере) везде, где это возможно («Радикальная интерпретация»). Фактически принцип может быть рассмотрен как объединение двух понятий: холистического предположения о рациональности убеждений («когерентность») и предположения о каузальной связи убеждений — особенно перцептуальных — и предметов этих мнений («корреспонденция»)[9]. Процесс интер-

9. См.: D. Davidson, «Three Varieties of Knowledge», *Subjective, Intersubjective, Objective*. Oxford, Clarendon Press, 2001.

претации оказывается зависящим от обоих аспектов принципа:

> — приписывания мнения и назначения значения должны быть совместимы друг с другом и с общим поведением говорящего — когерентность;
> — также они должны быть совместимы со свидетельствами, предоставляемыми нашим знанием об окружении говорящего, так как именно находящиеся в мире причины мнений и должны, в самых основных случаях, быть приняты за предметы мнений — корреспонденция.

Дэвидсон пишет:

> На пути глобального скептицизма по поводу наших чувств стоит, на мой взгляд, тот факт, что мы должны в самых простых и методологически наиболее базовых случаях считать объекты убеждений причинами этих мнений. И то, какими мы, как интерпретаторы, должны их считать, и есть то, что они фактически суть. Коммуникация начинается тогда, когда совпадают причины: ваше высказывание значит то же, что и мое, если мнение о его истинности систематически каузально обусловлено одними и теми же событиями и объектами.

(Понятно, что каузальная теория значения имеет мало общего с каузальными теориями референции Крипке и Патнэма. Эти последние обращаются к причинным отношениям между именами и объектами, о которых говорящий может ничего и не знать. Возможность систематической ошибки, таким образом, увеличивается. Моя каузальная теория занята обратным, связывая причину убеждения с его объектом.)[10]

Поскольку доверие производит конкретные приписывания мнения, постольку эти приписывания всегда отменяемы (defeasible), однако сам принцип не отменяем, так как он ос-

10. D. Davidson, «A Coherence Theory of Truth and Knowledge», *Subjective, Intersubjective, Objective*. Oxford, Clarendon Press, 2001.

тается в теории Дэвидсона предпосылкой любой интерпретации вообще. Принцип доверия в этом отношении является принципом и ограничения, и предоставления возможности полной интерпретации: это больше, чем просто лишь эвристическое устройство, которое нужно использовать на начальных стадиях перевода.

Если мы считаем, что мнения говорящего, по крайней мере, в самых простых и наиболее основных случаях в значительной степени находятся в согласии с нашими собственными, а в таком случае в значительной степени истинны, то мы можем использовать наши собственные убеждения о мире как руководящие принципы к ориентации в убеждениях говорящего. И при условии, что мы можем идентифицировать простые ассерторические произнесения со стороны говорящего (то есть если мы можем идентифицировать позицию принятия за истину), взаимосвязь между мнением и значением позволяет нам использовать наши *мнения* как руководящие принципы к ориентации в *значениях* высказываний говорящего – мы получаем основание и для элементарной теории мнений, и для элементарной теории значения. Так, например, когда участник коммуникации неоднократно использует некоторую последовательность звуков в присутствии того, что мы считаем кроликом, то мы в качестве предварительной гипотезы можем интерпретировать эти звуки как высказывание о кроликах или о некотором конкретном кролике. Как только мы провели предварительное назначение значений для существенного корпуса высказываний, мы можем проверять наши назначения на дальнейшем лингвистическом поведении этого говорящего, изменяя эти назначения в соответствии с результатами. Используя нашу развивающуюся теорию значения, мы можем тогда проверить начальные приписывания мнений, которые были произведены с применением принципа доверия, и, где необходимо, изменить также и эти приписывания. Это позволяет нам, в свою очередь, далее регулировать наши назначения значений, что позволяет дальнейшее регулирование в приписывании мнений, и таким образом процесс продолжается до тех

пор, пока не будет достигнут некоторый вид равновесия. Развитие более точно настроенной теории мнения, таким образом, позволяет нам лучше регулировать нашу теорию значения, в то время как регулирование нашей теории значения в свою очередь позволяет нам лучше разработать нашу теорию мнения. Путем согласования приписываний мнения с назначениями значения, мы способны двигаться к общей теории речевого поведения для говорящего или говорящих, которая объединяет и теорию значения, и теорию мнений в единую теорию интерпретации.

Поскольку целью здесь является единая, объединенная теория, ее адекватность должна определяться по той степени, в которой теория обеспечивает объединенное представление всей доступной нам бихевиоральной очевидности (в конъюнкции с нашими собственными мнениями о мире), а не по какому бы то ни было отдельному аспекту поведения. Это может рассматриваться как более общая версия требования к формальной теории значения — о том, что теория значения для языка охватывает *все* высказывания на этом языке, хотя в контексте радикальной интерпретации это требование должно быть понято также как связанное с потребностью проявить внимание к нормативным соображениям общей рациональности. Прямое следствие этого холистического подхода состоит в том, что будет всегда иметься больше чем одна теория интерпретации, которая будет адекватна любой конкретной совокупности свидетельств, так как теории могут отличаться по конкретным приписываниям мнений или назначениям значения при том, что они будут давать одинаково удовлетворительную общую теорию поведения говорящего. Именно этот холистический отказ в уникальности, который Дэвидсон называет «неопределенностью» интерпретации и который соответствует «неопределенности перевода», также присутствует, хотя и с более ограниченным применением, у Куайна[11]. По теории Дэвид-

11. См.: J. Fodor, E. LePore, *Holism: A Shopper's Guide.* Oxford, Blackwell Publishers, 1992, ch. 2.

сона, хотя такая неопределенность часто остается незамеченной – на самом деле чаще для Дэвидсона, чем для Куайна (частично вследствие использования Дэвидсоном теории Тарского и, соответственно, потребности вписать структуру логики первого порядка в интерпретируемый язык), – она тем не менее остается неустранимым признаком всякой интерпретации. Более того, неопределенность не должна рассматриваться просто как отражение некоторого эпистемологического ограничения на интерпретацию, скорее она отражает холистический характер значения и мнения. Это подразумевает отсылку скорее к общим образцам поведения говорящих, чем к дискретным объектам, к которым интерпретация должна так или иначе получить доступ. Действительно, холизм этого вида обращается не только к значениям и мнениям, но также и к пропозициональным установкам вообще. Последние наиболее просто характеризуются как установки, определяемые в отношении пропозиции (считать, что сегодня на обед котлеты – вопрос принятия за истинную пропозиции «Сегодня на обед котлеты»; желание, чтобы на обед были котлеты – вопрос желания, чтобы было истинным, что на обед котлеты), поэтому *содержание* установок этого вида всегда пропозиционально. Холизм Дэвидсона, таким образом, – это холизм, который применим к значениям, к установкам, а также к содержанию установок. Мы можем говорить о теории интерпретации Дэвидсона как о весьма общей теории того, как определено содержание сознания, или ментальное содержание (понимаемое как содержание пропозициональных ментальных состояний типа мнения): через каузальное отношение между говорящим и предметами в мире и через рациональное обобщение поведения говорящих.

Таким образом, поскольку подход Дэвидсона к теории значения подразумевает более общую теорию интерпретации, постольку его холистическое представление значения подразумевает холистическое представление ментального вообще и ментального содержания в частности. Поэтому тезис холизма вызывает критику Майкла Даммита (в частности, в

книге «Истина и другие загадки»[12], а также в статье «Что такое теория значения?»[13]), суть которой в том, что обязательство Дэвидсона к холизму не только вызывает проблемы относительно того, например, как язык может быть изучен (так как это потребует, чтобы изучающий понял весь язык сразу – тогда как изучение всегда идет постепенно), но также ограничивает способность Дэвидсона дать то, что Даммит рассматривает как адекватную теорию природы лингвистического понимания (так как это означает, что Дэвидсон не может дать теорию, которая объясняет семантическое в терминах несемантического). Не менее острая критика дана Джерри Фодором, чье возражение холизму (не только Дэвидсона, но и Куайна, и других) в значительной степени вызвано желанием защитить возможность некоторого научного подхода к сознанию[14]. Кроме того, обязательство Дэвидсона к неопределенности, которое следует из его холистического подхода, дает основания рассматривать его позицию как влекущую за собой некоторый антиреализм относительно сознания и относительно мнений, желаний и т. д. Дэвидсон считает, однако, что неопределенность интерпретации должна быть понята аналогично неопределенности измерения («Мнения и основания значения»). Такие теории назначают числовые значения предметам на основе эмпирически наблюдаемых явлений и в соответствии с некоторыми формальными теоретическими ограничениями. Там, где существуют различные теории, которые обращаются к одним и тем же явлениям, каждая теория может назначать различные числовые значения определяемым предметам, то есть иметь разные единицы измерения (например, как шкалы Цельсия и Фаренгейта в измерении температуры), и все же не должно быть никакого различия в эмпирической адекватности этих теорий, потому что наиболее существенным является

12. M. Dummett, *Truth and Other Enigmas*. Cambridge MA, 1978.

13. M. Dummett, «What is a Theory of Meaning», S. Guttenplan (ed.), *Mind and Language*. Oxford, Clarendon Press, 1975.

14. J. Fodor, E. LePore, *Holism: A Shopper's Guide*. Oxford, Blackwell Publishers, 1992.

скорее полное представление о всех назначениях, чем значение, назначенное в любом конкретном случае. Так же и в интерпретации существенно важной является полная картина, которую теория находит в поведении и которая остается инвариантной в различных, но одинаково адекватных теориях. Теория значения для языка с такой точки зрения — теория именно этой общей картины.

Холистический подход оказывается связанным с представлением о конвенциональности значений. В теории интерпретации теория истины обеспечивает только формальную структуру, на которой основана лингвистическая интерпретация: такая теория должна быть встроена в более широкий подход, рассматривающий взаимосвязи между высказываниями, другими видами поведения и установками; кроме того, применение такой теории к действительному лингвистическому поведению должно также принять во внимание динамический и изменяющийся характер такого поведения. Последнее соображение ведет Дэвидсона к некоторым важным заключениям. Обычная речь полна неграмматическими конструкциями (которые даже сами говорящие могут признавать неграмматическими), неполными предложениями, метафорами, неологизмами, шутками, игрой слов и другими явлениями, которые не могут быть объяснены просто применением к высказыванию ранее существующей теории языка, на котором говорят; в этом отношении лингвистическое понимание не может быть вопросом просто механического применения тарскианской теории. Хотя в статьях, составивших книгу «Исследования истины и интерпретации», Дэвидсон предлагает именно это, позже он меняет свою позицию, утверждая, что в то время как лингвистическое понимание действительно зависит от схватывания формальной структуры языка, структура всегда нуждается в модификации в свете действительного лингвистического поведения[15]. Понимание языка — вопрос непрерывного приспособления интерпретативных пресуппозиций (предположений, которые

15. См.: D. Davidson, «A Nice Derangement of Epitaphs».

часто неявны) к высказываниям, которые нужно интерпретировать. Кроме того, оно требует таких навыков и знаний (воображение, внимательность к установкам и поведению других, знание мира), которые не определены лингвистически и которые являются частью более общей способности ориентироваться в мире и относительно других людей — способности, которая также сопротивляется формальному объяснению. С такой точки зрения лингвистические конвенции (особенно те, которые имеют форму соглашения об использовании общих синтаксических и семантических правил) могут хорошо способствовать пониманию, но не могут быть основанием для такого понимания.

В итоге вопрос «Что такое значение?» оказывается заменен у Дэвидсона вопросом «Что говорящий должен знать, чтобы понять высказывание другого?» Результатом этого становится теория, которая трактует теорию значения как обязательную часть намного более широкой теории интерпретации и, более того, намного более широкого подхода к ментальному. Эта теория холистична, поскольку она требует, чтобы любая адекватная теория рассматривала лингвистическое и нелингвистическое поведение в их полноте. Как мы уже видели, это означает, что теория интерпретации должна:

— принять композициональный подход к анализу значения;
— признать взаимосвязь установок и поведения, а также
— приписывать установки и интерпретировать поведение способом, ограниченным нормативными принципами рациональности.

Дэвидсон рассматривает приписывание людям понятий (и ментальных состояний вообще) как по существу проблематичное, поскольку очевидность для приписывания таких состояний другим — а следовательно, и себе — явно недостаточна для адекватного определения правильности приписывания. Физически заметно и доступно наблюдению, действи-

тельному или возможному, только то, что в некоторых контекстах люди произносят определенные специфические последовательности звуков или производят определенные последовательности письменных отметок, и что они отвечают на них специфическими способами, когда эти последовательности произведены другими людьми. В конечном счете это — все, о чем мы можем заключать, интерпретируя друг друга (проблема «перехода от физики к семантике»[16]). Приписывая этим звукам или отметкам значения, а индивидуумам, которые их делают, — психологические состояния, мы строим теорию, которая выходит за пределы очевидности, и не только фактически доступных нам свидетельств, но и совокупности всех возможных свидетельств, которые у нас могли бы быть. Что позволяет нам, несмотря на эту неочевидность, все же строить наши семантические теории — в том числе те, из которых мы неявно исходим в нашем повседневном общении? Это наличие дальнейших истин — истин о том, что люди думают и подразумевают, на которые имеющиеся у нас свидетельства очевидности могут указывать, но которые логически независимы от них. Согласно этому представлению, такие нефизические состояния дел были бы причиной или одной из причин наблюдаемого поведения, и предположение об их существовании в других людях привело бы к каузальной гипотезе на основе аналогии с собственным интроспективным опытом. Контраргумент здесь будет состоять в том, что каузальная гипотеза может полностью соответствовать всем доступным свидетельствам, но все же быть ошибочной. Именно этот контраргумент Дэвидсон отклоняет: в его представлении, когда наша гипотеза о том, что кто-то другой подразумевает под своими словами, и в чем он убежден, удовлетворяет физическим, поведенческим фактам, любые дальнейшие вопросы об истинности этой гипотезы неуместны. Он не отрицает, что такие гипотезы могут быть истинны (по крайней мере, в некоторых случаях) и не предполагает, что их содержание бихевиористично: они выража-

16. См., напр.: А. Л. Блинов, *Общение. Звуки. Смысл.* М., 1996, с. 7–9.

ют психологические или семантические истины и не сводимы к описаниям потенциального физического поведения. Но Дэвидсон отрицает, что эти психологические и семантические факты могут быть самостоятельными и связанными с очевидностью исключительно каузальным способом. Скорее, их делает истинными то, что они дают объяснение рационального (или настолько рационального, насколько возможно) поведения человека — и ничто иное.

Таким образом, в итоге мы можем констатировать, что принцип рациональности носит в теории радикальной интерпретации когерентистский характер. Теория радикальной интерпретации фактически подразумевает сочетание холистического и экстерналистского тезисов: о зависимости пропозиционального содержания от рациональных связей между мнениями или пропозициональными установками (холизм) и о зависимости такого содержания от каузальных связей между установками и предметами в мире (экстернализм). Это сочетание очевидно, как мы видели выше, в самом принципе доверия и его комбинации тезисов когерентности и корреспонденции. Оно определяет структуру теории знания, эксплицируемой из работ позднего Дэвидсона, и ее отчетливый антискептицистский пафос.

Дэвидсон считает, что установки могут быть приписаны (и таким образом пропозициональное содержание определено) только на основе треугольной структуры, требующей взаимодействия между, по крайней мере, двумя существами, также как и взаимодействия между каждым существом и множеством общих предметов в мире. Идентификация содержания установок — вопрос идентификации предметов этих установок, и, в основных случаях, предметы установок идентичны причинам этих же самых установок (подобно тому, как птица за окном — причина моего мнения, что за окном находится птица). Идентификация мнений подразумевает процесс, аналогичный триангуляции, посредством которого позиция предмета определяется проведением линии от каждого из двух уже известных местоположений к предмету, и пересечение этих линий устанавливает его позицию. Точно

так же предметы пропозициональных установок определяются нахождением предметов, которые являются общими причинами, то есть общими предметами, установок двух или больше говорящих, способных к наблюдению и реакции на поведение друг друга. В итоге идентификация оказывается основанной на концептуальной взаимозависимости между тремя способами знания: знанием себя, знанием других и знанием мира[17]. Так же, как знание языка не может быть отделено от нашего более общего знания мира, так, по мнению Дэвидсона, знание себя, знание других людей и знание общего, «объективного» мира формирует взаимозависимое множество понятий, никакое из которых не является возможным в отсутствие других.

Неразделимость этих видов знания имеет множество важных следствий. Поскольку наше знание нашего собственного сознания не независимо от нашего знания мира и нашего знания других, постольку мы не можем трактовать самопознание как наличие у нас доступа к некоторому множеству частных «ментальных» объектов. Наше знание о нас самих возникает только относительно нашей причастности к другим людям и относительно публично доступного мира. Но даже в этом случае мы сохраняем некоторую власть над нашими собственными установками и высказываниями просто в силу того факта, что эти установки и высказывания являются действительно нашими собственными[18]. Так как знание мира неотделимо от других форм знания, глобальный эпистемологический скептицизм — представление, что все или большинство наших мнений о мире могут быть ложны, — оказывается подразумевающим намного больше, чем обычно предполагается. Если бы действительно выяснилось, что наши мнения (все или большинство) о мире ложны, то это подразумевало бы не только ложность большинства наших мнений относительно других людей, но также имело бы конкретное следствие сделать ложными большинство наших

17. См.: D. Davidson, «Three Varieties of Knowledge».

18. См.: D. Davidson, «First Person Authority», *Subjective, Intersubjective, Objective.*

мнений о нас самих — включая гипотезу о том, что мы действительно имеем эти ложные мнения. Этого может быть недостаточно, чтобы показать ложность такого скептицизма, но этого достаточно, чтобы показать его глубокую проблематичность. Таким образом, способ, которым Дэвидсон отклоняет скептицизм, непосредственно вытекает из его принятия холистического и экстерналистского подхода к знанию и к содержанию установок вообще. Приписывание установок должно всегда проходить в сочетании с интерпретацией высказываний; неспособность интерпретировать высказывания (то есть неспособность назначать значения случаям предполагаемого лингвистического поведения) будет таким образом подразумевать неспособность приписать установки и наоборот. Существо, которое мы не можем идентифицировать как способное к значащей речи, будет, таким образом, также существом, которое мы не можем идентифицировать как способное к обладанию содержательными установками. Одно из следствий этого представления состоит в том, что идее непереводимого языка — часто ассоциируемой с тезисом концептуального релятивизма — нельзя дать никакой последовательной формулировки; невозможность перевода считается очевидностью не существования непереводимого языка, а отсутствия языка любого вида.

Определяя холистический характер ментального в терминах как взаимозависимости между различными формами знания, так и взаимосвязи установок и поведения, поздний Дэвидсон отказывается от той формы корреспондентной теории истины, которую он защищал в 60-е годы (например, в статье «Истинно по отношению к фактам»), в пользу когерентной теории истины и знания. Однако Дэвидсон сторонится любой попытки дать теорию *природы* истины, утверждая, что истина является абсолютно центральным понятием, которое не может быть редуцировано или заменено любым другим понятием[19] (то есть признает истину отношени-

19. См.: D. Davidson, «The Structure and Content of Truth» *Journal of Philosophy*, 87 (1990), p. 279–328.

ем *sui generis*). Его использование понятия когерентности скорее может быть рассмотрено как выражение его обязательства к существенно рациональному и холистическому характеру сознания. Оно также может быть рассмотрено как связанное с отклонением Дэвидсоном тех форм эпистемологического фундаментализма, которые пытаются строить концепцию знания на сенсорных причинах мнений: в рамках его холистического подхода убеждения могут находить очевидную поддержку только в других мнениях. Точно так же использование Дэвидсоном понятия корреспонденции может быть лучше понято не как прямое разъяснение природы истины, а скорее как следствие экстерналистского требования, чтобы содержание мнения зависело от находящихся в мире причин мнений.

Итак, хотя идеи Дэвидсона часто развиваются раздельно, однако они объединяются таким способом, чтобы обеспечить единый подход к проблемам знания, действия, языка и сознания. Возможно, в этом одна из причин того, что он является одним из наиболее известных и влиятельных в мире американских философов (по мнению многих, самым известным и влиятельным) на сегодняшний день. Несмотря на краткость его текстов и обманчивую простоту стиля, он — весьма сложный для понимания автор, однако его работы переводятся на множество языков. В течение уже более чем тридцати лет они неизменно вызывают огромный интерес у исследователей, работающих в различных областях философии и представляющих различные направления. Его идеи достигли аудитории, которая простирается далеко за пределы англоязычной аналитической философии.

Мы рады, что теперь этот круг расширится еще более.

ОТ РЕДАКТОРА

При выборе перевода какого-либо логического термина за основу была взята терминология, использовавшаяся в классических переводах работ по логике, в частности, А. Чёрч «Введение в математическую логику» (1960), Э. Мендельсона «Введение в математическую логику» (1976). Необходимо отметить, что, в случаях различного перевода одного и того же термина в работах лингвистов и логиков, выбор осуществлялся в пользу логической терминологии. Так, термины *assertion — statement — proposition — judgment* переданы как *суждение — высказывание* (или в зависимости от контекста — предложение) — *предложение — суждение* (контекстуально). В тех случаях, когда термин *proposition* обозначает логический объект, он переводится как «суждение», в прочих — как «предложение» или «высказывание». Термин *belief* в настоящем тексте передается как «мнение». Особый случай представляют собой так называемые «эмпирические свидетельства» или «свидетельства очевидности». В оригинале оба этих термина — *evidence*, значение его близко к понятию верификации, т. е. подтверждению или проверке на основании опыта. Мы отказались от передачи слова *speaker* как «говорящий» в пользу более неопределенного «носитель языка» (за исключением некоторых контекстов). Термин *utterance* однозначно передается русским словом «высказывание», в смысле «высказывание как речевой акт». Для термина *interpreter* принят вариант «переводчик», причем нужно учитывать, что каждый переводчик у Дэвидсона является одновременно и интерпретатором. Термин Куайна *biconditional* в настоящем тексте обозначает как предложения, так и логическую связку, что обусловило два варианта перевода — «биусловная связка» (а не «биусловный союз», как было принято, например, в переводе книги Чёрча) и «предложение, образованное с помощью биусловной связки». Помимо вариантов перевода терминов,

которые использовали при подготовке настоящего издания переводчики (М. В. Лебедев, А. З. Черняк, Т. А. Дмитриев), были также учтены замечания Л. Б. Макеевой. Редактор выражает признательность всем указанным специалистам.

А. Веретенников

СПИСОК ПЕРЕВОДА НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ

absolute completeness абс. полнота
ambiguity неопределенность
assignment распределение
assertion суждение
atomic sentence атомарное предложение
attitude установка
belief мнение
belief sentence предложение мнения
biconditional биусловная связка (или предложение, образованное с помощью такой связки)
bound variable связанная переменная
closure замыкание
complex singular term составной единичные термин
constant singular term константный единичный термин
consistency непротиворечивость
converse конверсия
conditional условная связка (или предложение, образованное с помощью такой связки)
content-sentence предложение содержания
counterfactual контрфактическое высказывание
decision theory теория принятия решений
demonstrative указательное местоимение
designated truth-value выделенное истинностное значение
denotation value предметное значение
descriptive operator оператор дескрипции
disposition диспозиция
Frege's stroke (sign) of assertion штрих (знак) суждения Фреге
hold between имеет место между
improper symbol несобственный символ
incomplete неполный
intention намерение
logical entailment логическое следование
meaningfulness содержательность

mood-setter выражение, устанавливающее грамматическое наклонение
name relation отношение именования
n-tuple упорядоченное множество
occurrence вхождение
n-place predicate n-местный предикат
performative перформатив
Principle of Charity принцип доверия
primitive sentence исходное (простое) предложение
proper-name theory of quotation теория цитаты как собственного имени
quantifier квантор
quantifier-free бескванторная
quotational theory теория цитирования (цитаты)
redundancy theory of facts теория избыточности фактов
satisfaction, satisfiability выполнимость
satisfactory theory of truth теория истины, использующая понятие выполнимости
satisfaction relation отношение выполнимости
samesaying тождество высказывания
scope область
Sheffer's stroke штрих Шеффера
singular term единичный термин
speaker носитель языка, субъект
token маркер
truth predicate истинностный предикат
truth-value истинностное значение
truth in model истина в модели
truth-relevant (sentence) истинностно-обоснованное (предложение)
truth-function истинностная функция
universal, existential quantifiers кванторы общности, существования
unsaturated ненасыщенный
use/mention употребление/упоминание
utterance высказывание

Научное издание

Дональд Дэвидсон
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТИНЫ И ИНТРЕПРЕТАЦИИ

Перевод с англ. *А. А. Веретенников, Т. А. Дмитриев, М. А. Дмитровская и др.*

Корректура *М. А. Костина*
Оформление обложки *А. Кулагин*
Оригинал-макет *А. В. Иванченко*

Издательская группа «Праксис»
ИД № 02945 от 03.10.2000

Подписано в печать 06.03.2003. Формат 60 × 84/16
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0
Тираж 600 экз. Заказ 918

ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС“»
127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2
http://www.praxis-online.ru
http://www.politizdat.ru
e-mail: praxis@hotbox.ru

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ»
140010, Люберцы, Московской обл., Октябрьский проспект, 403,
тел. 554-2186

ISBN 5-901574-30-3

